

РОДИОН БЕРЕЗОВ — ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

РОДИОН БЕРЕЗОВ

Родion Березов



РОДИОН БЕРЕЗОВ

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

ИЗДАНИЕ АВТОРА

1978

Ашфорд, Кон., США

Рисунок на обложке
художника
Юрия Викторовича Бобрицкого

ПОСВЯЩАЮ МИХАИЛУ МОРГУЛИСУ
И ЕГО СЫНУ ЗИНОВИКУ
С ОТЕЧЕСКОЙ НЕЖНОСТЬЮ



Родион Михайлович Березов

ВСТУПЛЕНИЕ К СЛОВЕСНЫМ ИЗЛИЯНИЯМ

Одно из чудес жизни — слово. Каждая книга — чудо. Творец мира сказал: «Да будет свет». И стал свет.

Художник-творец говорит: «Да будет книга». И книга появляется. У Бога это делается быстро, легко, без всякий препятствий. У человека-творца на пути к осуществлению цели — множество преград, порою непреодолимых. Но целеустремленность и настойчивость преодолевают все преграды: болезни, нищету, семейные дразги, общественное невнимание, равнодушие друзей, клевету врагов, предубеждение редакторов, собственные колебания и сомнения: «Да нужно ли это? Кого порадуют эти страницы? Принесут ли они пользу человечеству?»

Пишущего книгу можно сравнить с золотоискателем. Сокровища земных недр не легко даются людям: их нужно искать — копать землю, промывать песок, затрачивать множество усилий. Золото это — пот, кровь, страхи, терпение, борьба, невзгоды, голод и холод, постоянная опасность со стороны в лице воров, бандитов, грабителей.

Сокровища из недр душевных извлекаются с такими же лишениями. Творец полон усилий, его лопата воли скрежещет по камням, по булыжникам сопротивления, слово не дается, не ложится на бумагу в виде чистых крупинок, в виде сверкающих самородков, иногда вместо подлинного, настоящего золота обнаруживаются какие-то блёстки, не имеющие ничего общего с неувядаемыми ценностями. С болью приходится их выбрасывать на свалку и, вооружившись терпением, снова искать, потеть, страдать, надеяться, не досыпать ночей, примиряться с насмешками близких, с жестоким равнодушием редакторов. Что поддерживает труженика в такие часы, дни, недели? Надежда, что не теперь, так позже созданное им увидит свет и порадует людей.

Золотоискатель может надорваться, лопата выпадет из его обессилевших рук, но извлеченное из недр подберут другие.

Создатель книги может обессилеть, сердце не выдержит, нить кратковременного бытия порвется, но пришедшие к трупам друзья увидят на письменном столе стопки исписанной бумаги... «Может пригодиться», — скажут они и сохранят эти листки, а потом покажут специалистам и те, прочитав посмертный труд, увидят, поймут, почувствуют: «Это — сокровище. Надо принять все меры к тому, чтобы этим воспользовались тысячи людей». Каких людей? Не спекулянтов-барышников, не погрязших в скупости и черствости, не равнодушных ко всем красотам мира, а тех, кто не утратил совести, кто стремится к духовной чистоте, кто любит ближнего, кто ищет, размышляет, трудится над самоусовершенствованием, кто поставил перед собою цель: радовать людей, воскрешать духовно мертвых, питать духовно голодных, бросать луч надежды в обитель скорбящих...

И труд писателя может увидеть свет, хотя сам он уже истлеет в могиле. Дает ли сил творцу такое будущее? Не скажет ли он с грустью: «Если я лично ничего не пожну от своего труда, то зачем же трудиться?»... О, нет, если он подлинный творец, он этого не скажет, он будет продолжать начатое, что бы ни ожидало его. Он будет тем тружеником-сеятелем, который весной пашет и боронит землю, разбрасывает семя в надежде на урожай. А кто его соберет, для него не так существенно. Может собрать сын, брат, внуки, соседи... Как весной оставить землю не обработанной и не засеянной? На всех полях будут радующие сердце всходы, а на его лишь сорняки? Совесть не мирится с этим, воля побуждает: «Выходи, паши и сей, не думая о результатах посева».

Вот в таком положении оказался я. Жить может быть осталось совсем мало. Покинули этот мир многие моложе меня. Так что же? Сидеть в кресле и читать книжку, а когда захотелось есть, что-то приготовить на скорую руку?.. Прогуливаться, болтать по телефону с друзьями, от скуки навещать таких же, как я сам, отвечать на письма, слушать радио, заводить долгоиграющие пластинки, во время ложиться спать, утром долго валяться в постели

оправдываясь тем, что этот отдых заслужен предшествующей многолетней энергией?

Многие так и делают. Устно и в письмах я слышал признания: «Никаких заданий себе на день, на неделю, на месяц, на год... Под старость надо быть щепкой на волне: куда ветер подует, туда и выплеснет ... Зачем стеснять себя какими-то обязательствами? Надо жить растительной жизнью: былинка не дает себе заданий на день. Коль светит солнце, тянется вверх, подул холодный ветер, перестала тянуться, приуныла»...

Я не принадлежу к разряду таких людей. Я даю себе задание на каждый день и как мне бывает больно, если обстоятельства помешали выполнить намеченное. В такие дни я ложусь в постель с уязвленной совестью, как будто сделал что-то нехорошее, согрешил против Бога, против людей и против себя.

Творчество, чтение книг, ответы на письма — три главных кита моей жизни в пенсионные годы.

Моя прочная, непреходящая радость — мои читатели. Если бы я издал все их восторженные письма, набралось бы несколько томов. Читатели по-прежнему любят меня. Выходу этой книги в свет я обязан исключительно их вниманию, любви, человечности.

Вот сейчас я думаю: «Если Бог продлит мою жизнь, сохранит творческую энергию и поможет написать новую книгу, я дам ей название: «СОЛОВЬИНЫЕ ТРЕЛИ». Ведь я с Волги, я — Волжский Соловей. Бог видит меня, Он знает, что в моей душе добро всегда сильнее зла и потому ведет меня к намеченной цели. А моя цель — радование читателей каждой строкой своего творчества.

Я благодарю Бога за все мгновения жизни каждой каплей своей крови, каждым ударом сердца, каждым вздохом своего существа.

ВСТРЕЧА С СУДЬБОЙ

Сновидения бывают вещие, пророческие, незабываемые. Одно сновидение открыло мне завесу на будущее пятьдесят пять лет назад. Это было в страшное время для России. Всё Поволжье вымирало от небывалого голода.

Мои родители, две замужних сестры и старший брат с большой семьей жили в селе Виловатове, на берегу реки Самарки, впадающей в Волгу.

Я работал в Самаре в детском приюте. На лето детей вместе с персоналом вывезли в дачную местность на берегу Волги. Часто нам не доставляли хлеба из города. Тогда голодные, озлобленные дети разбредались по лесу в поисках каких-либо съедобных кореньев. Это так расшатало мои нервы, что я нуждался в специальном лечении. Меня направили в Севастополь. Город залечивал раны после гражданской войны. От Самары до Крыма санитарный поезд добирался целый месяц. Сначала нас кормили. Через две недели администрация поезда заявила:

— Наши продовольственные запасы иссякли, а пополнить их нет возможности. Переходите на самообслуживание.

У многих больных не было ни копейки. На каждой остановке поезд стоял часами, а иногда сутками. Бедные пассажиры разбредались по окрестным селениям и просили милостыню.

Заведующая приютом перед моим отъездом дала много нового детского белья, которое я сбывал по дороге. В Мелитополе за новую детскую рубашку я получил большой каравай мягкого душистого хлеба из крупчатки.

В Севастополе многие из нас были помещены в один из санаториев. В палатах было по десять и двенадцать человек. Для лечения нас направили в Институт Физических Методов Лечения имени профессора Сеченова. Это было очень красивое стильное здание, глядевшее

фасадом на площадь. Неподалеку была уцелевшая во время войны «Графская пристань».

Моей целительницей в Институте была женщина-врач Фирзон. Все больные любили её и считали знаменитостью. Невысокого роста, жгучая брюнетка, она была изящной, быстрой в движениях, внимательной ко всем больным. По её предписанию меня лечили электрическими и водными процедурами.

В санатории вместо сливочного масла нам давали смалец и много супа. Лечение, морской воздух и хорошее питание в течение сорока пяти дней укрепили мои нервы и подняли мой дух. После курса лечения нужно было сказать, в какой город я хочу поехать. О Самаре нечего было и думать. Влекли меня Москва и Петроград, последний даже больше, чем Москва. Я думал, что Петроград — это порт, где я могу работать грузчиком, если ничего не найду по своей педагогической специальности. Итак, путевка мне была выписана на Петроград. В переполненном вагоне 3-го класса моей соседкой по купе оказалась добрая, интеллигентная, совершенно беспомощная старушка. Я быстро подружился с ней и на остановках предлагал раздобывать для неё кипятку и что-нибудь из съедобного. Из разговоров с нею я узнал, что это вдова знаменитого комика Малого театра, Николая Игнатьевича Музиля и мать артисток Варвары Николаевны Рыжовой и Музиль-Бороздиной. В Крым она попала вместе с младшим сыном Николаем до гражданской войны. Последующие события задержали её в Крыму до осени 1921 года. Во время войны её сын был офицером белой армии. При отступлении Врангелевских частей мать уговорила сына остаться, потому что он страдал астмой. Воцарившийся в Крыму венгерский коммунист Бела Кун приказал всем бывшим офицерам зарегистрироваться. Пошел на регистрацию и Николай Музиль, но с регистрации не вернулся: все явившиеся по приказу диктатора были арестованы и вскоре расстреляны. Мать Николая, Варвара Петровна Музиль, еле перенесла такую трагедию — Николай был её младшим сыном, любимцем, в Крыму он остался по её настоянию.

Тронутая моим вниманием несчастная мать стала меня уговаривать — не ехать в Петроград, а остановиться в Москве. На отговорки, что там у меня нет друзей и знакомых Варвара Петровна сказала:

— Вашими друзьями будут мои дети вместе со мною. Вы остановитесь в нашем доме. Он теперь, конечно, занят советскими жильцами, но на первое время у вас будет кров над головою. Работу вы найдете быстро, в этом я уверена, глядя на вас, полного энергии.

Я дал согласие. Поезда еще курсировали не по расписанию. От Севастополя до Москвы наш поезд шел 8 суток и остановился на товарной станции у Рогожской заставы. Я нанял ломового извозчика. По булыжным мостовым ехать было очень трудно. Я беспокоился за свою спутницу, которая все время вскрикивала от тряски. Московские улицы показались мне жалкими — дома были запущены и не отремонтированы.

Двухэтажный деревянный домик Музиль был на Садовой — Каретной. Когда мы подъехали, нас никто не встретил: дочери Варвара и Елена не знали о дне и часе приезда матери. Я стал вносить её вещи через черный ход, минуя палисадник. Дома была одна из жилищ нижнего этажа — приветливая, молодая блондинка. Она оказалась племянницей знаменитого генерала Брусилова. Её сестра была на работе, брат в школе. Поздоровавшись с бывшей хозяйкой, она сказала:

— Вот комната, которую отстояла для вас Варвара Николаевна.

Обращаясь ко мне, она утешила меня:

— Хотя для вас комнаты не найдется, но на ночь вы будете располагаться в коридоре. Для тепла мы будем вас завертывать в толстый ковер. А днем вы вероятно будете заняты поисками работы и постоянного уголка для жительства.

Она побежала к артистке Рыжовой — сообщить о приезде матери. Телефон в доме Музиль тогда не работал. Прибежавшая артистка со слезами бросилась в объятия матери, с которой не виделась больше трех лет. Меня она горячо поблагодарила и пригласила к столу.

Кушанья она принесла с собою. Начались воспоминания, все время прерываемые слезами.

Вечером вернулись остальные Брусиловы и пригласили меня к чаю. Вместо сахара были беленькие сахаринные таблетки. Брусиловы почувствовали симпатию ко мне, я — к ним. Разговаривая, мы много смеялись. На ночь меня, действительно закутали в толстый, почти негнущийся ковер в длинном, узком коридоре. Завертывая, хохотали:

— При всем желании замерзнуть — не сможете: ковер в палец толщиной.

Перед сном я думал о том, что судьба свела меня со знаменитостями: Музиль, Рыжовой, родственниками прославленного генерала. А что-то будет дальше? На другой день артистка мне принесла контрамарку на пьесу: «Сестры Кедровы», шедшую в «Малом театре». До вечера я пошел побродить по улицам Москвы. Я решил, что счастье мне улыбнется с афиш и объявлений, во множестве расклеенных по заборам и специальным щитам для рекламы. В ближайшем отделе народного образования мне холодно сказали, что ни учителя для школ, ни воспитатели для приютов пока не требуются.

На базаре, неподалеку от Садовой-Каретной я купил три малюсеньких пирожка с морковью. Они показались мне верхом лакомства. Утром у Брусиловых я постеснялся есть много хлеба с маслом, сказав, что не страдаю большим аппетитом. Это не соответствовало действительности, но я с первого дня московской жизни, пока вишу в воздухе, решил ограничивать свои аппетиты, желания и мечты. Это были первые дни НЭПа, введенного по распоряжению Ленина. Уже открылось много нарядных булочных, дразнивших ароматами сдобы. В витринах был выставлен разрезанный белоснежный хлеб с изюмом. При созерцании этих деликатесов темнело в глазах, кружилась голова и во рту скоплялся излишек слюны. Думалось: «Неужели есть люди, которые едят такой хлеб досыта?» Душа жила идеалом: «Когда мои дела поправятся, не буду отказывать себе в таком хлебе».

Объявления и афиши в этот день ничем меня не

порадовали. Когда я вернулся на Садовую-Каретную, Варвара Петровна ласково пожурела меня:

— Нельзя столько часов фланировать по столице. Вы же голодный, как волк. Варюша принесла обед и на вашу долю. Покушайте и собирайтесь в театр.

Доброта и ласковость старушки согрели мою душу и окрылили её. Какое это счастье — быть сытым!

Костюм у меня был неважный: он лоснился от старости. Я сказал об этом Варваре Петровне. Она успокоила меня:

— Теперь на это не смотрят: не прежнее время. Пусть это не смущает вас. Почему люди идут в театр в в любой одежде? Потому что любят театральные представления.

В театр я входил со сладким трепетом. Я сам когда-то принимал участие во многих любительских спектаклях, исполняя роли простаков. Вершиной моего исполнительского искусства была роль Бальзамина в двух пьесах Островского. На сцене я жил иной жизнью, забывая обо всем на свете и о зрителях. Театр для меня был храмом искусства.

Мне дали хорошее место во втором ярусе. Пьеса очень понравилась мне. Она изображала жизнь трех гостеприимных сестер, готовых приютить всех бедствующих, нуждающихся и одаренных людей. Но власти расценили это по своему, заподозрив девушек в легкомысленном поведении. Пьеса кончается тем, что всем милым, очаровательным девушкам полиция выдает желтые билеты. Зло восторжествовало над добром, как это часто бывает в жизни. Публика после такого спектакля расходилась в удрученном состоянии.

Я любил книги и пьесы с благополучным концом. С пятнадцатилетнего возраста я писал стихи. Мечтал и о прозе, в которой свет торжествовал бы над тьмой, любовь над ненавистью, добро над злом, чистое пшеничное поле над зарослями бурьяна. Ведь хотя страшного в жизни много, но не мало в ней и радостных моментов, положительных случаев.

Мое недавнее учительство — это почти сплошная

Поэма восторга, исканий, полной отдачи любимому делу. Для меня дети были податливым воском и я лепил из этого воска что-то идеально — совершенное. Встречаясь с моими учениками, взрослые люди сразу догадывались:

— Это воспитанники Родиона Михайловича!

В Красно-Пресненском отделе народного образования мне отказали, потому что я не запасся никакими рекомендациями. До сих пор я почему-то не придавал им никакого значения. Ведь рекомендует человека не бумажка, а его вдохновенный труд, его пламенное горение. Ведь для того, чтобы поручить человеку какую-нибудь ответственную работу, достаточно поговорить с ним по душам.

Семья Брусиловых ждала меня из театра. Меня угостили рисовой сладкой кашей и чаем с белым хлебом. Конец этого дня был содержательно радостным. Когда меня завертывали в ковер, я благодарил и Бога и людей.

А со следующего дня начались более энергичные поиски счастья. Попрежнему мне казалось, что я обрету его на одном из московских заборов. Но проходили дни за днями, а счастье не всходило солнцем на небосклоне моей жизни. Отчаяние заползло в мою душу всё глубже. — Что меня ждет? — спрашивал я самого себя. Брусиловы ободряли меня, Варвара Петровна утешала:

— Молодые, талантливые люди не пропадают, а вы и молоды и талантливы.

Наступил десятый день моих поисков. В тощем кошельке осталось 20 копеек. В булочной я купил хлеба без изюма. Отщипывая его по маленькому кусочку, я подходил к каждому объявлению, разглядывал каждую афишу. На Петровке я почувствовал усталость и присел на ступеньку парадного входа красивого здания. Прилично одетый господин, вышедший из этого дома, с извительностью сказал:

— Здесь не привал для бродячих комедиантов!

Я встал и направился в сторону Театральной площади. Большая краснозеленая афиша на углу привлекла мое внимание. Я подошел к ней и прочитал: «КУРСЫ ИГР

И ПРАЗДНИКОВ». Дальше сообщалось, что цель курсов подготовка специалистов по проведению массовых праздников для детей, молодежи и взрослых. На курсы принимаются после предварительного экзамена молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Курсанты обеспечиваются военным пайком. Занятия вечерние. Справки в Наркомпросе у Крымского моста. Директор курсов Марц.

Мне нужно было удержать сердце, чтобы оно не вырвалось из груди от удивления и радости. Всё это как раз для меня! По возрасту подхожу. По душевному складу — тем более. И какая это необычность: курсанты обеспечиваются военным пайком, который я буду целиком посылать в голодающее Поволжье! Моя надежда — найти счастье на московских заборах — сбылась! Я побежал к Крымскому мосту, я полетел на крыльях вдохновения. Немного смутил вступительный экзамен. В чем он будет заключаться?

Вот и Наркомпрос, старинное некрасивое здание между Крымским бульваром и мостом через Москву-реку. Взяв на четвертый этаж, запыхался. Открыв дверь, очутился в огромной квадратной комнате, освещенной с двух сторон. За многими столами сидело по два-по три человека. Спросил, где кабинет Марца?

— Прямо!

Кабинет был за перегородкой, не доходившей до потолка. На двери надпись: «Владимир Марц». Робко постучался. Звонкий, приятный голос ответил:

— Пожалуйста!

Я вошел. За столом сидел на редкость приятный человек со слегка вьющейся светлой шевелюрой. Поздоровавшись со мной, он спросил:

— Чем могу служить?

Я сказал, что хотел бы поступить на курсы игр и праздников.

— К сожалению, комплект уже набран.

Эти четыре вежливых слова были для меня страшнее выстрелов из пулемета. Они хоронили все мои надежды, чаяния, они укладывали меня заживо в гроб. В первый

момент я ничего не мог сказать. Подняться со стула тоже не мог. Я чувствовал, как кровь отливает от моей головы. Не видя себя в зеркало, я представлял свое лицо, которое моментально стало мертвенно-бледным. Но все же надо было принудить себя — подняться со стула.

— Простите за беспокойство, — еле мог выговорить я на прощанье. Он протянул руку, с сочувствием глядя на меня. Выходя, я случайно не закрыл за собою дверь. Весь этот этаж со множеством столов казался мне теперь широким озером. Та дверь, через которую я вошел, светилась медной ручкой на отдаленном, противоположном берегу. Как мне добраться до неё? Я чувствовал, как силы оставляли меня. Я еле двигался, держась за столы, сознавая, что это неприлично. Ноги подкашивались, руки дрожали, голова кружилась.

— Только бы не упасть здесь, среди этих столов, — вот о чем думал я, — пусть я упаду на тротуаре и милиция, подобрав меня, увезет в ближайшую больницу.

Не страшно было и умереть после такой катастрофы. Я уже готов был прикоснуться к медной ручке двери, когда услышал голос Марца:

— Товарищ, вернитесь!

Этот дружеский голос сразу вернул телу крепость. Утопая, я ухватился за бревно надежды, неведомо откуда взявшееся в этой пучине. Возвращаясь на приглашение, я даже ускорил шаги.

— Вам очень бы хотелось поступить на курсы?

Спрашивая, он пристально вглядывался в меня ласковыми голубыми глазами.

— Это мечта моей жизни.

— Хорошо, мы примем вас сверхштатным. Согласны, чтобы мы сейчас же провели нечто вроде экзамена?

По настоящему, после всего пережитого об экзамене не могло быть речи. Я чувствовал себя опустошенным, выжатым лимоном, но боясь, что мой отказ повредит мне, дал согласие. Марц куда-то вышел, но вскоре вернулся с тремя солидными мужчинами. Я понял, что это мои экзаменаторы. Поздоровавшись со мной, они сели за стол Марца против меня. Экзамен продолжался около

часа. Меня экзаменовали по педагогике, психологии, литературе, касаясь и других предметов, как история, социология, перспективы будущего России. На все вопросы я отвечал, не задумываясь. Сознание, что я всплываю из пучины, на сверкающую солнцем поверхность, обостряло мою память, давало образность моему языку. По лицам экзаменаторов я видел, что они в восторге от моих ответов.

— И такой перл мы чуть не прозевали! — радостно воскликнул Марц. — А теперь спустимся с вами в первый этаж.

Профессора, поблагодарив меня, распрощались. По лестницам вниз Марц бежал, как подросток, перепрыгивая через две ступеньки. Мы очутились в огромном спортивном зале со многими гимнастическими приборами и лестницами — прямыми и наклонными. Марц попросил меня подпрыгнуть перед наклонной лестницей и несколько раз подтянуться.

— Прекрасно! А теперь я буду мышкой, а вы кошкой. Желание мышки — спрятаться в норку, а цель кошки — поймать мышку.

Он действительно превратился в шустрого, сметливого мышонка. Мне нужно было доказать, что я — ловкая кошка. Мы соревновались в изворотливости и резвости. Я поймал мышонка, ухватив его за ногу. Ботинки его были со шнурками. Жестянка одного кончика разогнулась и впилась в мой указательный палец правой руки. Из пальца густо потекла кровь. И тогда моя голова не выдержала и я упал. Марц куда-то убежал и вернулся со стаканом холодной воды. Это привело меня в чувство.

— Вы, оказывается, не выносите вида крови? — спросил он тревожным голосом.

— Простите меня, мой дорогой, но мой припадок не из-за крови, а потому, что я сегодня почти ничего не ел а ваш отказ вначале нашей встречи отнял у меня остаток сил. Я удивляюсь, как я мог отвечать на вопросы экзаменаторов, как я мог изображать кошку.

Он под руку повел меня к буфету и заказал два ста-

кана кофе и несколько сдобных булочек. За столиком я рассказал ему о своей семье в Самарской губернии, которой грозит голодная смерть.

— С вашей помощью она не умрет!

— Мне бы надо поступить на работу, но в Красно-Пресненском отделе народного образования мне сказали, что нет свободных вакансий ни в школах, ни в детских домах.

— А куда бы вы хотели — в школу или в приют?

— Лучше в приют, потому что там для меня будет жилье.

— Хорошо, завтра вы будете в одном из приютов. В моем кабинете я напишу для вас рекомендацию. Скажите откровенно: есть ли у вас деньги?

— Сегодня утром истратил последние 20 копеек.

— Вот вам пять рублей.

— Я вам верну этот долг.

— Не думайте об этом.

На Садовую-Каретную я летел, как на крыльях. Мой рассказ взволновал и обрадовал Варвару Петровну Музиль, а сестры и брат Брусиловы устроили в честь меня банкет с вином. Все трое целовали меня и даже плакали от радости. На следующий день я был принят на работу в детский дом номер 8, возле Ваганьковского кладбища. В тот же день я перебрался туда и получил хорошую комнату рядом с кухней.

Для меня началась новая жизнь. В приюте я работал как учитель и воспитатель. Детям и персоналу приюта я рассказал о страшном голоде в Поволжье. Все приняли это близко к сердцу. Каждый несъеденный кусочек хлеба за столом, дети приносили в кухню для кухарки, тети Розы, чтобы она высушила это для голодающих. В отделе народного образования мне дали для моих родственников 15 пудов гречихи. Её доставили в детский дом, чтобы я мог отправлять посылки на родину.

Начались занятия на курсах игр и праздников в неотапливаемой средней школе на Остоженке, неподалеку от Храма Христа Спасителя. Профессора читали нам лекции по психологии, педагогике, физиологии. У нас

был предмет «Рассказывание», который вел обаятельный Сергей Розанов, муж известной театральной деятельницы Натальи Сац. Было у нас так же слушание музыки, после чего мы должны были рассказывать, какие ассоциации вызвала она в душе. Когда я однажды сказал, что представил возвращающееся с поля стадо на широкой деревенской улице и все вечерние звуки деревни, пианистка рассердилась на меня, сказав, что этим я оскорбляю композитора, что представлять надо только благородное и возвышенное, а в картинах деревенской жизни нет ничего благородного и возвышенного. С этого дня я потерял уважение к самовлюбленной, ограниченной пианистке.

Любимой всеми была ритмическая гимнастика под музыку. Увлекались мы подвижными играми, проявляя смётку и резвость.

Трамвай в ту пору еще не ходили. С Пресни до Остоженки я добирался пешком мимо Зоологического сада, через Кудринскую площадь по Малой Никитской и отсюда по бульварам, мимо памятника Гоголю.

Вскоре меня постигло несчастье с обувью. Когда я обувался в сапоги, собираясь бежать на курсы, правая голенища перервалась пополам. В эту тяжелую минуту мне пришел на помощь приютский сторож Григорий. Он вспомнил о десятке пар лаптей, хранившихся на чердаке. Их прислали детскому дому из Рязанской губернии в 1919 году, когда для дома был отведен земельный участок для огорода. Лапти предназначались для работ на огороде, но ими почему-то никто не хотел воспользоваться — так они и пролежали на чердаке в течение двух лет. Они были с коноплянными веревочками, из липовых лык, аккуратные, розовато-желтые, приходившиеся мне по ноге. Заведующая дала мне два длинных полотенца на портянки. Я замотал их на шерстяные чулки и аккуратно затянул в переплет лапотными веревками.

Когда я обувался в кухне, туда сбежались дети и собрался весь персонал дома — воспитательницы, уборщица, портниха, кухарка Роза и сторож Григорий. Было много смеха, удивления, сочувствия. Многие из собрав-

шихся впервые видели живого человека в лаптях. До этого они только читали об этом и видели людей в лаптях на картинках.

Я не испытывал ни капельки стеснительности и неловкости. Я даже радовался, что превратился в лапотника. В молодости, когда я учился в учительской семинарии, мне в летнюю пору хотелось пощеголять в лаптях, как и моему отцу. Но он всякий раз настойчиво требовал:

— Разуйся, не страмись!

— Но ведь ты же ходишь всю жизнь в лаптях.

— Я мужик, а ты ученый человек! Не подымай себя на смех!

Чтобы он сказал теперь, если бы увидел меня в лаптях не в деревне, а в первопрестольной Москве?

Когда я появился в лаптях на курсах, все решили, что я оригинальничаю. Перед уроком ритмической гимнастики я переобулся в самодельные тапочки из красного сукна.

До весны я износил 4 пары лаптей. В лаптях я навещил Варвару Петровну Музиль и Брусиловых. Моя обувь всех удивляла и вызывала сочувствие. Но вот теперь, когда я вспоминаю об этом, я удивляюсь, почему тогда, 55 лет назад, никому не пришло на мысль — предложить мне лишние старые ботинки? Или в то тяжелое время ни у кого не было ничего лишнего?

Паек на курсах мы получали сразу за весь месяц: несколько хлебов, крупу, муку, сахар, масло, соленую рыбу. За пайком, на далекую окраину Москвы я отправлялся с санками. Всё это немедленно превращалось в посылки и отправлялось в Поволжье. Я получал жалование. Но о покупке ботинок не думал: все деньги тратились на родных.

Ради любопытства я посетил почти все московские рынки, чтобы увидеть хотя бы одного человека в лаптях. Но мои поиски были тщетными. В лаптях я был один на всю Москву.

Ко дню моего рождения 21 апреля персонал дома

сложился, чтобы переобуть меня из лаптей в новые ботинки.

Накануне дня рождения я долго молился и просил Бога открыть мне в сновидении: что меня ожидает в дальнейшем?

Много было страшных моментов в моем пророческом сновидении и все же я не проснулся.

Я увидел зеленые ровные луга со множеством всяких цветов, с гудящими пчелами и шмелями, с мелькающими бабочками и стрекозами, с поющими жаворонками под голубым, безоблачным небом.

Легко одетый, босой, с открытой кудрявой головой, я шел по дороге, заросшей зелёной муравой, направляясь к отдаленному горизонту, где струился воздух, похожий на быстро бегущие струи серебристого ручья. Мне было хорошо. Я наслаждался жизнью и окружающей меня красотой.

Но вот издали послышались звуки, похожие на шум леса во время бури. Я стал вглядываться в том направлении, в каком двигался. Вскоре я различил там движение не то большого стада, не то — огромной толпы. Я ускорил шаги, заинтересованный этим шумом. Пройдя еще некоторое расстояние, я увидел обеспокоенных, мечущихся людей. Что их волновало? Почему они так кричали? Теперь я уже бежал к тому месту, потому что нетерпение подгоняло меня.

Я приблизился к огромному сборищу. Тут были молодые и старые, красавцы и уроды, мужчины и женщины, богатые и бедные, русские и люди всех национальностей земного шара.

— Почему здесь так много народу? — спросил я у русской молодой женщины.

— Потому что отсюда начинается дорога к судьбе. Она предсказывает людям будущую жизнь. Каждому хочется знать, что его ожидает, потому и собираются в этом месте со всего земного шара, на кораблях и поездах торопятся сюда.

— Уже много людей отправилось к судьбе?

— Без счета.

— Кое-кто вернулся от неё?

— Покуда никто, потому что не могут осилить трудной дороги и погибают в пути.

— И это не пугает остальных?

— Каждый надеется на себя: «Те не добрались, а я достигну своего». Становись в очередь, если хочешь побывать у судьбы.

С трепетом и волнением я решил испытать свое счастье и отправиться по тому пути, на котором многие погибли, не достигнув цели. Довольно быстро приблизилась моя очередь. Меня остановили четыре грозных стража, наблюдавших за порядком.

— По какой дороге хотите пойти к судьбе?

— А разве их несколько?

— Две. Обе они перед вами. Судьба живет в заоблачных высях. Подняться к ней можно или по зубчатой башне или по гладкому шесту.

Башня была похожа на шпигот готического собора постепенно сужающегося по мере удаления от земли. Шест был похож на те, которые обязательны в каждом гимнастическом зале.

Взбираясь по острым зубцам башни, я могу поранить босые ноги и погибнуть от кровоизлияния, — быстро сообразил я, избирая шест.

— Хватайтесь!

Я обхватил ствол, вершина которого была не видна. Тогда стражи сняли петлю с железного крюка, который был вбит в каменную глыбу. Шест стремительно отклонился в сторону от толпы. Я уже не видел никого, под мною бушевало грозными волнами беспредельное море. Сначала мне было легко. С ловкостью завязанного гимнаста я передвигал руки, поднимаясь вверх. Но вот подул холодный ветер. Руки стали зябнуть. А через несколько мгновений завывала метель, заслонив весь белый свет. Все мучительнее становилось движение вверх. Раскайяние охватило мою душу. На что я понадеялся? Неужели я счастливее всех миллионов, которые отправились к судьбе до меня? Конец мой неизбежен, но умирать не хотелось. Впереди, в белой метели, ничего не было видно.

А цель может быть уже близка? Я собрал остаток сил, подтянулся и ухватился за перекладину, к которой был прикреплен столб. Повиснув на перекладине локтями, я отдыхал некоторое время после изнурительного подъёма, а потом взобрался на что-то твердое, как пол в доме. Вокруг была мгла, но уже без метели. В этом тумане я услышал сотни удивленных голосов:

— Пришел! Пришел! Пришел!

Я стал озиаться. Предо мною предстал целый сонм карликов, похожих на гномов. У каждого был какой-то сверток в руке. Но вот все они расступились, как по команде, на две шеренги, устремляя взгляд в одну сторону.

Оттуда шла женщина в длинном сером платье со шлейфом, с распущенными волосами. Распростертыми руками она как будто что-то нащупывала.

— Кто это?

— Судьба.

— Почему так осторожны её движения?

— Потому что она слепая.

Судьба приблизилась. Для нее подвинули сверкающий трон. Она с медлительной важностью опустилась на него, расправляя складки платья.

Один из карликов протянул ей сверток. Другой подставил солидную чернильницу, третий вставил в её правую руку гусиное перо. Она развернула сверток, обматнула перо в чернильницу и стала что-то медленно писать.

— Что она пишет? — спросил я тихо у карликов.

— То, что ожидает тебя.

Тогда я остановился за спинкой её трона и стал вглядываться через плечо в её писание.

Задумываясь, часто останавливаясь, она выводила крупные буквы:

С ч а ... Четвертую букву С она написала не целой, а половинной.

Я не удержался и спросил:

— Вы хотите дать мне счастье?

— Да.

— Но вы написали только половину слова.

— Пока для тебя хватит и половины счастья. А если захочешь получить полное, придешь ко мне еще раз или даже два раза.

Она свернула плотную бумагу в золотой рамке трубочкой и протянула мне.

В то же мгновение я проснулся.

* * *

Это было 55 лет тому назад. За это время я пережил два страшных голода — в 1921 и в 1933 году, лютый красный террор по распоряжению Ежова, вторую мировую войну, неравный бой с неприятелем, лагерь военнопленных с ежедневной смертностью в 600 человек, дипийское четырех-летие, тридцать с лишним лет американской жизни. И если я уцелел, если я все время был занят вдохновенным творчеством и радованием многих тысяч соотечественников, значит, я был снова не один раз у судьбы и она, видя мою самоотверженность и человеколюбие, награждала меня полным счастьем, которым я охотно делюсь со своими добрыми и чуткими читателями.

Январь, 1978 г.

КАК Я СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ

В течение семи лет американской жизни я был знаменитостью среди русской эмиграции. Прославила меня, так называемая, «Березовская болезнь». Причиной этой болезни было «Ялтинское соглашение» трех вершителей мира во время 2-й мировой войны — Рузвельта, Черчиля и Сталина. В этом соглашении был такой пункт: «Все русские люди, очутившиеся за границей после 1939 года, должны быть возвращены на родину».

В Ди-Пи лагерях Германии и Австрии очутились миллионы русских людей, не пожелавших возвращаться в страну сталинской тирании. По документам все они были другой национальности.

У американского консула перед эмиграцией в Америку я назвал себя поляком, родившимся в Люблинской губернии. В Америку я прибыл, как поляк. А когда меня вызвали для оформления первых бумаг, я решил сказать о себе правду, что я крестьянин Самарской губернии, Бузулуского уезда, до войны проживавший в Москве в течение 18 лет. Чиновник, говоривший со мной, растерялся:

— Так кто же вы — поляк или русский?

— По документам поляк, а на самом деле русский.

Мой ответ не удовлетворил чиновника и он дал ход делу, которое потом превратилось в «Березовскую болезнь». Началось расследование. Я жил в это время в Сан Франциско, в доме Альбины Феликсовны Исаевой. Однажды утром ко мне приехал служащий отдела «Эмиграции и Натурализации», чтобы взять у меня подписку о не выезде из города. Но этого мало: он потребовал от меня залога в сумме 500 долларов. Денег у меня не было. Но к этому времени у меня завелось много друзей, которых я развлекал на вторичных вечерах «Русского Центра».

Я попросил чиновника подождать и принялся звонить богатым друзьям. Я просил выручить меня из беды и одолжить займы 500 долларов. С извинениями и сожа-

лениями все друзья, как будто сговорившись, отвечали, что, к сожалению, в данную минуту не располагают такой суммой.

— Я не могу внести залога, — сказал я чиновнику.

— Тогда пожалуйста вместе со мною.

Он привез меня в тюрьму при отделе эмиграции и натурализации, которая помещалась на 13-м этаже. Меня одели в арестантскую полосатую пижаму. На грудь нацепили пятизначный номер и сфотографировали в профиль и анфас, как преступника.

На 13-м этаже было несколько камер. Особенно было шумно в камерах для китайцев и мексиканцев, нелегально пробравшихся в Америку. Меня поместили в просторную камеру для русских, где было всего два человека. Моя койка была у окна. С высоты 13-го этажа я видел сновавшие автомобили, пешеходов, собак и всем завидовал. В душе, правда, была и радость от новых ощущений, которые обогащают писателя.

— Не попал в тюрьму на родине, так хоть побываю в американской.

Камера до обеда запиралась на ключ. В обед её открывали на полчаса. В большом фойе помещались автоматы со всякими сладостями, фруктами, печеньем, папиросами. В большой столовой на стенах висели картины из американской жизни и натюрморты с цветами.

Обед был санаторный: с супом, вкусным мясным блюдом с гарниром и желе. Один из заключенных в русской камере, по профессии скрипач, сказал, что на ужин не ходит, чтобы не пополнеть.

Я взял с собой пишущую машинку. Почти все время я стучал на ней, описывая свое настроение. Начало было для меня интересным. — Но что ожидает меня в дальнейшем? — спрашивал я, не надеясь на благополучный исход и заранее уговаривая себя — не удивляться никаким поворотам событий. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» — повторял я строку Сергея Есенина.

На третий день меня неожиданно навестили квартирная хозяйка и один из моих поклонников — Димитрий Полон. Их лица были веселые.

— Приехали за вами, — сказали они.

Я удивился.

— Вы недовольны?

— Нет, спасибо.

Я подумал, что у кого-то из русских людей заговорила совесть, подсказавшая — выкупить меня из тюрьмы. Позже я узнал, что совесть проснулась у моей хозяйки, Альбины Феликсовны, польки по происхождению. Это она внесла за меня залог в сумме 500 долларов.

Когда я появился на очередном вторнике «Русского Центра», меня встретили шумными аплодисментами. Мой рассказ о тюрьме вызвал много смеха. Председательница дамского комитета, Евгения Сергеевна Исаенко, сказала:

— Вы обладаете особенным даром — сильно драматическое превращать в уморительно-комическое.

— Хорошо это или плохо?

— Не только хорошо, но даже замечательно.

Жизнь не стояла на месте. Скоро был назначен суд, на котором должна была решиться моя судьба. В качестве свидетеля был приглашен председатель лагерного беженского комитета в Зальцбурге, почтенный господин Ивановский, недавно прибывший из Австрии в Америку. Я в лагерном комитете был одним из членов, как уважаемый всеми лагерниками артист и писатель. При лагерном театре я выполнял обязанности конферансье.

Альбина Феликсовна Исаева порекомендовала своего родственника — русского адвоката Филатова, а он пригласил своего друга американца. В качестве документов фигурировали мои дневники за все лагерные годы. Мой обвинитель почему-то подозревал, что я коммунист, засланный в Америку, как агент советского правительства. Выдержки из дневника подтверждали мою неприязнь к коммунизму.

Господин Ивановский искренне охарактеризовал меня, как горячего патриота поруганной родины.

Меня обвиняли в том, что назвав себя поляком, я лишил настоящего поляка американской визы, так как для каждой национальности была установлена определенная квота.

Решение суда мне обещали сообщить письменно.

Через три дня артистка Татьяна Светланова пригласила меня помочь ей в качестве технического работника в её балетном спектакле. Переменяя декорацию, я во время антракта поспешно вскарабкался на высоту почти вертикальной лестницы, и, не удержавшись на ней, упал, раздробив левую пятку. Меня увезли в городской госпиталь и поместили в огромной палате на 60 человек. На следующий день мне была операция, длившаяся 4 часа. После операции я заснул. А когда проснулся, увидел на своей груди три письма. Одно из них в длинном конверте было из отдела Эмиграции и Натурализации. В нем сообщалось, что я осужден за ложь консулу, будто я поляк и поэтому подлежу депортации в двухнедельный срок.

Прочитав письмо, я закрылся одеялом и зарыдал, сдерживая свои вопли, чтобы никого не беспокоить в большой палате.

Придя в себя, я лежа написал паническое письмо в «Новое русское слово». Через два дня в газете, на первой странице, в верхнем углу, справа, крупными буквами было напечатано о моей депортации. Это было громом среди ясного неба, это было бомбой, всколыхнувшей всю русскую общественность. Александра Львовна Толстая связалась со знакомыми сенаторами о задержке моей депортации. Профессор Григорий Порфирьевич Чеботарев внес в конгресс через знакомых конгрессменов «Прайвет Билл» об оставлении Березова в Соединенных Штатах.

Журналист Андрей Дикий поместил в «Новом русском слове» статью под названием «Березовская болезнь». Очень много для моего спасения сделал редактор газеты — Марк Ефимович Вейнбаум. Он поместил в газете несколько статей с «рецептами», как бороться с болезнью. Он напечатал на английском языке два обращения в Конгресс и в Сенат. Читателям предлагалось вырезать эти обращения, наклеить их на большой лист бумаги и собирать под ними подписи.

Зашевелилась вся русская Америка. Для сбора под-

писей нашлось много добровольцев-энтузиастов. Всё это были читатели моих рассказов и статей в «Новом русском слове». Многие из них тоже были больны «Березовской болезнью», переменяв не только свое имя, но и национальность.

Во всех штатах Америки много православных церквей, русских клубов, театров, обществ, магазинов. И во всех этих местах изо дня в день собирались подписи в защиту Родиона Березова. Это имя было у всех на устах, все горели желанием — помочь мне, оградить меня от огорчений. Отовсюду в Вашингтон текли потоки писем с многочисленными подписями.

Митрополит Феофил обратился к прихожанам собора с воззванием — поддержать соотечественника, писателя Березова. В письме он прислал мне солидный чек с трогательными словами, утешая и ободряя меня, уверяя, что Бог не оставит меня Своей милостью.

Американское правительство было удивлено потоком писем в защиту Березова. В Сенате было решено: вызвать Березова в Вашингтон и допросить его лично.

Я в это время жил в Сан Франциско. Однажды меня вызвали к телефону из Вашингтона и попросили — завтра же прибыть в столицу. Разговор был на русском языке. Мне сказали, что билет на джет заказан для меня и что меня встретят на аэропорте в Вашингтоне.

Знакомые и сослуживцы радовались за меня, а я все еще боялся поверить в счастливый исход моей драмы. В джете я не переставал молиться.

Меня действительно встретил элегантный американец высокого роста, очень любезный, как все американцы. Он довез меня до отеля, при котором был ресторан. Хозяину ресторана он сказал, чтобы за пищу с меня ничего не взымали, что потом всё это будет оплачено. Всё это было, как в сказке. Судьба руководила всеми людьми, имевшими какое-либо дело со мною. Вечером меня посетили русские люди, работавшие в «Голос Америки». Мне особенно понравился Николай Сергеевич Ласковский своим остроумием, образованностью, юмором, приятным тембром голоса.

Пришедшие сообщили, что слушание моего дела назначено на завтра в Сенатской Комиссии, о чем напечатано объявление в сегодняшней газете. В объявлении сказано, что вход на это слушание свободный.

— Так что многие любопытные пенсионеры придут послушать некоего Березова, въехавшего нелегально в Америку. Переводить вас будет русская из «Голоса Америки». Возглавлять слушание будет сенатор Дженнер из Джорджии. Конечно, заинтересуются этим журналисты и фоторепортеры. Так что не ударьте в грязь лицом.

— Буду говорить, что подскажет мне совесть.

Про себя я и в этот раз повторял строку Сергея Есенина: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». Крестьянский сын, ничем не прославленный человек, удостоивается чести — разговаривать с сенатором. Разве это не сновидение? Разве это не вторичная встреча с судьбой, к которой я с таким трудом добирался в первый раз двадцать с лишним лет тому назад?

Перед сном я снова молился, прося для себя мудрости на завтрашний день. И он наступил — этот интересный, переломный день моей жизни. Слушание было назначено на 10 утра. Есть мне не хотелось. Я только попросил себе стакан молока и маленькую булочку. Волнение лишило меня аппетита. Одет я был прилично: в полосатом черном костюме, присланном мне из Америки в Ди-Пи лагерь Иосифом и Бетиной Левиными. Мои темные волосы я причесывал налево «внутренним займом» маскируя рано появившуюся полянку на голове. Очки были в роговой оправе. К белой рубашке был прицеплен черный изящный бантик.

И начальство, и публика, и репортеры собрались аккуратно. В одной стороне большой комнаты в виде четырехугольника стоял длинный стол под зеленым сукном для сенатора и двух его секретарей. У сенатора были густые волосы и приветливое лицо. Оба секретаря были совсем молодыми. Справа вдоль стены расположились журналисты и фоторепортеры. Их было человек 20. До начала они перекидывались фразами и смеялись.

В середине была кафедра с усилителем для меня.

Молодая, симпатичная переводчица заняла место справа от меня. Позади кафедры было много мест для публики. Пожилых и престарелых слушателей обоего пола собралось очень много. Мне некогда было и неудобно всех их сосчитать. Я решил, что их больше ста человек. Преобладали женщины в темных шляпках.

Мне было дано полчаса. Из них — половина для переводчицы, значит, для моего рассказа оставалось 15 минут. Сенатор предложил мне рассказать о себе, начиная с детства и до последних дней. Я мысленно обратился к Богу, прося о мудрости — вспомнить самое главное. Я рассказал, как мне в детстве был сделан гроб и как все с нетерпением ожидали моей смерти. Не забыл я поведать и об артистических способностях на деревенских свадьбах.

Переводчица улавливала все мои интонации. Эта часть рассказа вызывала смех у публики, у репортеров и сенатора. Упомянул я о народном, «Сталинском» ополчении, о ди-пи лагерях, о превращении из русского в поляка и о судебном решении — депортировать меня. В этой части повествования я привел свою статью: «Прощай, Америка!» Говоря об этом, я сдерживал слезы, но публика слез не таила и я слышал даже всхлипывания женщин.

Я уложился в свое время и был удивлен, как можно много сказать в 15 минут. Сенатор Дженнер задал мне вопрос:

— Вредит ли такое положение, как у вас, безопасности Америки?

Я ответил так:

— Да, очень вредит. Таких, как я, в Америке тысячи. Все они — бесправные люди, всем им грозит депортация. А советских агентов в Соединенных Штатах — без счета. Они смущают несчастных наговорами: «Вот тебе и хваленая Америка! Ты для неё — нуль. Возвращайся скорее домой». Что будет, если люди побегут из Америки? Конфуз для свободной страны. Так что всем «Березовцам» нужно как можно скорее дать все права американских граждан.

Сенатору очень понравился мой ответ и он сказал:

— Я согласен с вами и благодарю вас за ваш содержательный доклад.

Когда слушание было окончено, меня окружили тесной толпой корреспонденты и фоторепортеры:

— Закон о легализации «Березовцев» будет издан очень скоро, — зашумели они.

— Почему вы так уверены в этом?

— Потому что вы всех заставили смеяться и плакать, вы расшевелили сердца американцев. Совсем было бы другое, если бы вы всех усыпили.

Сенатор, подойдя ко мне, пожал мне руку. Все русские поздравляли меня. Многие из публики тоже приветствовали меня крепкими рукопожатиями. Это был незабываемый день моей жизни. Я спрашивал себя:

— Я ли это, которого слушало так много людей в стенах Американского Конгресса? Как был бы счастлив отец, если бы, дожив до этого дня, узнал такие новости о своем сыне!

После этого я пробыл в Вашингтоне два дня. Оттуда направился в Нью Йорк, чтобы порадовать Марка Ефимовича Вейнбаума, так много сделавшего для меня.

Каков был результат слушания «Березовского дела»? Сенатор Джон Кеннеди, который позже стал президентом, внес предложение — издать закон о реабилитации «Березовцев». В «Новом русском слове» были выдержки из его статьи по этому вопросу.

«Когда к виску человека приставлен револьвер, все его мысли и чувства о том, чтобы уцелеть. Ялтинское постановление о возвращении всех русских на родину, независимо от их желания, это и есть убийственный револьвер. Можно понять, почему русские делались поляками, немцами, турками, итальянцами. Ведь всех других национальностей совершенно не касалось насильственное возвращение на родину. Это грозило только русским. Проявим к ним сочувствие и как можно скорее примем закон об их равноправии со всеми другими национальностями».

Предложение Кеннеди было принято. Закон был издан. В течение 7 лет всем «Березовцам» предлагалось

выправить свою биографию и принять американское гражданство. Я принял его в 1958 году.

«Березовцев» оказалось больше 25 тысяч. Я стал получать много благодарственных писем. Содержание их было почти одинаковым:

— Дорогой соотечественник Березов! Против американского закона согрешили очень многие. Но вы один из этих тысяч приняли грех на себя и покаялись в нём, побудив тем самым и остальных сказать правду о себе. Ваше имя вошло в американское законодательство под названием «Сикнес оф Березов». Вы стали знаменитым человеком. Честь Вам и слава!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

С 1 января 1925 года я стал вести подробнейший дневник. Записи делались каждый день перед сном. В этом году меня стали печатать в толстых журналах: «Красная Новь» и «Новый Мир». Можно сказать, что с этого года я стал признанным писателем. Я был членом литературной группы «ПЕРЕВАЛ», организованной Александром Константиновичем Воронским. В писательских кругах я считался одним из лучших чтецов и рассказчиков. Во многих моих рассказах и очерках было много юмора и потому меня встречали, как желанного гостя в литературных салонах Евдоксии Федоровны Никитиной и Анны Арнольдовны Антоновской.

Еженедельные собрания у Никитиной бывали по субботам, у Антоновской по вторникам. На собрания, кроме писателей и поэтов, приходили художники, артисты всех московских театров, певцы и музыканты. После литературной программы всегда подавалось угощение: чай и бутерброды с колбасой, икрой и сыром. На эти собрания иногда приходили такие знаменитости, как Анатолий Васильевич Луначарский, Иван Михайлович Москвин и Василий Иванович Качалов.

Иногда в гардеробной, куда гости шли после собрания одеться, Евдоксия Федоровна кое-кому шептала на ушко: «Останьтесь». Это означало, что для избранной публики будет горячий ужин с вином. Мне посчастливилось быть участником таких ужинов несколько раз. Однажды я был предупрежден заранее — не забыть с собой балалайку, на которой я исполнял народные песни. На том ужине был Иван Михайлович Москвин. С ним мы спели под балалайку песню: «Как задумал сын жениться, дозволенья стал просить». После трех куплетов песни Иван Михайлович предложил:

— Припев пойте все!..

А припев в этой песне был необычный:

«Веселый разговор, дозволенья стал просить».

Песня по содержанию грустная. Сын просит разре-

шения — жениться на любимой девушке, но отец не верит, что на свете есть любовь к одной единственной, что любить можно «каждую». Огорченный сын идет с саблей в лес и там убивает себя.

Его глазки голубые всё на небушко глядят,

А уста его немые про любовь всё говорят.

Тут поверил отец сыну, что на свете есть любовь,

Что на свете девок много — одною можно любить.

Кое-кому могло показаться странным такое сочетание слов:

Взял он саблю, взял он востру,

И зарезал сам себя.

Веселый разговор — и зарезал сам себя.

Но слова «Веселый разговор» при грустной мелодии только усиливали трагизм песни. Я пел её часто с Василием Наседкиным, женатым на сестре Есенина Екатерине. На молодежных концертах аудитория всегда бурно аплодировала нам.

В своем дневнике я описывал встречи с писателями, артистами, концерты, литературные вечера, командировки от газет и журналов, поездки на родину, жалобы крестьян и рабочих на трудности жизни. Записи были подробными — с диалогами, с описанием природы. В дневник я вклеивал вырезки из газет и журналов о наших выступлениях. Иногда с нами выступала певица Ольга Васильевна Ковалева: она в середине, а мы по краям. При содействии Федора Федоровича Раскольникова нас троем пригласили однажды в Кремль — к Ольге Давидовне Каменевой, сестре Льва Троцкого. О. Д. Каменева возглавляла тогда культурную связь с границей.

Нас угостили чаем с бутербродами, а потом во вместительной гостиной мы долго пели грустные и веселые песни. Во время нашего концерта вернулся с заседания Лев Борисович Каменев и тихонько сел на диван рядом с женой. Когда мы уходили, хозяин всем нам помог одеться. Мне было неловко, что такой большой партийный работник, член политбюро, подает мне короткую овчинную шубу. По выходе из Кремля Раскольников протянул мне белый, десятирублевый червонец, сказав:

— На такси.

Мне и Наседкину было недалеко до Никитских ворот и я шепнул своему партнеру:

— Отдадим червонец Ольге Васильевне: она живет возле Сокольников, у неё маленькая девочка.

Это посещение Кремля было записано со всеми подробностями в солидный дневник в ледериновом переплете.

Однажды мне приснился удивительный, вещий сон: кто-то высокий, в черном длинном плаще, с надвинутым на лицо капюшоном — «Некто в черном», как я назвал его, приблизился к моему изголовью и очень внятно, деля слова на слоги, сказал:

— Ты ведешь дневник. Когда проснешься, запиши: начиная с нового дня ты проживешь 16 лет и 6 месяцев!

Удивленный и напуганный я тут же проснулся. Уже светало. За окнами падал пушистый снег. Я записал предсказание странного пророка и стал высчитывать, когда будет последний день моей жизни. По моим вычислениям этот день приходился на 15 июля, 1942 года, значит, я умру в сорока шестилетнем возрасте.

— Маловато мне назначено судьбой, — с сожалением подумал я, — значит, надо использовать назначенный мне срок с максимальной нагрузкой и напряжением: побывать на крайнем севере и на юге, издать несколько книг, познакомиться со знаменитыми писателями и артистами, заняться собиранием народных песен.

Осенью 1925 года вышла в свет моя первая книга: «О чем шепчет деревня». Она попала Максиму Горькому и он упомянул о ней в письме А. К. Воронскому в таких выражениях: «Автор хорошо знает крестьянский быт и не плохо владеет словом». Редактор «Красной Нови» прочитал мне эти строки из письма и попросил:

— Пишите почаще для журнала.

О книге был хороший отзыв в Милюковской газете: «Последние Новости». Статья целым подвалом называлась: «Шепот переходящий в ропот».

Эта книга сдружила меня с Демьяном Бедным. Я бывал у него не раз и в Кремле и на подмосковной даче.

Весной 1926 года с рекомендательным письмом артистки Ольги Эрастовны Озаровской я поехал в Коктебель, к поэту Максимилиану Александровичу Волошину. И он и его жена Мария Степановна приняли меня с распростертыми объятиями. Для отдыхающих гостей в Коктебеле было несколько байдарок. Они лежали на пляже с цветными красивыми камушками, среди которых сверкали серебристые халцедоны. На четвертый день по прибытии к Волошиным, ранним утром, я решил прокатиться на байдарке вдоль Карадага со знаменитым профилем поэта. Никому об этом не сказав, я сдвинул байдарку на тихую в то утро воду и быстро поплыл, управляя одним веслом. Оно взлетало над водой то справа, то слева. Я уже миновал золотые ворота с орлиным гнездом на вершине. Морским воздухом дышалось легко. Чувство радости переполняло меня. Но вот я заметил вдали что-то перекатывающееся в лазурной глади моря. Два каких-то живых существа приближались ко мне. Я сообразил, что это дельфины, привыкшие к отдыхающим людям. Через несколько минут я очутился между ними на небольшом расстоянии. Мелькнула мысль: «Не опрокинут ли они в своей резвости мою байдарку?» Но я вспомнил предсказание в сновидении о моем последнем дне в 1942 году. Это успокоило. В байдарке было несколько камней. Я потерял один камень о другой. Неприятный скрип не понравился дельфинам и они удалились от меня в сторону серебрившегося под солнцем горизонта. К завтраку я в тот раз опоздал.

— Где Родион? — забеспокоились хозяева и гости. Кто-то сказал, что я уплыл на байдарке. В эти минуты я приближался к берегу, где меня ждал Максимилиан Александрович.

— Мы очень беспокоились о вас и уже хотели отправиться на розыски. В другой раз не заплывайте так далеко.

Я рассказал о своем сновидении.

— Сон вещий, но Бог может изменить предначертание черного существа.

Я прожил в Коктебеле полтора месяца. На прощанье поэт мне сказал:

— Мой дом — ваш дом. Если вам будет тяжело в Москве, если вам изменят литературные удачи, а власть имущие предадут вас остракизму, как предали меня, приезжайте сюда, будем жить вместе, будем трудиться для будущего. О куске хлеба не беспокойтесь: будет день — будет и пища.

Много страниц дневника заполнил я в Коктебеле, описывая природу, совместные прогулки с Максимилианом Александровичем и его многочисленных гостей — писателей, художников, музыкантов и артистов. В дневниках описаны мои поездки на север во время белых ночей, в Узбекистан, на Кавказ и по Волге.

В 1927 году у меня было уже три книги: «О чем шепчет деревня», «Развязанные снопы» и «Проклятая должность». О них были хорошие отзывы в прессе. Книга «Развязанные снопы» была с благожелательным предисловием Федора Федоровича Раскольниковца.

После НЭП-а, во время коллективизации, наступили тяжелые дни. Мои искренние правдивые очерки о деревенской жизни теперь отвергались редакторами, как «несозвучные моменту», от меня отвернулись те, которые когда-то восхищались моей «беспощадной правдой»: Демьян Бедный, Джек Алтаузен, Александр Жаров. Обо всем этом я с болью писал в дневнике.

Еще страшнее стало жить при бесконечных процессах по желанию Сталина, когда его бывшие соратники присуждались к смертной казни.

— Ты и об этом записываешь в свой дневник? — с тревогой спрашивала у меня старшая сестра Татьяна.

— Обо всем записываю, — отвечал я сестре, — как же можно пропустить такие события? Всё это останется для будущего, для истории.

— Да ведь за это могут арестовать и расстрелять.

— Ты же знаешь, что последний день моей жизни будет только в 1942 году. Значит, теперь мне смерть не грозит.

Чем можно было объяснить мое бесстрашие — лег-

комыслием, глупостью, наивностью, фатализмом или надеждой на Бога? Всё больше толстых, переплетенных тетрадей появлялось в письменном столе. Когда знакомым партийцам я задавал вопросы о кровожадных процессах и о голоде на Украине: «Можно ли всё это оправдать с точки зрения здравого смысла?», они, словно сговорившись, отвечали цинической пошлостью: «Лес рубят — щепки летят». И это было записано в дневник.

Но вот настало жуткое время: каждую ночь арестовывали многих писателей, с которыми я был знаком: я бывал у них, они не раз бывали у меня, на пельменях. Как можно было пропустить такие события? Я описывал их с еще большими подробностями, чем прежние факты. Тетради, как и прежде, хранились в письменном столе на Щукинской 3, в Покровском Стрешневе, заросшем соснами и березами. Как и все мои собраты, я каждую ночь ждал страшных посетителей. Чем можно было предотвратить это несчастье? В моих возможностях была только молитва. И я думал: «Неужели не молятся другие?» Я склонял колени перед своей узкой кроватью, прислонялся головой к постели и обращался к Богу с мольбами о спасении, давая клятвенные обеты — делать всем добро, если останусь несхваченным в застенки кровожадных правителей. Бежали час за часом. От жгучего желания — жить и творить — я не чувствовал усталости. В весеннюю пору, перед рассветом, начинались птичьи концерты. В такие часы черный ворон не вылетал за поживой и я ложился в постель с благодарностью Богу, что мне подарен для радости еще один день.

Но вот началась война. Гитлер перехитрил Сталина. 3-го июля 1941 года Сталин обратился к народу по радио с воззванием, назвав слушателей огромной страны «Братьями и сестрами». Слышко было, как он во время паузы наливал воду из графина в стакан и как этот стакан стучал о его зубы, когда он пил. Он обратился к народу с просьбой — создать ополчение, чтобы в этой великой, отечественной войне обеспечить победу над злейшим врагом. Голос диктатора дрожал. Слушатели чувствовали что он охвачен страхом.

Все организации приступили к созданию «Народного ополчения». Каждый район Москвы задался целью — создать свою несокрушимую дивизию. 4-го июля я был вызван в Союз Писателей и мне тоном приказаания предложили вступить в ряды защитников родины. Мне в это время было 45 лет. Без очков я был совершенно беспомощным.

— Я никогда не держал винтовки в руках, — пытался я отговориться.

— В ополчении для вас найдется много всякой другой работы, кроме умения стрелять.

Отказы считались непатриотичными и могли повлечь за собой всякие неприятности. Я дал согласие, а на следующий день уже должен был перейти на казарменное положение. Большую партию «защитников родины» разместили в классах школы десятилетки на голых полах. Днем нас обучали строевым премудростям. На уроках словесности полуграмотный политрук читал нам «Известия» и «Правду». В числе мобилизованных были четырнадцатилетние подростки и семидесятилетние, беззубые старики. Был даже горбун. Эти события происходили в июле 1941 года. До последнего дня моей жизни оставался один год.

Через три дня, ночью, нас отправили пешком на запад — усталых, голодных, недоумевающих. Луна освещала нам дорогу. В сосновом лесу нас остановили на привал. Вершины деревьев гудели настороженно. Мы свалились, как подкошенные на хвою и сосновые шишки. А на другой день нам выдали винтовки, походные сумки, противогазы, шанцевые лопатки и по сотне патронов с грозным предупреждением: «Девяносто девять патронов во врага, а при безвыходном положении — сотый патрон в себя».

Военным приемам и шагистике нас обучали скороспелые лейтенанты комсомольцы, окончившие краткосрочные курсы. Их чванство, апломб и глупость потрясали. И вот мы — московские интеллигенты и деревенские колхозники должны были слушать их, как ученики первого класса начальной школы. Питание было не-

достаточным и мы все время испытывали сосущий голод. Проходя деревнями, мы разбредались и просили под окнами кусок хлеба или вареную картошку. За это от начальства нам были нагоняи и угрозы — отправить в штрафной батальон.

В течение трех месяцев мы копали траншеи, окопы, валили леса, чтобы загородить дорогу неприятельским танкам. А 3-го октября нас неподготовленных, беспомощных, слабых, голодных, бросили в бой против немецких танков, минометов и автоматов. Наблюдая за боем, я торопливо делал записи в дневник, с которым не расставался. На моих глазах падали сотни людей. Я слышал стоны раненых. Мины пролетали с воем над моей головой. У меня просили воды, но в моей манерке не было ни одной капли. Свистел ветер. Качались кусты. С редких деревьев стремительно осыпались листья. Канонада длилась до вечера. Нам был отдан приказ — отступить. Но нас перехватил неприятель. Осветив ракетами бегущих, на нас направили огонь из автоматов. Группа отступающих из 17 человек набрела на неглубокую траншею. Я был в этой группе. В канаве нельзя было укрыться с головой. А пули свистели, не умолкая. Я догадался прикрывать голову шанцевой лопаткой. Ударяясь о нее, пули падали мне под ноги, в песок траншеи. Я вспомнил сновидение о последнем дне моей жизни. Но всё же не переставал молиться: «Господи, сохрани мою жизнь — я всю её посвящу добрым делам». Голова соседа справа упала мне на грудь. Через минуту то же было и с соседом слева. Когда стрельба прекратилась, кто-то крикнул: — Вылезайте!

Из семнадцати человек в живых осталось трое. Четырнадцать убитых, как видно, не догадались — прикрывать голову шанцевой лопаткой. Втроем мы направились в восточную сторону, надеясь встретить своих. Скоро мы зашли в лес. В моей сумке были сухари. У товарищей не было никаких запасов. Я поделился с ними. Спать мы расположились в лоштинке под соснами. Для тепла теснее прижимались друг к другу, радуясь, что остались живыми. Утром я пошел на разведку. На лугах паслись коровы, овцы и гуси. Значит, тут нет немцев, — решил я,

— иначе всё бы это было уничтожено. Возле ручья я побрился, чтобы от русских командиров не получить нагоняя за небрежный вид.

Большое село было расположено на косогоре. Из труб прямыми столбами поднимался дым. На площади стояли грузовые автомобили. Кабина одного из грузовиков была покрыта красным флагом. Я ускорил шаги. Приблизившись к селу, среди красного я заметил белый круг, а на нем черную свастику. Сердце дрогнуло. Я заторопился к лесу, где меня ждали два товарища. Но из села с криком «Хальт! Хальт!» за мной устремился немецкий солдат. Бежать было бесполезно. Я остановился. Подбежавший солдат после приветствия «Гут морген» отобрал у меня часы «Омега», вытряхнул из моей сумки патроны, далеко забросил противогаз, а винтовку переломил о колено. После этого он обыскал меня и, найдя в дном из карманов «Мыло молодости-секрет красоты» с декольтированной дамой в профиль на обертке, взял себе. На флакон одеколона «Красная заря» он почему-то не позарился.

Солдат привел меня в штаб на допрос к русскому человеку, как видно, старому эмигранту. Речь этого человека была культурной. Гитлера он превозносил до небес. Узнав, что я писатель, он самоуверенно предсказал:

— Только при национал-социализме вы сможете свободно распустить свои творческие крылья.

Он заверял меня, что в ближайшие дни немцы будут в Москве.

— Натерпевшись от Сталина, вы сможете теперь написать правдивую книгу, не кривя душой.

Закончив допрос, он пожелал мне всего хорошего. К вечеру в этом селе собралось много пленных. На ночлег нас загнали в школу, поставив между людьми кадку для неотложных надобностей. Окна деревянной школы были закрыты ставнями. Почти все пленные курили махорку. Я задыхался. Мое место было у окна. Размахнувшись, я изо всей силы ударил в раму.

Зазвенели стекла. Раскрылась ставня и в ту же минуту возле окна застрочил пулемет. Но теперь я наслаж-

дался чистым воздухом сквозь разбитое стекло.

Утром нас голодных погнали в лагерь военнопленных. Он был в городе Рославле, Смоленской области. На ходу многие поддерживали друг друга за руку. Шли мы с небольшими остановками весь день — тоскующие и недоумевающие. Кое-кто падал от слабости. Таких пристреливали конвоиры. За проволоку лагеря нас загнали вечером. Заморосил дождь. Во многих местах широкого двора люди разжигали костерчики и на этом огне кипятили в консервных банках воду. Русские полицейские из военнопленных опрокидывали банки с водой, а огонь затапывали. По их адресу сыпались проклятия, за что полицейские били несчастных палками по голове. Всем пригнанным было приказано — провести ночь в сарае. Я решил, что там меня могут задавить и направился к одному из двух кирпичных, двух-этажных зданий, где помещались больные и раненые. У меня спросили в дверях, что мне нужно?

— Я хочу поговорить с комендантом этого госпиталя.

— По какому делу?

— По личному.

С верхнего этажа спустился молодой красавец в новой куртке цвета беж, в галифе голубого цвета и в начищенных сапогах, в которые можно было глядеться вместо зеркала.

— Что вам угодно?

— Мне угодно, чтобы вы дали мне ночлег в этом доме.

Он громко расхохотался.

— Знаете, сколько пленных в лагере?

— Не знаю.

— Семьдесят тысяч! Представляете, что бы произошло, если б все они ринулись искать ночлега в госпитале?

— Да, конечно, пленных в лагере тысячи, но я думаю, что писателей среди них очень мало.

— Вы писатель? Как ваше имя?

Я назвал себя.

— Так я же читал ваши книги! Поднимайтесь на второй этаж!

Он провел меня в общежитие санитаров с двойными сплошными нарами. Топилась голландская печь. В котелке варилась картошка.

— Господа, познакомьтесь с известным писателем!

Он назвал мое имя. В комнате было четыре санитаров. Все они крепко пожимали мою руку. А вскоре угощали горячей картошкой с поджареными ломтиками свиного сала.

На другой день комендант постарался устроить меня одним из многочисленных поваров на кухню. В обязанности этих поваров входило — растапливать сырыми осиновыми дровами печки под огромными котлами и варить баланду — то есть разболтанную в кипятке ржаную муку.

Кухней заведывал бывший политрук — наглый, бесстыдный субъект, не расстававшийся с резиновой плетью.

— Я без подарка на работу никого не принимаю, — предупредил он меня, — часы есть?

— Были, но отобрал немецкий солдат.

— Вечное перо есть?

— Было, но потерял.

— Пошарь по своим карманам.

— Вот флакон одеколона «Красная заря».

— Как раз то, что мне нужно. Завтра в 6 утра приходи на работу. Жить будешь в общежитии для военнопленных.

В том сарае, куда было согнано вечером несколько тысяч пленных, ночью было задавлено на смерть 9 человек. Я пробыл в лагере почти три месяца. Спали работники кухни на нарах, тесно прижавшись друг к другу. Всех одолевали насекомые, гнездившиеся в рубцах рубашек. Вместо электричества комнату освещала коптилка. Перед сном мы снимали рубашки и проводили по рубцам железкой. Раздавался треск убитых вшей. Мои товарищи по несчастью и работе скоро узнали, что я, как писатель, знаю на память много разных историй. Моей обязанностью стало — развлекать художественным словом людей после обработки наших рубашек. Слушали

меня с большим вниманием и всегда просили: «Еще немножко».

Среди немецкого командования оказался благороднейший человек — Владимир Владимирович фон Фе. Его предки переселились в Россию при Екатерине 2-й. Родители были состоятельными. Он окончил юридический факультет Петербургского Университета. При советской власти переселился в Эстонию. Когда Прибалтика была занята немцами, его мобилизовали в германскую армию. По психологии, симпатиям и влечениям это был сугубо русский человек. Очутившись в Рославльском лагере, он задался целью — спасти русских интеллигентов. Познакомившись со мной, он сказал:

— Вы скоро освободитесь из этого ада.

Смертность в лагере увеличивалась. В декабре умирало более 600 человек в день. С мертвых снимали одежду и голыми погружали на телеги. Днем живых заставляли копать большую яму, в которую сваливали трупы.

Среди военнопленных было много врачей. Им было приказано — обследовать запасы пищи у пленных. Врачи находили сырое мясо и тут же делали заключение, что это человечина. Трупоедов немедленно осуждали на повешение. Виселица была поставлена посреди двора. Она была похожа на огромную букву Г. Сверху свешивалась веревка с подвижной петлей. Перед повешением всех жителей лагеря выгоняли из бараков и расставляли с четырех сторон вокруг виселицы. Процедурой повешения распоряжался молодой человек, бывший комсомолец. Его звали «Афоня-вешатель». Он намыливал петлю, надевал её на обреченного, подставлял для него табуретку, потом вышибал ее и тянул повешенного за ноги. На груди жертвы была доска голубого цвета с черными буквами: «За трупоедство каждого ждет виселица». Казнённый в назидание всем остальным висел целые сутки. Если поднимался ветер, труп раскачивался. Вережка скрипела. Мы слышали этот скрип из своих общежитий и эгоистично радовались, что лежим на нарах, а не висим в петле.

В половине декабря меня и профессора словесности Московского Педагогического Института, Владимира Грецишникова направили в Смоленск в автобусе, перепол-

ненном немецкими солдатами и офицерами. Все они сидели. Для нас места не оказалось и мы простояли всю дорогу. В Смоленске мы пошли в отдел пропаганды, где нам дали направление в редакцию русской газеты под немецким контролем. Ночлег нам предложил редактор газеты, одаренный писатель Константин Долгоненков. На следующий день в городской управе нам выдали соответствующие документы и устроили с квартирой в разных местах. В первую ночь на постоянном месте жительства я долго придумывал для себя псевдоним. Перебрал в памяти все праздники, названия всех планет, русских имен, цветов и деревьев и остановился на березе, превратившись в Березова.

Смоленск был разрушен на 90 процентов. Но, к счастью, уцелел древний собор, которым когда-то любовался Наполеон. Превращенный при большевиках в антирелигиозный музей, теперь он был открыт для богослужений и всегда бывал переполнен. За Днепром открылся базар. В столовой давали суп с кониной. Стали появляться комиссионные магазины, сапожные и пошивочные мастерские.

Скоро в редакцию пришел одетый в зипун молодой человек, назвавший себя Сергеем Широковым. Он отбыл шестилетнее заключение в концентрационном лагере, после чего ему было дано разрешение — поселиться в Калуге. При отступлении из Калуги он направился в Смоленск. Это был будущий известный писатель Сергей Максимов. Я подружился с ним и вскоре мы вдвоем написали пьесу «Волк», которая была поставлена в Смоленском городском театре. Во время его женитьбы на Соне Спиридоновой я был его посаженным отцом.

Редактор, видя мою старательность, назначил меня ответственным секретарем газеты. Со стороны немецкой власти контролером газеты был сотрудник «Фёлькишер Беобахтер», культурный, прекрасно говоривший по-русски, Эрнест Шюле. Он хорошо знал русскую литературу. До войны его дача под Москвой была рядом с дачей народной артистки республики — Антонины Васильевны Неждановой. Когда он сердился на работников редакции,

то не удерживался от слов, звучавших странно в его устах:

— Вас здесь десять человек, но два еврея могли бы выполнять эту работу в десять раз лучше вас.

Шел 1942-й год. По предсказанию моя смерть должна была постигнуть меня в июле. С наступлением тепла участились налеты советской авиации на Смоленск. В разных местах города были расставлены зенитные орудия. Почти при каждом налете были человеческие жертвы. Я был уверен, что погибну от бомбы. Жил я в одноэтажном домике по улице Володарского, неподалеку от центра города. До войны в этом доме жил профессор Медицинского Института. В начале войны он эвакуировался на восток, поручив квартиру своей пожилой кухарке Матрене. Она жила по соседству со мною. В моей комнате с потолка свешивалась тяжелая люстра. Вместо окон была застекленная стена с дверью на веранду. За верандой был цветник и вишневый сад. Над моей кроватью вдоль стены висела в тяжелой деревянной раме картина Шишкина: «Утро в сосновом лесу» с медведицей и медвежатами.

Наступило 14-е июля. В полночь должно начаться 15-е — день моей смерти. Кто мог ее отодвинуть, кто мог меня спасти? Только Бог. И к Нему я обратился с горячими молитвами — о чудесном спасении. На всякий случай я попрощался с жизнью и мысленно со всеми родными, друзьями и знакомыми. В дневнике при свете электрической лампочки я заполнил 5 страниц. Заснуть долго не мог. Но все же задремал. Это был полусон, полуявь. Но вот завывли сирены воздушной тревоги. Зловеще загудели приближавшиеся вражеские самолеты. Заухали зенитки. Самолеты очутились, как мне показалось, над нашим домом. Это был почти бреющий полет. Сердце замерло. Губы затряслись в молитве. Засвистела бомба. А через мгновение... она упала в наш цветник. Рухнула на пол люстра. Вылетели стекла веранды. Меня завалило шкватуркой с потолка. Картина с медведями упала мне на голову и рассекла углом середину лба. Кровь заструилась по щекам. Я задал себе наивный вопрос: «Жив ли я?» И тут же радостно ответил:

— Да, я жив, Бог отодвинул от меня смерть на несколько футов.

Бомба, упавшая в наш цветник, была фугасной, большой силы. Воронка от нее была очень глубокой, вплоть до подземной воды. Днем сотни людей приходили взглянуть на эту воронку. Все удивлялись и поздравляли меня со спасением.

— Поздравьте и мою соседку, Матрену Фроловну, — отвечал я на радостные восклицания.

А она охала, говоря об убытках от этой бомбы.

— Что увидят хозяева, когда вернутся домой после войны?

— Они будут рады, что вы уцелели, — утешал я её, — а яму можно засыпать, цветы насадить, стекла вставить, стены и потолок оштукатурить заново, люстру и картину водворить на прежнее место.

— Так то так, а сколько это будет стоить?

Беспокойство верной кухарки казалось трогательным и смешным при наличии драгоценной жизни.

В ближайшее воскресенье я заказал благодарственный молебен в старинном соборе. Во время молебна я подпевал дружному хору певчих. Они радовались вместе со мною.

После этого я живу вот уже 36 лет. Велика милость Божия ко мне!

ЦВЕТОК НЕПОВТОРИМЫЙ (О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ)

И песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

Сергей Есенин.

«В дерево без плодов не бросают камней». Это восточная мудрость. А если на высоких ветках плоды, в них летят камни, дерево усиленно трясут, ветки с плодами стараются задеть какими-нибудь крюками. Дерево от всего этого обезображивается. Хорошо дереву без плодов: его никто не тронет, и оно весело шумит густыми ветвями, привлекая птиц для песен и гнезд.

Об известном человеке всегда много сплетен, пересудов, кривотолков. Его имя не дает людям покоя. В него летят камни клеветы и липкая грязь зависти. Такая судьба была у Есенина. Чего только о нем ни выдумывали, каких только безобразий ему ни приписывали, за что только его ни осуждали.

Во время первой мировой войны стараниями Николая Клюева Есенин попал в царский дворец и читал свои стихи царице и августейшим княжнам. Царица спросила:

— Почему ваши стихи такие грустные?

— Потому что окружающая нас действительность не располагает к веселью, — ответил, не подумав, поэт.

В этих словах прозвучала бестактность по отношению к императорской семье. «Действительность не располагает к веселью».. А кто во главе этой действительности? Кто должен задавать тон жизни в огромной империи? Царь Николай и царица Александра.

Последствия визита в царский дворец были печальны для поэта. Либерально настроенные писатели не могли простить Есенину «низкопоклонства перед троном» и объявили ему бойкот. На писательских собраниях больше всех рвала и метала Зинаида Гippiус.

— Пригрели змею! — кричала она.

Поэта выручила из беды революция. Двери редакций, закрывшиеся после встречи с царской семьей, снова были открыты для Есенина.

* * *

Когда на литературных вечерах выступаешь с воспоминаниями о Сергее Есенине, от слушателей всегда бывает несколько записок с вопросами о «его женах». Почему-то эта сторона жизни поэта особенно волнует обывателей. Я знаю о шести женщинах, с которыми был связан поэт. От трех у него были дети. Первой случайной женой Есенина была простая наборщица, не выговаривавшая чисто звук «Р», Елена Изряднова. От мимолетной связи с нею родился сын Юрий, больше похожий на мать, чем на отца — широкоплечий, светловолосый с удивительно невыразительными глазами. Со школьных лет он начал писать стихи. При редких встречах с Есениным называл его «папой». Поэт запретил мальчику эту фамильярность.

— Зови меня Сергеем Александровичем!

Мать Юрия не требовала от поэта никакой материальной помощи. Она поощряла сына в стихотворчестве и часто говорила:

— Пиши, сынок, может быть будешь знаменитым, как твой отец.

Сын не раз показывал свои стихи отцу и всякий раз выслушивал критику из одного слова:

— Плохо!

Мальчик рано понял значение слова «Есенин» и в компаниях товарищей не раз хвастался:

— Вы знаете, кто мой отец? Мой отец — знаменитый поэт Сергей Есенин. Мать не уберегла сына от плохих друзей. Мальчик начал рано прикладываться к рюмочке и писать слабые, антиправительственные стишки. Арестованный по 57-й статье за контрреволюцию, он был сослан в Сибирь, где и умер в юном возрасте.

* * *

Второй женой Есенина была Зинаида Николаевна Райх. Поженил их редактор Иванов-Разумник в 1917 году. Тогда Райх работала в конторе газеты, издававшейся в М о с к в е. Есенин приносил в

редакцию стихи. Гонорар за напечатанное или авансы получал через контору. Конторщица Райх, оформляя выдачу денег, всегда искренне рассыпалась в комплиментах перед поэтом. Это была культурная девушка, любившая поэзию, похожая внешностью на знаменитую киноартистку Веру Холодную. Есенин горячо влюбился в нее. Это не укрылось от наблюдательных глаз редактора и он доброжелательными шутками ускорил развязку романа счастливым браком.

В первое время они действительно были счастливы — оба молодые, красивые, шатенка — жена с выразительными карими глазами и блондин, с соломенным отливом кудрей, муж. Денег у молодоженов было немного. Безденежье возмещалось взаимной любовью и мечтами — прославиться. Весной восемнадцатого года родилась светловолосая девочка, которую в честь матери поэта назвали Танечкой.

Темными пятнами этого периода были многочисленные друзья, поклонники и единомышленники поэта. Встречи сопровождались выпивками с шумом, спором и бахвальством. Жена чувствовала, что это не доведет до добра, и уговаривала мужа не верить бесстыдной лести собутыльников.

— Ты не знаешь, как они меня любят! — кричал поэт.

— Но они тебя и губят! — сокрушалась жена.

На несчастье Есениных, в Москву приехала прославленная всем миром босоножка, Айседора Дункан. На одном из ее концертов в Колонном зале Дома Союзов Есенин во время антракта пошел за кулисы. Стареющая балерина, увидев белокурого поэта, молниеносно влюбилась в него. Роман с знаменитостью ускорил разрыв с Зинаидой Райх. Без средств, беременная другим ребенком, отвергнутая пошла в театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда и предложила свои услуги в качестве артистки, хотя никогда не принимала участия в каком-либо любительском спектакле.

Как Дункан сразу влюбилась в Есенина, так Мейерхольд — в Зинаиду Райх. Он принял ее в театр на роли героинь с высоким окладом, а вскоре стал ее любящим и любимым мужем.

Второй ребенок от Есенина был мальчик, похожий на мать. Родился он, когда Зинаида была уже артисткой театра Мейерхольда. Поэт захотел взглянуть на сына. Увидев ребенка, крикнул:

— В Есенинской породе никогда не было черных!

Этим он хотел сказать, что не является отцом новорожденного, которого называли Костей. В метрической записи отцом был указан Есенин.

Поэт юридически оформил брак с Айседорой Дункан, хотя она была на 17 лет старше его. Что заставило Есенина жениться на босоножке? Отнюдь не любовь, а мелкое крестьянское честолюбие: «Вот я деревенский мужик, а в меня влюбилась знаменитость с мировым именем».

Брак этот был с самого начала несчастливым. Есенин по-хулигански избивал жену, но стареющая балерина все прощала ему.

Когда она жила в Париже, у нее трагически погибли мальчик и девочка. Детей катал по набережной Сены молодой шофер. В машине испортился руль, и она рухнула в реку.

Теперь несчастная мать упросила поэта показать ему своих детей. Желание балерины было исполнено: Мейерхольды разрешили знаменитости посетить их дом. Дункан от детей была в восторге. После этого она слезно убеждала мужа — отобрать у Зинаиды Райх, при содействии суда, девочку.

— Я не могу без нее жить, — не раз со слезами признавалась она мужу.

Узнавшие об этом Мейерхольды предупредили Таню:

— Если мы куда-нибудь уедем и не будет дома кухарки, а в это время в дверь постучится тетя Дункан, не открывая ей дверь, а то она украдет тебя. Ты помнишь эту тетю?

— Помню.

И не раз бывало так: Айседора нанимала извозчика, подъезжала к дому Мейерхольдов на Новинском бульваре и звонила в парадную дверь. Подбегала белокурая хорошенькая девочка.

— Пусти меня, — просила знаменитость на ломанном русском языке.

— Не пушу, — отвечала девочка, — потому что ты украдешь меня!

— Клянусь: не украду, а только поглажу тебя по головке и поцелую тебя.

— Нет, нет, не пушу, уходи! — решительно отвечала крошка, и балерина, как жалкая нищенка, которой отказали в куске хлеба, спотыкаясь, с заплаканными глазами, удалялась от парадной двери.

Есенин и Дункан выехали сначала в Европу, где отдыхали на курорте в Ницце, а оттуда направились пароходом в Америку. Это была сенсация для газет — балерину и поэта без конца фотографировали репортеры. Снимки иногда занимали целую газетную страницу.

Америка разочаровала поэта. Вот что он писал Анатолию Мариенгофу 12 ноября, 1922 года: «Милый Толя! Как я рад, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительном Нью Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься.

Изадора прекраснейшая женщина, но врет не хуже Ваньки (Приблудного). Все ее банки и замки, о которых она нам пела в России — вздор. Сидим без копеечки... Сегодня в американской газете видел очень большую статью с фотографией о Камерном театре, но что там написано, не знаю, за не... никак не желаю говорить на этом проклятом аглицком языке. Кроме русского языка другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски... Здесь имеются переводы тебя и меня в издании «Модерн Русиан Поэтри», но все это убого очень. Знают больше по имени и то не американцы, а приехавшие в Америку евреи. Повидимому, евреи самые лучшие ценители искусства, потому ведь и в России кроме еврейских девушек никто нас не читал».

* * *

Однажды известный еврейский поэт устроил у себя прием Дункан и Есенина. Были приглашены богачи еврейского происхождения. Напитков и изысканных кушаний было очень много. Есенин быстро опьянел. Вся эта компания ему была не по душе. Он стал звать Айседору к себе в гостиницу, но она сказала, что ей здесь нравит-

ся. Тогда он схватил вырез парчевого платья и разодрал его сверху донизу. Балерина предстала перед гостями в нижнем белье. Такого надругательства над женщиной не потерпел хозяин торжества. Он схватил поэта за шиворот, свалил его на пол и придавил грудь коленом.

— Распинатели! — заорал Есенин, — распяли Христа, теперь хотите распять меня!

За Есенина вступился присутствовавший на вечере поэт Вениамин Левин. О скандале на следующий день сообщили Нью Йоркские газеты. Есенин был скомпрометирован и ему уже нельзя было оставаться в Америке. При содействии Левина он раздобыл денег и купил билет на очередной рейс лайнера, отправлявшегося в Европу. Приготовления к отъезду делались тайно от Дункан. Она узнала об этом с запозданием, когда пароход уже отошел от пристани. Взяв такси, она поспешила на пристань, но издали, в знак прощания с Америкой, вытягивался по ветру длинный дымный шлейф.

— Аут, мой солнышко! — крикнула Айседора, поднося платок к глазам. В эти горькие минуты она все простила русскому солнышку: его ненависть, скандалы и жестокие побои. Это была последняя любовь стареющей знаменитости.

* * *

В писательских кругах Москвы меня знали больше как песенника, частушечника, забавника и увеселителя. Русскую песню лучше петь вдвоем или втроем. Судьба свела меня с исполнительницей народных песен — Ольгой Ковалевой и с поэтом Василием Федоровичем Наседкиным, крестьянином Оренбургской губернии.

В Литературный Институт имени Валерия Брюсова я поступил в 1923 году. Как-то в свободный от лекции час я бродил по институтскому двору, смотрел на падающие с деревьев листья и грустил по родному селу. От тоски запел:

Подуй, подуй, погодушка
С высоких, сы гор,
Раздуй, развей с калинушки
Лазоревый цвет.

Подошел Наседкин, дружески положил руку на мое плечо и стал подпевать вторым голосом. Родное, деревенское — сблизило, спаяло на много лет, вплоть до осени 1937 года, когда друг исчез вместе с миллионами русских людей в одном из «Ежовских» застенков. В течение четырнадцати лет мы пели с ним народные песни. Какие только двери ни открывались для нас как для «народников».

Первое наше выступление состоялось у имажинистов, на Тверской улице, в «Стойле Пегаса». Моросил осенний дождь, свистел ветер.

Наседкин был знаком с Есениным давно, они вместе, еще до революции, посещали лекции в Университете имени Шанявского. Стихи у Наседкина были хорошие, лирические, иногда с примесью шуток. Его безотказно печатали все журналы.

В «Стойло Пегаса» я шел с трепетом. Есенина я читал еще в Самаре, до приезда в Москву. О знакомстве с знаменитостью боялся даже мечтать.

— Не трясись, держи голову выше! Эх, деревня-матушка, — стыдил меня Наседкин.

— Дай перевести дух, — попросил я своего партнера, когда мы подошли к «Стойлу». Внутри было шумно. Звучала музыка. Хлопали пробки. Вошли. Наседкин — смело, как ни в чем не бывало, у меня от страха душа переместилась в пятки.

Опершись на буфетную стойку, сидел белокурый, подвыпивший, в сером заграничном костюме, Есенин. Наседкин толкнул меня к нему:

— Познакомься, Сережа: начинающий писатель от сохи, заволжский крестьянин... Зовут Родионом.

Пристально оглядев меня с ног до головы, Есенин сказал:

— Не похож на крестьянина: уж очень на аптекаря смахивает!

— А ты послушай, как он поет песни.

— Песни? — восторженно воскликнул поэт, — эй, вы там, тише! Сейчас два крестьянина будут петь русские народные песни!

Оркестр замолк. За столиками притихли. Все глядели

с настороженным любопытством в нашу сторону. Я запел высоким тенором мою любимую:

Ой, да ты, калинушка, ты малинушка,

Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой.

Наседкин пел вторым тенором. Нам подпевал Есенин. В «Стойло Пегаса» ввалились Сергей Клычков с Петром Орешинным и немедленно присоединились к песне. Мне было приятно, что даже толстые пьяные нэпманы пучили на нас глаза с каким-то умилением и удивлением. Когда спели песню до конца, к эстраде подошел Есенин, наклонил мою кудрявую голову и долго горячо целовал с каким-то азартом и упоением.

— Теперь вижу, верю: мужик! Не мужик не может так петь! Давайте, друзья, выпьем в честь русской песни! А где пьют, там и поют!

* * *

Иногда мы встречались с Есениным в редакции журнала в Кривоколенном переулке. Однажды мы зашли в редакцию вместе с Наседкиным. Через несколько минут в кабинет редактора вошел Есенин — в черном котелке, в модном демисезонном пальто «реглан» серого цвета, в лайковых перчатках, с тростью на левом локте. Увидев нас, обрадовался:

— И баяны здесь? Начинайте.

Из соседней комнаты вошли — помощник редактора, поэт Василий Казин, совсем замухрышка по виду, машинистка, секретарь Муратова и бухгалтер Виссарион Казанский, друг редактора Воронского по духовной семинарии. Все приготовились слушать стоя. Сидел только редактор, а Есенин облокотился на выступ книжного шкафа. Мы запели старинную протяжную песню, в которой между словами часто пропевался звук: «о-о-о». Это были вздохи, похожие на стоны:

День тоскую, ночь горюю, грустно сердцу моему.
Подойду я к тому дому, где мой миленький живет.
Постучу к нему в окошко, скажу: «Выдь, мил, на часок».
Что так долго не выходишь, не утетишь горьких слез?
Слезы катятся ручьями, дай душе моей покой.
В небе чисто, в небе ясно, в небе звездочки горят.

Ты гори, мое колечко, гори мое золото,
Ты заной, заной, сердечко, заной мое ретиво.

Видно было, что Есенин под пение грустил. Вернувшись в этот вечер домой, он под впечатлением песни написал стихотворение:

Гори, звезда моя, не падай,
роняй холодные лучи.

* * *

В это время Есенин жил в Брюсовском переулке, в большом доме на восьмом этаже. Из окон комнаты открывался вид на Кремль и на Москву-реку. Комната принадлежала Галине Артуровне Бениславской, которая стала подругой Есенина после его возвращения из-за границы. Красоте этой женщины завидовали многие москвички. Жгучая брюнетка, с густыми сросшимися бровями и косами до пят, стройная, с бархатистым голосом и большими печальными глазами, всегда одетая с большим вкусом — эта полька была ненавидима всеми собутыльниками Есенина за то, что всеми мерами боролась с их растлевающим влиянием на поэта.

Период сожителства Есенина с Галей Бениславской был самым плодотворным в творческом отношении. Никогда Есенин не писал так много, как в это время. Галя создавала ему уют в квартире. Она знала признаки приближающегося творческого настроения своего друга и спешила в эти минуты куда-нибудь удалиться. Если же, несмотря на предосторожность со стороны Гали, Есенин попадал в компанию пропойц, она тихим уговором старалась увести его домой.

— С кем ты связался? — укоряли его «друзья», — неужели в Москве мало хороших русских женщин?

— Не смейте так говорить о Гале, или сейчас же всем проломаю башки! — грозил оскорбленный за свою подругу поэт, — это добрый ангел, каких мало на свете!

— Она же чекистка!

— Лжете! Она в НКВД — только стенографистка. Всякие политические махинации правительства ее не касаются.

Что печальнее всего, Галю ненавидел даже Василий

Наседкин. А к голосу собрата по университету Шанявского, Есенин прислушивался очень часто.

* * *

При редакции журнала «Красная Новь» в 1924 году Александром Константиновичем Воронским была организована литературная группа «Перевал». Название группы придумывалось в течение целого вечера. Основная задача новой группы была в показе не штампованного, а живого человека.

В группу вошли: Иван Катаев, Владимир Слетов, Борис Губер, Петр Павленко, Амир Саргиджан, Павел Дружинин, Василий Наседкин, Артем Неселый, Борис Ковынев, Николай Тарусский, Леонид Завадовский, Евсей Эркин, Михаил Голодный, Михаил Светлов, Джек Алтаузен, Глеб Глинка, Николай Зарудин, Абрам Лежнев, Дмитрий Горбов, Родион Акульшин, Валерия Герасимова, Марианна Яхонтова, Елена Сергеева.

С самого начала верховодами группы стали Борис Губер и Николай Зарудин. Иконой «Перевала» был Михаил Пришвин. Он давал свои рассказы для перевальских альманахов, но никогда не посетил ни одного собрания группы.

— У «Перевала» будет много друзей, — сказал Воронский и назвал такие имена как Константин Федин, Борис Пильняк, Сергей Клычков, Василий Казин, Лидия Сейфуллина, Валентина Дынник и Сергей Есенин. Всех особенно порадовала последняя фамилия.

Вскоре состоялось открытие клуба «Перевальцев» в подвальном помещении Государственного Издательства, против гостиницы «Савой». На открытии, кроме членов новой группы, присутствовала почти вся литературная Москва и многие известные артисты как Иван Михайлович Москвин и Василий Иванович Качалов.

Вина, водки, наливки, шампанского и пива было выпито целое море. Некоторые из молодежи вели себя так непристойно, что клуб, открытый вечером, к утру был закрыт навсегда.

— Сами виноваты, — говорил на очередном собрании группы А. К. Воронский, — не умеете культурно держать себя в обществе, пеняйте на себя.

Перевальцы приуныли и стали бичевать самих себя:
— Разве мы люди? Дорвались до водки и сразу стали скотами!

Чтоб утешить опечаленных, Воронский сказал, что в следующий раз пригласит на собрание Сергея Есенина. Этой встречи все ждали с большим нетерпением. На собрание пришли не только перевальцы, но и члены их семей, друзья, знакомые. В кабинете редактора негде было упасть зернышку.

Есенин пришел трезвым и нарядным. Читал он новую большую поэму «Анна Снегина». После прочтения поэмы был устроен перерыв. Многие вышли в коридор покурить. Во время чтения от курения попросили воздержаться и Воронский, и сам Есенин. После перерыва всех пригласил в кабинет слабым голосом Василий Казин. Собрались дружно. Но, как это часто бывает, никто не решался взять слово первым, чтобы что-то сказать о поэме. Но вот выскочил девятнадцатилетний Джек Алтаузен и начал с апломбом утверждать, что новая вещь Есенина — шаг назад, что язык поэмы беден, рифмы не блестящи, идея не ясна.

Все собравшиеся почувствовали неловкость. Есенин был глубоко возмущен:

— Меня бы не удивило, если бы все это было сказано знатоком русского языка или талантливым человеком. Но кто меня критикует? Молокосос Джек, не знающий русского языка, не обладающий хотя бы маленькой искрой таланта.

Поэму высоко оценили все выступившие после Алтаузена, но Есенин не мог успокоиться до конца вечера, а, узнав, что Алтаузен — перевалец, спросил у Воронского:

— Зачем вы приняли в новую группу такую дрянь?

Мнение Есенина о талантливом Джеке Алтаузене было, конечно, пристрастным.

* * *

Литературный Институт имени Валерия Брюсова решил устроить выступление Сергея Есенина в главной аудитории, отменив по этому случаю все лекции. Вечер оказался ловушкой для поэта: ему не сказали, что на

вечер приглашен и Маяковский, а Маяковскому ничего не сказали о Есенине.

Первым в Институт пришел всегда аккуратный Маяковский. Его провели в одну из комнат рядом с главной аудиторией. Позже на такси подъехал Есенин. С ним приехала Галя Бениславская. Поэта провели в отдельную комнату, а Гале указали место в первом ряду. Она была в изящном темно-синем платье. Всех удивило нечто необычное в ее облике: за ее спиной были две длинных косы ниже пояса. — Вероятно это нравится Сергею Есенину, — думали многие, глядя на косы.

Аудитория быстро заполнилась публикой. Пришедшие позже стояли в проходах и в соседних комнатах, откуда можно было слышать выступающих. На эстраде было поставлено два стула — у правой стены и у левой. Конферировал юркий студент комсомолец Борис Фридман — веселый, добродушный, с темной выющейся шевелюрой. После третьего звонка он выбежал на эстраду и громко объявил:

— Сергей Александрович Есенин!

Зал забурился аплодисментами. На эстраду вышел поэт — изящный, белокурый, в сером американском костюме. Рукоплескания не прекращались. Поэт несколько раз поклонился направо и налево, но каждый поклон только увеличивал бурю восторга. Тогда виновник этой радости в приятном недоумении развел руками и показал на круглые часы над дверью, что означало: «Не тратьте драгоценных минут на демонстрацию любви ко мне». Аплодисменты стихли. Поэт занял середину эстрады.

Первые строки коснулись каждого сердца, как электрический ток:

Да, теперь решено, без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя...

Каждая душа потянулась к автору, хотелось грустить и радоваться вместе с ним.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне Бог.

Каждое слово поэта проникало в трепещущие сердца слушателей, как проникают дождевые капли в иссохшую от зноя землю. Все жадно впитывали эту влагу, этот аромат лирики, эти скорбные признания безнадежности. Поэт слышал звучание каждого сердца в этом уютном зале. Это было торжество каких-то неведомых сфер, которые иногда подхватывают людей на невидимых глазом крыльях и уносят к звездам, в иные миры, где нет ничего похожего на земное прозябание. Студенты и гости были в сладостном опьянении, в том опьянении, к которому призывает французский поэт Бодлер, к опьянению красотой, словом, музыкой. Казалось, что после первого стихотворения стены рухнут от аплодисментов. А потом другое:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Читал Есенин красиво, с легким повышением голоса в конце каждой строки. От легкого покачивания головы его золотистые завитки над широким лбом раздвигались, а каждый завиток рассыпался на отдельные волоски. После трех стихотворений Есенин хотел читать четвертое, но Борис Фридман развязано предложил:

— Отдохните, Сергей Александрович! и указал на стул, стоящий у стены. Поэт смутился, ничего не понимая. Он не спеша подошел к венскому желтому стулу, но не сел, а только положил правую руку на верхний полукруг стула, и тогда многие заметили, что его большой палец слегка вздрагивает. А конферансье, подойдя к самому краю эстрады и держась на ней только пятками, громко, с торжественностью в голосе, объявил:

— Владимир Владимирович Маяковский!

Есенин вздрогнул, поморщился и что-то сказал тихим голосом. Сидевшие в первом ряду слышали, как он довольно ясно прошептал:

— Ловушка!

Многие испугались, что он в знак протеста покинет

эстраду, но он, к удивлению, остался и сел на стул, закинув ногу за ногу.

Аплодисменты при встрече с другим поэтом были такими же оглушительными. Но некоторые слушатели совсем не аплодировали — это были противники Маяковского, которые не считали его поэтом. Стихи — это то, что можно петь, а не бросать, как каменные глыбы с вершины высокой горы. У Есенина — лирика, а у Маяковского — неотесанные булыжники, что-то противоестественное.

Выйдя на эстраду и увидев своего собрата, Маяковский вежливо поклонился в сторону поэта. Есенин ответил небрежным кивком. Многим показалось, что поклонились лишь завитки над его лбом, а не голова.

Как и Есенин, Маяковский читал стихи наизусть. Голос у него был бархатистый, сильный, приятного тембра. Каждое слово было отчеканено. Это был не лирик, а трибун, похожий на великана, в костюме цвета маренго, почти черном. Под цвет костюма был и галстук. Густые прямые волосы темного тона раздваивались как раз над серединой лба, который шириною не уступал есенинскому. Концы двух половинок прически прикасались к ушам и вздрагивали при чтении, как страусовые перья на шляпах модниц:

Пусть во что хотите жданья удлинятся —
Вижу ясно, ясно до галлюцинаций,
До того, что кажется —
Вот только с этой рифмой развяжись,
И сбежишь по строчке в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать — да эта ли, да та ли?
Вижу, вижу ясно до деталей —
Воздух в воздух, будто камень в камень,
Недоступная для тленов и прошений,
Рассиявшись, высится веками
Мастерская человеческих отношений.

У Есенина все ясно, просто, понятно, над его словами не нужно ломать голову. К Маяковскому надо прислушиваться, чтобы не выпало из внимания какое-либо звено. В слушании он понятнее, чем в чтении по книге, он завораживает магией голоса, он каждое слово опускает в

мешок вашей души, как тяжелое сокровище, и вы начинаете чувствовать, что эта ноша не по вашим силам, что вы споткнетесь с этой поклажей, которую кое-кто считает драгоценностью. Но многие считают это не драгоценностью, а лишь речными голышами или приморскими камнями, окрашенными фосфорической краской авторского обаяния.

Маяковский читал дольше Есенина. Недовольные протестующе задвигались, стали перешептываться:

— Почему такая привилегия одному в ущерб другому?

Поэт заметил это и остановился. Раздались аплодисменты. Этим воспользовался Фридман и объявил:

— Сергей Александрович Есенин!

Опять забушевали восторги. Слушатели попросили:

— Читайте больше!

По три раза выступили оба поэта — такие разные, органически несоединимые. Вероятно устроители вечера хотели потрафить вкусам обеих студенческих групп — влюбленным в Есенина и друзьям Маяковского. Смесь этих двух словесных напитков, этот поэтический «ерш» одурманил души слушателей. Споры готовы были разразиться тут же, при них.

Во время программы многие думали:

— Поздороваются ли они за руку и кто к кому подойдет?

Подошел Маяковский и, пожимая руку Есенина, по благодарил за «настоящие стихи». Он произнес эти два слова подчеркнуто громко. Все ждали, что Есенин ответит любезностью, тоже комплиментом, но ничего не сказав о стихах собрата, он натянуто произнес:

— Рад был с вами встретиться.

Радости в его словах никто не почувствовал.

Когда поэты стояли рядом, слушатели пустили в ход ладони, ступни, голоса, на эстраду полетели цветы. Их не подняли ни Есенин, ни Маяковский, не зная, для кого они предназначены. Так и остались эти цветы пренебреженными из чувства тактичности: поэты не хотели обижать друг друга. Другое дело, если бы цветы были отданы в руки лично.

Есенин и Маяковский на вечере в Литературном Институте были, как два петуха разной породы — один задиристый, самоуверенно-самолюбивый, другой — более спокойный, с чувством собственного достоинства. Многие по окончании программы ринулись к эстраде, чтобы поблагодарить поэтов и пожать им руку.

Еще не расходясь с вечера, слушатели подводили итог сражению. Кто победил? Большинство было на стороне белесого петуха — Есенина. Его настроения были родственны многим, а в словесной структуре Маяковского было что-то непривычное, вызывающее какой-то внутренний протест. Всех удивило отсутствие директора Института — Валерия Брюсова. Но многие говорили, что он болен. Жалко, что Борис Фридман не догадался сказать об этом.

* * *

Казалось, что любовь к Есенину свила прочное гнездо в каждом студенческом сердце. О нем говорили, его стихи читали, придумывались мелодии на его слова. Но одно событие, ровно через две недели после вечера в Литературном Институте, как ураганом развеяло многие гнезда, и вместо любви переполнило души жгучей ненавистью, мраком безрассудства, торгашеской бесцеремонностью, извозчичьей грубостью и жестокостью, свойственной лишь палачам.

В кафе «Стойло Пегаса» завсегдатаями были нэпманы, среди которых было не мало евреев. Однажды, сильно подвыпив, нэпманы затеяли спор на тему, какая нация дала миру больше знаменитостей — русская или еврейская? В кафе в это время сидели за столиком — Клычков, Орешин и Есенин. Спор превратился в перепалку, словесный огонь — в костер. И нэпманы, и поэты были под сильным градусом. В разгаре словесной схватки кто-то кого-то задел. Тому показалось, что его толкнули с умыслом, и не замедлил ответить озлобленным толчком. И тогда началась потасовка, закончившаяся кровопролитием из носов с той и другой стороны. Была вызвана милиция. Скандалистов арестовали. Нэпманов увезли в одно отделение милиции, поэтов — в другое, вероятно, во избежание новых столкновений.

И. Клычков, С. Есенин 65. Л. 1969 р. 328.

Поэты очутились в неудобной комнате с решетками на окнах. Дверь за ними закрыли на замок. Обиженные стали стучать и кричать. Явился строгий начальник районной милиции.

— Что вам угодно?

— Мы хотим разговаривать по телефону с Кремлем.

— С кем именно?

— С Демьяном Бедным.

— Он вероятно в постели.

— Разбудим!

— Могу выпустить из камеры одного.

— Сережа, иди ты, — сказали Клычков и Орешин.

Начальник вышел из арестантской вместе с Есениным. Час был довольно поздний. На вызов в Кремле долго никто не подходил.

Наконец в трубке послышался басовито-хриплый вопрос недовольным тоном:

— Кому я понадобился в такое позднее время?

— Поэтам.

— А именно?

— Есенину, Клычкову, Орешину.

— Что вам угодно?

— Освобождение.

— Откуда вы говорите?

— Из районного отделения милиции.

— За что вас препроводили туда?

— За скандал с нэпманами.

— И только?

— Малость за кровопускание, которое было взаимным. У меня из носа до сих пор течет кровь.

— В таких скандальных историях я предпочитаю не принимать никакого участия. Желаю покойной ночи кровопускателям на койках районной милиции.

— Эх, вы Ефим Лакеевич!

Но Демьян Бедный уже не слышал этих слов. Поэтов продержали под замком всю ночь. Утром их освободили благодаря хлопотам Гали Бениславской, с авторитетом которой считались все следственные органы, как с первоклассной стенографисткой.

А в тот же день вечером в Литературном Институте

был объявлен экстренный митинг по случаю «антисемитского буйства группы поэтов», как гласила тема митинга. Главная аудитория была переполнена. Все лекции были отменены, как будто решалось дело огромной государственной важности. Руководил митингом тот же Борис Фридман, который так торжественно объявлял Сергея Есенина две недели тому назад.

— Мы должны обсудить поведение поэтов в «Стойле Пегаса» и вынести резолюцию, оправдывающую или осуждающую наших старших собратьев по перу.

Тон голоса у Фридмана был спокойным. Все знали, что он очень любит Есенина, но руководить митингом в такой момент ему, вероятно, поручила комсомольская организация. Валерий Брюсов, скрестив руки на груди, в черном, плотно облегающем его фигуру, длинном пиджаке, стоял слева от эстрады. Ему предлагали сесть или занять место на эстраде, но он, поблагодарив, сказал:

— Так мне лучше.

Он был очень похож на портрет, который имелся у каждого студента. Портрет был сделан Врубелем еще в дореволюционные годы. Но изменений в облике почти не произошло: та же самая прическа ежиком, те же скулы, тот же плотно застегнутый пиджак, те же скрещенные на груди руки. Как видно, это была привычная, любимая поза поэта. Он стоял, как изваяние, пристально оглядывая своих питомцев, для которых был создан этот Институт.

Борис Фридман предложил записаться всем, кто желает принять участие в прениях по щекотливому вопросу. Поднялся лес рук.

— Подавайте записки, выступления будут в порядке очереди.

Первому оратору на вид было лет восемнадцать. Он был белокур и голубоглаз.

— Товарищи, в какое время мы живем? Во времена бандитизма и безнаказанности или в эпоху свободы, охраняемой законами человеколюбия? Если мы не будем надевать намордников на оскаленные пасти двуногих псов, скоро будет нельзя заходить ни в одно кафе. Как

надо квалифицировать выходку оголтелых поэтов, которые считают, что им все позволено? Я думаю, что все вы вместе со мною назовете это хулиганство махровым антисемитизмом! Я требую строжайших санкций над распоясавшимися головорезами!

Во время речи он воинственно жестикулировал, стоя на том самом месте, где две недели тому назад стоял Сергей Есенин. Тогда студент был в восторге от его стихов. Теперь он требовал расправы над поэтом. Ему аплодировали, но аплодирующих было меньше половины. Те, которые не аплодировали, были подавлены.

Ни один мускул не дрогнул на лице Валерия Брюсова: он был похож на статую из бронзы — никакой мимики, никаких жестов!

— Какое самообладание, — думали многие, бросая взгляды на создателя Института.

Речь первого оратора была факелом, который зажег легко воспламеняющийся материал: начался пожар, огонь легко перекидывался из сердца в сердце. Пожарной команды не было, тушить было некому, стихия искренней или деланной ненависти бушевала с каждой минутой все яростнее и беспощаднее, не оставляя камня на камне из тех ценностей, которые переполняли каждую душу две недели тому назад.

Всем бросалось в глаза, что громили поэта не евреи, а исключительно русские — члены партийной организации и комсомольцы.

Речи остальных ораторов были похожи одна на другую, как горошины в кулке, как стебли бурьяна на пустыре. Отличались они только длительностью. Одни во время словоизвержения краснели, другие потели, третьи, жестикулируя, металась по эстраде, как сумасшедшие, четвертые не спускали глаза с Валерия Брюсова, как бы льстя ему своим полемическим задором: «Ты, мол, партиец, коммунист, а коммунисты не должны спускать людям таких безобразий, от кого бы они ни исходили. Видишь, как бдительны твои студенты? Для нас не существует ни родства, ни приятельства, когда дело касается принципиальной честности».

После одиннадцати ораторов слово попросила еврей-

ка Зельда Гейман, бывшая когда-то женой Вениамина Левина, эмигрировавшего в Америку. Она хотела говорить с места, но многие закричали:

— На эстраду!

Седая пышная прическа делала ее похожей на маркизу. Ее лицо, вероятно от волнения, пылало румянцем, голубые глаза казались необыкновенно синими. Ее дыхание было учащенным.

— Товарищи, не нужно говорить, что я еврейка — это видно всем. Голос Зельды Гейман дрожал, чувствовалось, что она боролась со спазмами в горле. На ее темных ресницах сверкали слезы.

— Товарищи, мне очень трудно говорить, потому что душевная боль сдавливает грудь...

Все одиннадцать громил приободрились — уверенные, что к их отряду наконец-то присоединилась еврейка. Кое-кто из них потирал руки от удовольствия.

— Я терпеливо выслушала одиннадцать человек, хотя для этого нужны были нечеловеческие усилия. Мне казалось, что я не в Институте поэзии и литературы, а на псарне, где дрессируют породистых собак, тренируя их в жестокости. Неужели все выступавшие считают себя людьми? Неужели это будущие писатели, поэты, критики, преподаватели литературы, редакторы художественных журналов? Нет, нет, это разбойники с большой дороги, это жестокие палачи, это инквизиторы средних веков, это чудовища, которым чуждо все человеческое! Против кого они ополчились? Против тончайших лириков, в которых заговорило чувство национальной гордости, которые старались убедить своих оппонентов, что русский народ дал величайших гениев во всех областях науки, искусства и литературы. Противники доказывали обратное. Под влиянием винных паров языки не знали удержа, а на помощь языкам в таких случаях спешат кулаки. Все это понятно и все это извинительно. В ссоре поэтов с нэпманами не было крупницы антисемитизма. Как может быть антисемитом Есенин, возглавляющий школу имажинистов, в которой половина евреев? В чем угодно можно обвинить Есенина и его друзей — в пристрастии к алкоголю, в легкомыслии, может быть в

честолюбии, но только не в антисемитизме! Талантами таких людей надо гордиться, а когда они оступаются и падают, к ним надо спешить на помощь, чтобы поднять, приласкать, чтобы скорее залечить больные от ушибов места. Если бы я была судьей, я вынесла бы оправдательный приговор поэтам и, в первую очередь, Сергею Есенину.

Еврейке аплодировали все те, которые не аплодировали карателям. И тогда случилось то, что всех потрясло, а кое-кого смутило: по щекам Валерия Брюсова прокатились две крупные слезы. Аудитория замерла. А директор Института подошел к Зельде Гейман и, протянув ей руку, сказал:

— Благодарю вас!

Снова раздались аплодисменты, а всем тем, которые были на стороне «прокуроров», стало страшно неловко: они краснели, потели, сжимались, как бы желая превратиться в невидимок.

Директор поклонился аудитории, благодаря за внимание.

— Может быть войдете на эстраду, Валерий Яковлевич? — подобострастным тоном спросил Борис Фридман, не принимавший участия в дискуссии.

— Нет, спасибо, я всех вижу отсюда и все видят меня. После последней речи сказать почти нечего и мое слово будет коротким. Признаюсь вам, друзья, что это один из самых печальных дней моей жизни. Литературный Институт был моей мечтой. Казалось, что мечта осуществлена: чудное здание, профессура, студенты, лекции, атмосфера поэзии, энтузиазм юности. Но сегодня я узнал что в стенах этого Института формируются жестокие каратели, которым дороже интересы нэпманов, а не собратьев-поэтов. Я убедился воочию, что мои студенты способны не только на выкрики «Осанна», но и на ничем несдерживаемый рев: «Распни, распни Его!» Чем руководствовались одиннадцать ораторов, требовавших жестокой расправы с поэтами? Подхалимством, карьеризмом, мстительностью. Половина аудитории поддержала их аплодисментами, значит, это их единомышленники. Но моя горечь не без радости: среди студенческой массы

половина оказалась человеческой. Это человеколюбцы, гуманисты. Поймите: поэзия не совместима с мещанской злобой, студенты Литературного Института должны быть друзьями всех угнетенных и гонимых.

В ответ на речь Валерия Брюсова были слезы, восторги, поднятые руки. Теперь говорили исключительно защитники поэтов, клеймившие громил. Слово взял один из русских студентов.

— Мне хочется, товарищи, сказать несколько спокойных слов о тех, кого здесь называют «громилами». Все вы видели их. Похожи ли они по внешнему облику на громил? Это, скорее, оперные Лели. Правда, речи их звучали воинственно, угрожающе, но это не что иное, как первые кукареканья цыплят. Не знаю, как вам, а мне жалко их. Они решили, что попали на похороны и стали петь «Со святыми упокой». Но здесь одержала верх жизнь, победа воскресения над могилой и тлением. По случаю Светлого Праздника люди прощают все обиды своим недоброжелателям. Простим и мы прегрешения нашим первым одиннадцати ораторам. Они не так плохи, как можно подумать после их речей. Я думаю, многие согласятся со мною.

Вся аудитория вместе с Валерием Брюсовым наградила оратора искренними аплодисментами. После митинга «громилы» подходили к Брюсову и просили у него прощения, а товарищам-студентам признавались, что пороли, по глупости, чушь. Резолюция была вынесена благожелательная для поэтов, просидевших ночь под замком в районном отделении милиции.

* * *

Изредка Есенин навещал свое родное село Константиново, расположенное на берегу Оки, в двадцати километрах от Рязани. Широкая пойма реки, делающей в этом месте крутую излучину, простор лугов, голубые озера, темнеющий в отдалении бор, стога сена, напоминающие древние кочевья — вся эта красота заставляла поэта подолгу простаивать на берегу. До утра звучали песни на сельской улице, далеко разносясь по окрестностям.

Ой, ты Русь моя, родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу, —

мог без конца повторять поэт свои строки. Но все реже и реже выпускал его город из своих липких щупальцев на родное приволье, отравляя ядом алкоголя, славы, сплетен, интриг и зависти. И если поэту удавалось вырваться из этого удушья, то у него и в деревне появлялось нездоровое желание — показать свою удаль.

Весной 1925 года поэт приехал в Константиново с Галей Бениславской и Василием Наседкиным. У родителей Есенина незадолго до этого был построен на средства сына новый деревянный дом против старинной церкви. В садике за двором была слегка покосившаяся баня, которую любил поэт: в ней он написал много стихотворений и поэму: «Анна Снегина».

Никогда в прежнее время по приезде Есенина в родное село в доме родителей не собиралось столько друзей детства, как в этот раз. Каждый день приходили то Петр, то Иван, то Тимофей, то Ермолай.

— Сережа, здорово, — застенчиво произносили они, протягивали руку сверстнику — теперь известному поэту.

— Здорово, Ермоша.

Обнимались крепко. Целовались горячо.

— Помнишь, Сережа, рыбалку на Кривуше? Вытащили мы с тобой бредень, а там полным-полно карасей?

— Как же можно это забыть?

— А ночное? А печеную картошку? — спрашивал Тимофей.

По случаю радостных встреч с деревенскими ровесниками на стол, в окружении всяких закусок, ставилась четверть водки. А как только по вечерней заре разливалась хоровая песня друзей, к дому Есениных бежали поглазеть из соседних селений — Федякина и Кузьминского.

— Отец, доставай еще четверть! Надо всех угостить! — просил тароватый сын.

— Сколько денег у человека, — удивлялись мужики и бабы, толпившиеся возле окон, — неужто за стишки платят такую уймаищу?

На следующий день повторялось то же самое. На третий, на четвертый — снова попойки. Галя пыталась урезонить своего друга:

— Пожалей себя и других.

— Ты не понимаешь, как дороги для меня эти люди. Благодаря им я стал поэтом! — укорял свою подругу поэт. Но когда человек пьет изо дня в день, то кто бы он ни был по своему положению, начинает утомлять родителей, жену, сестер, всех трезвых родственников и приятелей. Галя понимала Есенина и все же тяготилась бесконечным пиром.

— Мне кажется, тебя еще ни одна женщина не держала под башмаком. Не попадешь ты под башмак и этой польки, — ехидничал Наседкин.

— Я? Под башмак? Никогда! Едем в Москву! Галька, собирайся!

— Мне и тут хорошо.

— Ах, так? Ну, и черт с тобой!

Вместе с Наседкиным Есенин уехал из Константинова, оставив там сестер и Галю Бениславскую. В поезде Наседкин убедил друга — порвать с полькой. Имея отдельный ключ, по приезде в Москву, поэт забрал свои чемоданы из комнаты Гали и временно переселился к Наседкину, который жил в скверном однооконном номере гостиницы Романова на углу Малой Бронной и Тверского бульвара. Окно длинной комнаты в первом этаже выходило во двор — как раз на гостиничную свалку, смердевшую днем и ночью. В комнату никогда не заглядывало солнце, и даже короткое пребывание в ней наводило на человека тоску. Меблировка была убогой: стол, три стула и диван с выскочившими пружинами. Вот этот-то диван и был предоставлен поэту, привыкшему к удобствам у Гали.

Наседкин, располагавшийся ночью на полу, был уверен, что Есенину ничего не стоит получить ордер из Моссовета на хорошую комнату и даже квартиру. Но шли дни за днями, а Моссовет ничего Есенину не давал. Приходя в темный, смрадный номер Наседкина, Есенин чувствовал себя крайне смущенным, как чувствует себя каждый совестливый человек, которого приютили на один день, а он живет уже вторую неделю. Есенина мучило раскаяние за бегство из Галиной комнаты. Он узнал, что она уже вернулась из Константинова и ничего не пред-

принимает, чтобы объясниться с беглецом.

Тогда он пошел к ней сам. У него были хорошие намерения. Припомнив далекое и недавнее прошлое, он пришел к выводу, что из всех женщин, которых он знал, Галя была самой чуткой, внимательной и бескорыстной.

— Без нее мне гибель, — думал он, — попрошу прощения и отныне не буду прислушиваться к нашептыванию друзей.

Он пришел к Гале трезвым. Постучался в дверь.

— Войдите.

Открыв дверь, остановился у порога. Она не подошла к нему. Только вся вспыхнула. Так они стояли молча несколько минут.

— Прости! — прошептал поэт.

— Вон! — крикнула она, указывая на дверь.

Как ужаленный, он бросился прочь. Она слышала, как стучали его шаги на лестнице. Он бежал, задыхаясь от обиды: еще никто за всю жизнь не уязвлял его гордости так, как уязвила она.

Только несколько мгновений чувствовала себя Бениславская удовлетворенной. Туман мстительного чувства рассеялся очень быстро, и сердцем овладело раскаяние.

— Что я наделала? — закричала она, бросаясь в погоню.

— Сергей... Сережа... Сереженька, вернись! — кричала она, сбегая по лестнице с восьмого этажа. Эхо ее голоса гудело в лифтовом пролете. Любопытные жильцы дома выходили в коридоры и удивленно спрашивали:

— Что это за вопли?

Она выбежала во двор, потом на улицу, но поэт как будто канул в воду. Потрясенная, с истерзанной душой, она вернулась в свою комнату.

Ни одна из сторон после этого не предпринимала попыток к примирению. Вернувшись в комнату Наседкина, похожую на могилу, Есенин попросил водки. А тут, кстати, пришел собутыльник поэта Сахаров, тучный блондин с заплывшими глазами, бывший когда-то хозяином издательства, а теперь вращавшийся в литературных сферах с надеждой на бесплатную выпивку. Он был в большой дружбе с поэтом. Есенин посвятил Сахарову

большое стихотворение: «Русь Советская».

— Мне крикнуть «вон», — стучал пьяный Есенин кулаком по столу, — ну погоди же!

* * *

Орешин, Клычков и Наседкин принимали меры, чтобы знаменитый поэт скорее получил комнату. Но Моссовет не беспокоила неустроенность человека: жилой площади для него в Москве не находилось. Наседкин, с радостью приютивший Есенина, под конец стал тяготиться его присутствием, ему надоело спать на жестком полу. Постель Есенина была не лучше: выскакивающие пружины дивана мучили тело.

В течение трех недель я каждый день заходил к Наседкину и почти каждый раз встречал там Есенина. В трезвом виде он был подавленным, молчаливым, застенчивым. Это был совсем не тот человек, с которым я впервые встретился в «Стойле Пегаса». Он чувствовал себя неприкаянным в жизни.

Как-то я попросил у него с надписью книжечку стихов в издании «Огонька». Он сказал:

— Этот пустяк не стоит и надписывать. Вот скоро в Госиздате выйдут два больших тома моих стихов. С радостью преподнесу вам за ваши песни.

Сахаров был в дружеских отношениях с Софьей Андреевной Толстой, которая жила с матерью в хорошей квартире из четырех комнат. У них была «охранная грамота» от наркома А. Луначарского, чтобы никто не посмел их «уплотнить». Сахаров уговаривал Есенина жениться на внучке Льва Толстого, разжигая его честолюбие:

— Это похлеще Айседоры Дункан! Это увеличит твою славу, как родственника Толстых!

* * *

В темном номере Наседкина, ради Сергея Есенина, собрались — Пимен Карпов, Сергей Клычков, Петр Орешин. Я был среди поэтов. Немного позже пришла сестра Катя — худенькая блондинка, чуть ниже среднего роста. За ней ухаживал Наседкин, собираясь жениться.

Песню о «Соловушке» уже распевали во всех вузах.

Любили ее и в литературных кругах. В списках она распространилась по Москве раньше опубликования в журнале «Красная Новь». Особенно она пришлась по душе Клычкову.

Когда к Наседкину собирались гости, хозяин всегда посылал коридорную прислугу за водкой. Не обошлось без водки и в этот раз. Закусывали краковской колбасой с белым хлебом. Для любителей на столе оказались три луковицы. Стол был без скатерти. Все выглядело очень убого. После первых рюмок потянуло на песню. Я в таких сборищах всегда выступал запевалой, а Наседкин подхватывал мой запев. Он подошел ко мне и шепнул: «Начинай».

Есть одна хорошая песня у соловушки —

Песня панихидная по моей головушке...

Эти строки были призывом к остальным. Все пели с чувством надрывную мелодию, напоминавшую что-то цыганское тоской и отчаянием. Выделялся, как рыдание скрипки, голос Кати. Сам Есенин не пел. Он сидел на одном из трех стульев, подперев лоб правой ладонью. Глаза его были полны грусти.

Цвела забубенная, росла ножевая,

А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Мы хотели петь дальше, но нас перебил звонкоголосый Петр Орешин:

Думы мои, думы! Боль в висках и темени,

Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось, случилось, сам не понимаю,

Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Грусть захватывала всех. Каждое сердце билось в тоске, предчувствуя что-то страшное, роковое, неизбежное. Следующую строфу мы не дали запевать Орешину, сделав ему знак: приложили палец к губам:

Лейся песня звонкая, вылей трель унылую,

В темноте мне кажется: обнимаю милую,

За окном гармоника и сиянье месяца,

Только знаю: милая никогда не встретится.

— Встретится! — крикнул Клычков, — если не на земле, то на том свете!

Ко мне и к Наседкину подошла Катя. Мы обняли ее

с двух сторон и она запела следующие слова, которые были подхвачены всеми:

Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая,
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

На ресницах Есенина дрожали слезы. Он поднялся со стула и запел, обводя взглядом всю компанию. Его голос звучал трогательно, искренне, молодо:

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха,
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел не знаю где, в пьянстве что ли, в славе ли,
В молодости нравился, а теперь оставили.

Последней строфы допеть не удалось. Есенин со слезами на глазах обратился ко всем:

— Друзья, почему я такой несчастный?

Сергей Клычков положил ему руки на плечи и сказал:

— А есть ли на всем земном шаре хоть один счастливый песнотворец? Такова доля всех нас. Тебя любит весь народ! Любовь взамен счастья — разве это плохо?

Катя подошла к брату и удивила всех не ласковыми словами:

— Не раскидай, Сергей!

Я вспомнил недавнюю ссору поэта с сестрой в моем присутствии:

— Выходи скорее за Наседкина и снимайся с моего бюджета!

— Присядь, Сережа, — попросил поэта Сахаров, — все твои несчастья разлетятся, как пух, если ты последуешь моему совету.

— Знаю, о чем ты думаешь, друг. Чтоб тебя послушать, надо, чтобы в сердце затеплилась хотя бы двухкопеечная свечка.

— Затеплится и полтинная, если дашь согласие.

— Тут, кажется, начинается сватовство? Давайте его отложим, а сейчас дольем начатую бутылку! — крикнул Орешин.

Есенин пить больше не хотел, а другие пили и пели. Хорошо прозвучала хором песня, начинающаяся словами:

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О, стройная березка,
Что загляделась в пруд?

Вспомнили и раннее стихотворение Есенина:

По селу тропинкой кривенькой,
В летний вечер голубой,
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой толпой.

Разошлись в грустном настроении, несмотря на то, что бутылка была опустошена.

* * *

Уговоры Сахарова о женитьбе на Софии Андреевне Толстой были успешными. Вскоре после их знакомства состоялась женитьба. Есенин на свадебном пиру еле стоял на ногах. Очнувшись утром в новой квартире и оглядев роскошь обстановки, поэт понял, что допустил непростительную ошибку. Новая жена, несмотря на то, что ее дедушка был гениальным писателем, не пробудила в сердце мужа не только любви, но даже простой человеческой симпатии. Вскоре после женитьбы он написал стихотворение, что нельзя повенчать алую розу с черной жабой. Он не знал, о чем говорить с женой. Чтобы заглушить угрызения совести за содеянное, он стал все чаще прибегать к алкоголю. Это не предвещало ничего доброго. Поэт заболел белой горячкой и был отвезен в психиатрическую лечебницу профессора Ганушкина. Софья Андреевна ежедневно навещала мужа. После нее приходила Зельда Гейман, давнишний друг поэта. Ей он сообщал: — Только что ушла она. На этом стуле просидела два часа, но я не сказал ей ни слова.

Новая жена возвращалась домой с заплаканными глазами, спрашивая себя:

— За что он так ненавидит меня?

* * *

Лечебница стала томить поэта. На третьей неделе лечебного курса он попросил жену — принести ему денег. Получив деньги, он задумал бежать из лечебницы. Чтобы задобрить главную сестру, он переписал ей на память стихотворение. Сестра выдала ему одежду и обувь,

хранившиеся в кладовой. Бежать он решил в сумерки до вечернего обхода палат. Приподняв воротник демисезонного пальто, надвинул на лоб шляпу. Вышел на цыпочках, двором почти бежал. На улице шагов не замедлял. Навстречу текли людские потоки, слышались шутки, смех. Огни и красивые товары в витринах радовали жизнью — какой это был контраст с санаторной мертвечиной. На площади подошел к стоянке такси. Крикнул шоферу первой машины:

— На Октябрьский вокзал!

Сел не рядом с водителем, а сзади. Шляпа оставалась надвинутой на лоб: ведь его многие знают по портретам в журналах. Билет на ночную «Стрелу» достал сразу. До отправления поезда скучал целый час. Поужинать в ресторане боялся: там могли бы сразу узнать. Ведь в лечебнице вероятно уже спохватились: «Где Есенин?» Может быть уже извещены все отделения милиции и органы железнодорожной разведки? Лучше потерпеть, поголодать. Возле вокзала было много продуктовых киосков, где продавались булки и колбаса. Может быть сходить и купить? Но и там можно влипнуть в неприятность.

Объявили о посадке — слава Богу! Но в эту минуту спохватился, что едет в Ленинград уж слишком налегке: нет даже смены белья. Придется все купить по прибытии. Место в вагоне 3-го класса было на второй полке. Это лучше, чем на первой: можно сразу лечь, отвернувшись к стене. В вагоне тепло. Пальто можно положить в изголовье. Хотя у проводника вероятно имеются подушки? Ведь это же стрела, а не простой поезд. Через несколько минут получил подушку. Деньги положил во внутренний карман пиджака. Хотел укрыться своим пальто, но проводник принес одеяло: вот что значит НЭП — все для человека, как в Америке.

В вагон-ресторан идти не решился. Попросить проводника принести что-нибудь оттуда — не догадался. От голода сосало под ложечкой. Пытался заснуть, а сон улетел, как птица. Чем ее приманить? Какие силки расставить? Вспоминал своего деда: тот, бывало, засыпал в тот момент, когда прикасался головой к подушке и сразу начинал храпеть. Внук лежал рядом, толкая старика в бок:

— Дедушка, не храпи, страшно!

Дед просыпался на несколько секунд и опять крепко засыпал. Почему? Потому что весь день трудился, а на совести у человека не было никаких пятен.

— Я не могу заснуть потому, что совесть моя нечиста, потому что жизнь моя безалаберна, потому что поведение мое недостойно поэта. Надо все начать заново, иначе не стоит жить.

К утру все же задремал. Поезд приближался к Ленинграду. Проводник стал будить спящих. Поэт открыл глаза. Как видно, день начинался мраком и сплошными тучами. Оттого, что ничего не ел и почти не спал, чувствовал себя скверно. Ничто было не мило. Выйдя с вокзала, взял такси и поехал к другу Устинову. Но тот был в отъезде. Пошел к другому, к третьему, к четвертому.

По роковому стечению обстоятельств, никого не застал дома. Измученный, голодный, ослабевший, отчаявшийся, все еще боящийся погони, вспомнил о Николае Ключеве, который когда-то познакомил его с литературными кругами Петербурга и дал совет, как попасть в салоны Мережковского и Вячеслава Иванова. Постучал к нему в дверь. Она была закрыта на цепочку и на ключ. Ключев повернул ключ налево. Цепочка мешала двери открыться пошире. В щель выглянул хозяин квартиры с длинной бородой и пышными усами, сделал вид, будто не узнал Есенина.

— Кто в такую рань?

— Коля, сначала впусти.

— Сережа? По какому делу?

— Приюти... покорми... напои... мне очень плохо.. я еле стою на ногах... Я убежал из лечебницы... Боюсь погони...

Ключев замахал руками, заметался по комнате, с двух сторон уставленной иконами и усталой редкостными покрывалами.

— Прости, Сереженька, не могу... Ты знаешь, как я тебя люблю, но принять не могу.

Он говорил на «О», как говорят северяне, притворно улыбался, но дверь держал на цепочке.

— Почему не можешь?

— Потому что у тебя за плечами стоит смерть. Если помрешь, власти обвинят меня, скажут, что я сжил тебя со света, как лиходея, дал отравы. Сними хорошую гостиницу, отдохни там, а завтра приходи, потолкуем, вспомним старину. Вспомнить нам с тобой есть о чем.

— Прощайте Николай Алексеич.

— С каких это пор ты стал обращаться ко мне на вы и так официально «Алексеич». До последнего времени я был для тебя Колей.

— Был, да сплыл... вот с этой минуты... Мне открылась ваша сущность... Вы сами знаете, кто вы... А я скажу о вас только два слова: «Вы страшный человек, вы — притворщик, вы — лицемер, ваш талант не искупает всей вашей мерзости!..»

— Ну, Сергей Александрович, это уж слишком... Я о вас тоже знаю кое-что...

Есенин ушел. Куда направиться? В чем найти успокоение от разочарования в друзьях, в жизни, в обществе? Успокоение может быть только в смерти.

Человек катился в пропасть, в бездну и в эти минуты не нашлось друга, который бы взял за руку, прижал к груди, поцеловал, успокоил. Тот, на кого надеялся, безжалостно оттолкнул в последнюю роковую минуту. Вся жизнь предстала, как дремучий лес, наполненный хищниками... Воют волки, шипят ядовитые змеи, на деревьях притаились дикие кошки и выбирают мгновение, чтобы прыгнуть на человека и растерзать его... А может быть это безводная пустыня, где можно умереть от жажды и от укусов скорпиона? Или это океан с его беспредельностью, бурями и кровожадными акулами? Можно ли спастись в этой пучине на жалком обломке корабля? Все страшно. Нигде и ни в чем нет выхода. Смерть, ты более человечна, чем люди! Приюти меня, дай мне забыться и заснуть вечным сном...

Шел, покачиваясь. Увидел вывеску «Англетер». Гостиница. Вот и хорошо. Снял номер, уплатил вперед за день. Вошел. Показалось — неуютно. Разделся. Достал из кармана блокнот. Стал искать карандаш — не нашел, вероятно потерял в поезде, когда лежал в пиджаке на второй полке. На столе увидел чернильницу — стеклян-

ную, круглую, с медной крышкой. Чернила в ней давно высохли. Рядом лежала ручка с пером «86» — заржавленная, коричневая от старости. Перочинный нож с перламутровой ручкой не был потерян. Сжав левый кулак, чиркнул ножом по вздувшимся венам. Потекла кровь. Макая в нее перо, писал слово за словом:

До свиданья, друг мой, до свиданья,

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова, —

Не грусти и не печаль бровей:

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Кто скажет, что переживал поэт, отвязывая ремень от заграничного чемодана и приспособливая его к трубе парового отопления? Сознавал ли он свой грех, надевая на шею петлю? Это произошло 28 декабря, 1925 года.

* * *

Клюев признался Павлу Васильеву в своей жестокости:

— Я погубил Сереженьку! Если бы я не прогнал его в то утро, он не надел бы на себя петлю. Бог жестоко накажет меня за это!

Все газеты поместили сообщения о гибели Есенина. Была создана комиссия по организации похорон под председательством Александра Константиновича Воронского. Гроб из Ленинграда привезли в Москву и поставили в Доме Печати, на Никитском бульваре, возле Арбатской площади. Людские потоки к гробу не прекращались до самых похорон. На траурном полотнище, протянутом по фасаду дома, Есенин назывался гениальным русским поэтом. Вся Москва шла с последним прощальным приветом к тому, кто может быть иногда нарушал ее спокойствие, но был дорог для нее, как Евангельский «Блудный сын», одаренный огромным талантом.

Убитая горем мать не отходила от гроба. Тут же были отец, сестры, друзья. Звучала траурная музыка в исполнении известных скрипачей и виолончелистов. Все время у изголовья и в ногах покойного стоял почетный караул

из писателей, артистов, художников, друзей и почитателей поэта. Художники делали зарисовки.

В день похорон, 31 декабря, была сильная оттепель: по улицам и бульварам бежали ручьи, с крыш капало. Люди говорили:

— Природа плачет о том, кто так чудно описал ее.

Гроб поднесли к памятнику Пушкина. Было очень скользко. Несущим гроб нужно было соблюдать большую осторожность. Совсем недавно, только в июне прошлого года, в связи с 125-летием со дня рождения Пушкина, Есенин читал возле памятника стихотворение, посвященное великому поэту. Оно было в памяти у многих:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с тобой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший, как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

«Долго буду петь»... Увы, так недолго звучала песня Есенина... всего полтора года. Тогда он стоял у памятника с высоко поднятой головой, без шляпы. Его кудри колебались от ветра. Теперь он в гробу, среди цветов, и кудри его превратились в прямые нити.

От памятника процессия двинулась к Никитским воротам и дальше по Малой Никитской и Кудринской площади, а от нее к Красной Пресне. Огромное скопление народа останавливало трамвайное и автобусное движение.

Могила была приготовлена на Ваганьковском кладбище. К могиле пришли все женщины, с которыми когда-то поэт был в близости: Елена Изряднова, Зинаида Райх, Галина Бениславская, Надежда Вольпина, София Толстая. Не было только Айседоры Дункан, но она прислала телеграмму соболезнования русскому народу.

У самого края могилы, на желтом песке рыдала Зинаида Райх, поддерживаемая Мейерхольдом, ее теперешним мужем. Перед опусканием гроба в могилу, Орешин прочитал стихотворение:

Милый, ты назначил встречу,
Только где твой дом?
Как туда тебе отвечу,
И каким письмом?

Все я сделаю, как надо,
И не поленюсь,
Чтобы красным листопадом
Прозвенела Русь.

По снегам и по морозам,
Без дорог пройду,
На ушко твоим березам
Расскажу беду.

Сяду вокруг осин пригожих
На ключек травы.
— Синеглазого Сережу
Не видали вы?

Да не он ли на опушке
Нам под Новый Год
Развеселые частушки
Соловьем поет?

Это он судьбу ворожит,
Это он поет.

— Русь, не ты ль вокруг Сережи
Водишь хоровод?

Светлый, радостный, кудрявый,
Он стоит один,
Озарен всемирной славой
Средь степных равнин.
Милый, ты назначил встречу
Кровяным письмом...
Соловей мой, я отвечу,
Я найду твой дом!

Почти все, толпившиеся возле могилы, рыдали. Когда застучала земля о гробовую крышку, раздался громкий вопль:

— Прощай, моя песня, сказка моей жизни!

Это прощалась с Сергеем Есениным Зинаида Райх. Но теперь ее ревнивый муж был спокоен: пусть она называет его как угодно, он не встанет из могилы. Дети Есенина — Таня и Костя оставались дома по приказу матери. На похоронах присутствовал лишь светловолосый первенец Есенина от Изрядновой, а Надежда Вольпина была беременна от поэта, которого хоронили.

Через несколько дней в Художественном Театре состоялся вечер памяти поэта. Были речи, воспоминания, пение, траурная музыка, чтение стихов. Молодая артистка в темном платье прочитала стихотворение:

Цветы мне говорят: «Прощай»,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну что ж, ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг,
Всю жизнь пройдя с улыбкой мимо,
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,

Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

Все были потрясены письмом Льва Троцкого. Оно было прочитано Василием Ивановичем Качаловым:

«Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И так трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом — может быть со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукой, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом.

Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но подо всем тем трепетала совсем особая нежность неожиданной, незащищенной души. Полунаносной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился — прикрывался, но не прикрылся...

Наше время — суровое время, может быть одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи своего отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор «Пугачева» и «Баллады о двадцати шести» был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин.

Корни у Есенина глубоко народные. Но в этой крепости крестьянской подоплеку — причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем, а в но-

вом корень не привился... Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, эпична, катастрофична. От того-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой.

Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца. Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и — сломалась... Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком, придут иные времена — те самые, которые нынешней борьбой готовятся. Личность человеческая расцветет настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция впервые отвоюет для каждого человека право не только на хлеб, но и на лирику. Кому писал Есенин кровью в свой последний раз? Может быть он перекинулся с тем другим, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин — песнями.

Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его.

В нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по-своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по-новому сказавши о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пасется в небесах, и о цветке неповторимом — о себе самом.

Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего... Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин!»

Смерть Есенина была как бы сигналом к массовым самоубийствам молодежи в разных местах страны. Во всех предсмертных записках самоубийц приводились слова Есенина:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей...

Не прошло и года после смерти Есенина, как в «Известиях» появилась злая, уничтожающая статья Николая Бухарина: «Развенчайте хулиганство», в которой автор называл поэта родоначальником разнузданности в среде советской молодежи. За первой вскоре последовала вторая. Называлась она «Злые заметки». И в ней Есенин поминался недобрым словом.

После этого издание стихов Есенина прекращается надолго, а спрос на них растет изо дня в день. Посмертный четырехтомник был на прилавках книжных магазинов в Москве расхвачен в несколько часов. Из библиотек его не изъяли, но все же они исчезли. Те люди, которые брали его книгу, потом заявляли, что потеряли ее, готовые уплатить залог. Таким образом, в кратчайшее время книги Есенина из библиотек перекочевали в частные квартиры.

Вскоре в печати появилась поэма Николая Клюева: «Плач о Есенине». Плакал тот, кто толкнул поэта в бездну, кто отшвырнул его в последнюю тяжелую минуту.

Ровно через год после смерти Есенина, на его могиле, занесенной снегом, застрелилась Галя Бениславская, одетая в дорогое, белое, похожее на подвенечное, платье. Она знала о своем друге больше, чем все его собутыльники, но не обмолвилась ни одним словом воспоминаний. Она не могла простить себе короткого слова «Вон», когда Есенин пришел к ней попросить прощения. Изгнанный Галей, он покатился в пропасть. Отчаяние поэта завершилось самоубийством.

Весной 1940 года артисту Владимиру Яхонтову разрешили провести два литературных вечера, посвященных творчеству Есенина — в большой аудитории Политехнического музея и в Бетховенском зале Большого театра. Билеты на оба вечера были расхвачены в несколько часов.

Советское правительство в это время готовилось к десятилетнему юбилею со дня смерти Маяковского. Боясь, что Есенин отвлечет публику от Маяковского, правительство запретило Есенинский вечер в Бетховенском

зале и все вечера, посвященные любимому народному поэту на будущее время.

* * *

Екклесиаст изрек: «Всею свое время и всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное.

Время убивать и время врачевать: время разрушать и время строить;

Время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать;

Время разбрасывать камни и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;

Время искать и время терять; время сберегать и время бросать;

Время раздирать и время сшивать; время молчать и время говорить;

Время любить и время ненавидеть; время войне и время миру».

К этим Библейским словам можно добавить:

Время ласкать поэта и время бичевать его.

Время запрещать его книги и время издавать их миллионными тиражами.

Время всенародно оплевывать его и время превозносить на высочайший пьедестал!

Сейчас Сергей Есенин превознесен до небес. Он еще не прозвенел медью, о чем мечтал незадолго до смерти, но и это время приближается.

Село Константиново — родина поэта — теперь Есенино. Самый обычный сельский домик с тремя окнами по фасаду и с двумя с левой стороны — превращен в музей имени Сергея Есенина.

Я был в этом домике при жизни матери поэта, Татьяны Федоровны. Мы сидели за столом, и она угощала меня лепешками на сметане, которые любил ее сын. Сметаной ее снабжал дальний родственник, заведующий молочно-товарной фермой колхоза. Когда к матери наведывались гости, родственник всегда приносил котелок сметаны.

Почти четверть домика занимает русская печь.

— Любил погреться на печке Сергей,—поведала мне мать, — особенно в непогоду, когда в трубе гудело и завывало. — Слышишь, мама, — спрашивал он, — басом поет дьякон, а плаксиво гугнит псаломщик.

В музее по стенам развешены портреты, картины, под стеклом автографы. Сохранено все: кровать, стол, табуретки. Печь побелена и разрисована. Даже ветхая баня с каменкой и полком реставрирована.

— Здесь Есенин написал «Анну Снегину», — сообщают экскурсоводы многочисленным туристам.

По Оке курсирует красивый белый пароход «Сергей Есенин». Церковь, когда-то превращенная в склад сельскохозяйственных орудий, теперь восстановлена в том виде, в каком была в пору отрочества Сергея. В ней происходят службы, с ее колокольни разносится звон по окрестным лугам.

К пятидесятилетию со дня смерти поэта была выпущена цветная почтовая марка.

Почти каждого мальчика, появляющегося на свет в селе Есенино, называют Сергеем.

Идя навстречу пожеланиям масс государственное издательство напечатало пятитомник Сергея Есенина полумиллионным тиражом. Через две недели в книжных магазинах не осталось ни одного экземпляра. Пришлось срочно выпустить следующее издание — снова в количестве пяти сот тысяч.

Когда-то Есенин писал:

«Ой, ты Русь моя, родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу».

Современная, колхозная Русь, отвечает взаимной любовью поэту, его имя на устах миллионов, его стихи, ставшие песнями, звучат от Белого моря до Черного и от Петербурга до Владивостока.

СТРАНА МУРАВИЯ

(Об Александре Твардовском)

В первый раз я слышал Александра Твардовского на собрании крестьянской группы писателей в Москве, на Златоустинском переулке. Всё в его облике было привлекательным — пытливые серые глаза, высокий лоб, разделяющаяся прямым пробором прическа светлых, густых волос. Читал он хорошо. Тогда его считали восходящей звездой. Говорили, что он пишет поэму, которая всех удивит необычной в советское время честностью. Сюжет поэмы, как все утверждали, ему дал Александр Фадеев, бывший тогда редактором журнала «Красная Новь», того самого журнала, в котором печатались мои очерки о деревне, в отделе: «От земли и городов» при Александре Константиновиче Воронском.

Александр Фадеев будто бы сказал Твардовскому:

— Стихи ваши не плохие, но такие пишут и другие поэты. Стихами в наше время имени не сделаешь. Пишите поэму.

— Для поэмы нужен захватывающий сюжет, а я такого пока не придумал, — ответил Твардовский.

— А чем не сюжет поиски счастливого уголка Гурьяновым, героем романа Федора Панферова «Бруски?» Тот в поисках тихого уголка странствует по всей России. Пусть и ваш герой не сидит на месте, а все время ищет. Придумайте для него массу приключений. Это чем-то будет напоминать поэму Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо?» Там семь мужиков хотят найти человека, которому «Вольготно — весело живется на Руси». А ваш герой будет искать такой уголок, где бы ему никто не мог помешать вести единоличное хозяйство.

Твардовский, как тогда утверждали в литературных кругах, с жаром и вдохновением принялся за поэму, которой дал название: «Страна Муравия».

Можно понять мою радость, когда на прилавке книжного магазина в Воронеже я увидел серую книжку, на обложке которой было напечатано:

Александр Твардовский

Страна Муравия

Это было провинциальное издание поэмы.

В тот же день вечерним поездом я уезжал в Москву. Место мое было в вагоне 3-го класса. До отъезда я успел прочитать поэму. Она меня потрясла искренностью, народностью. В ней было много авторских песен. Сразу же для каждой я придумал народные мелодии.

В купе расположилось человек 12. Сюда пришли из других купе и даже из соседних вагонов. Все уместились внизу. Человек шесть стояли в проходе. Это были крестьяне. Один — небольшого роста, худощавый, в лаптях, пытался жаловаться на колхозные трудности, но его тут же останавливали. Степенный, высокого роста бородач даже напомнил пословицу:

— Забыл, милоч, поговорку: «За худые слова слетает голова».

— Да я что ж... я ничего... Я только говорю: «От охов да вздохов все внутренности прочернели»...

— Друзья, — обратился я к собравшимся, — у меня с собой хорошая книга как раз о нашей теперешней жизни. Написал её крестьянин Смоленской губернии. Его отец в царское время переселился на «Столыпинский отруб», где в 1910 году родился мальчик, который позже стал знаменитым поэтом. Книга называется «Страна Муравия». Хотите послушать?

— Будем очень благодарны за ваше доброе желание.

Я начал читать. Все насторожились, притихли. Проходившие по вагону останавливались и присоединялись к группе слушателей. В первой главе Никита Моргунов, по прозвищу «Моргунок» прощается с семьей и с родимыми местами. Во второй главе описывается кулацкий пир перед раскулачиванием. В ней много песен. Все их я пропевал. Для песни кулака Ильи Бугрова я придумал жалобный мотив:

Отчего, певунья-птичка,
Хлебных зерен не клюешь?

Отчего ты, невеличка,
Звонких песен не поешь?

Отвечала эта птица:

«Жить я в клетке не хочу,
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу».

В моем голосе была хозяйская слеза с сердечным над-
рывом. Люди были захвачены и содержанием поэмы и
моим чтением. Потрясла всех мечта Моргунок, которую
он хочет высказать при встрече со Сталиным:

И при хозяйстве, как сейчас,
Да при коне,
Своим двором пожить хоть раз
Хотелось мне.

Земля в длину и в ширину
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну —
И та — твоя.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Пошел косить — покашивай,
Поехал — поезжай.
И всё твое перед тобой,
Ходи себе, поплеывай,
Колодезь твой и ельник твой,
И шишки все еловые.
Весь год — летом и зимой —
Ныряют утки в озере,
И никакой, ни Боже мой —
Коммунии, колхозии.
Пожить бы так чуть-чуть, а там —
В колхоз пойду, подписку дам.
И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная,
Но у меня к тебе одна
Имелась просьба личная:
Вот я, Никита Моргунок,
Прошу, товарищ Сталин,
Чтоб и меня и хуторок —
Покамест что — оставить,
И написать, мол, так и так,
Чтоб зря не обижали:

«Оставлен, мол такой чудак

Один во всей державе».

Удивлению слушателей не было конца:

— Как могли напечатать такую книгу?

Еще больше было недоумения при описании встречи Моргунка с бывшим кулаком, которому удалось убежать из концентрационного лагеря. Между ними происходит такой разговор:

— А вот откуда ж ты теперь,

Илья Кузьмич бредешь?

— Бреду — оттуда! — Что ж там, как?

— Да так, хороший край:

В лесу, в снегу, стоит барак —

Ложись — и помирай!

За чтение поэмы все были искренне благодарны.

— Побольше бы таких книг! — высказывалось единодушное пожелание.

Расходились нехотя. Спрашивали, где можно купить эту книгу?

Тощий мужик в лаптях попросил:

— Товарищ, дайте мне эту книгу на часок, я почитаю её землякам в другом вагоне.

— Да ведь позднее время.

— Ничего, для такой книги можно не поспать.

— Но вы верните мне её.

— Как же можно? Обязательно верну.

— Мое место на второй полке. Если буду спать, суньте под подушку.

— Все будет сделано, благодарствую.

Утром я проснулся рано. Сунул руку под подушку — книги не было.

— Обманул, — сказал я со вздохом.

Пассажир на нижней полке, услышав мой голос, поведал:

— Вы ищите книгу? Часов в двенадцать он сунул её вам под подушку. А в пять утра поезд остановился на небольшой станции. Этот человек подошел к вам и стал прислушиваться, крепко ли вы спите. Когда он в этом убедился, то протянул руку, осторожно вытянул книгу из-под подушки и на цыпочках заторопился к выходу.

На станционной платформе, с оглядками, он ускорил бегство, шлепая лаптями по лужам, после выпавшего ночью дождя. Я мог бы предотвратить хищение, но сделал вид, что крепко сплю. Я сочувствовал этому бедняку, представляя, с каким восторгом он будет читать эту книгу колхозникам своего села. Вы не сердитесь на меня?

— Я вам очень благодарен и рад за этого похитителя. Книгу я достану в Москве и даже в лучшем издании.

Я радовался за автора: своей поэмой он проникает в душу каждого русского человека, болеющего за свою родину.

* * *

Вскоре после Воронежа я поехал в свое родное село Вилатовое, в ста километрах от Самары, на берегу Самарки, впадающей в Волгу. Сочетание озер, речек, лугов, чернолесья, степи и отрогов Уральского хребта привлекало всегда очень многих в наши тихие красивые места.

Наше село можно назвать даже знаменитым. В нем родился и трудился много лет Федор Кузьмич Моховиков которого все звали «Кузьвичом». Он нашел лечебную траву «Эфедру», которая прославила его на всю Россию. К нему приезжали губернаторы, министры, посланники, дворяне, купцы. Приехав слабыми и больными в весеннюю и летнюю пору, через некоторое время они уезжали здоровыми и помолодевшими.

Это был умный крестьянин, научившийся грамоте на военной службе, когда был денщиком у доброго полкового врача. Разбогатеv, он трем своим сыновьям купил хутора с хорошей землей и всевозможными угодьями. О его доброте рассказывали на базарах, ярмарках, в поездах и на пароходах. Он никому не отказывал в помощи.

Когда была издана моя первая книга: «О чем шепчет деревня», жители нашего села говорили с чувством гордости и довольства:

— Сначала нас прославил Кузьмич-целитель, а теперь не меньше Родион — сочинитель!

Человек, выпускающий книгу под своим именем, кажется простому народу чем-то особенным.

— Сколько для этого надо мозгов! Это вам не тят-

ляп! Без таланта двух строчек не придумаешь, а он, гляди-ко-сь, целую книгу накатал!

В этот раз я решил порадовать односельчан не своими рассказами и стихами, а поэмой «Страна Муравия». О своем плане доложил местному партийному начальству — трем малограмотным коммунистам. Они спросили:

— А эта книга дозволена правительством?

— Видите — напечатана в Москве, а там без дозволения не печатается ни один листок. Видите, что написано в конце: «Тираж 25000 тысяч». Вы знаете, что такое тираж?

— Я так смекаю, что это 25 тысяч штук, — сказал возглавитель партийной ячейки Семен Чуносков.

— Правильно! Так вот: если правительство разрешило напечатать 25 тысяч, значит, книга не пустяковая, а стоящая.

— Правительство знает что к чему, — глубокомысленно изрек возглавитель — художавый человек, считавший себя главным винтом сельского хозяйства.

Тогда еще не были сняты колокола с колокольни, хотя церковь была закрыта для богослужений. Известить народ решили ударами в самый большой колокол. Звонарю приказали: «Звони пореже, а то все подумают, что пожар». Колокольное оповещение сначала всех удивило, потом обрадовало:

— Слава Богу: на пожар не похоже!

На широкую церковную площадь потянулись старые и малые. Дети бежали впереди. Степенно шли пожилые бородатые мужики.

Посреди площади, заросшей зеленой муравой, поставили стол, а возле него табуретку. Когда народ собрался, секретарь сказал:

— Можно начинать!

Я взобрался на стол и громко поздоровался со всеми.

— Здорово, Родион Михалыч! — отозвалась на приветствие огромная толпа.

У самого стола стоял уважаемый всем селом, высокого роста, Лука Васильич Кривошеев. Это был начитанный мужик, любивший разговаривать с «умными людьми». Он сразу спросил:

— По какой необходимости такая экстренность?

— Наша партийная ячейка попросила меня почитать всему народу сочинение одного писателя крестьянина.

— Это сочинение, стало быть, нужнее Библии? Чтоб послушать Священное Писание, никогда не созывали колоколом народ на площадь.

В тоне Луки Васильича слышались укор и удивление.

— Конечно, в колокол можно было не звонить, но это сделано для скорости, а что касается вопроса о нужности этого сочинения, решите потом, когда прослушаете.

— Покуда никаких вопросов не задавать! — приказал партиец Чуносков, — начинай, Родион Михайлыч!

И я начал:

— Дорогие друзья, простите за то, что всех вас беспокоили. В прошлые мои приезды вы любили слушать меня. Тогда вы собирались у дворов небольшими группами. Теперь наши партийцы решили собрать всех вас вместе, чтобы сэкономить время. Чтобы вы не устали во время слушания, сядьте на траву. Мне будет виднее всех вас.

— Это не плохо, — сказал Лука Васильич и первым сел неподалеку от стола. По его примеру стали садиться остальные. Стоять продолжали только крайние — в большинстве мужчины. Они были как бы оградой вокруг цветника из женских ярких платьев и мужских цветных рубашек. Село наше большое, бывшее волостное. Слушателей собралось несколько тысяч. Это была необычная для меня аудитория. День был солнечный, не жаркий. С колокольни доносилось теньканье галок и воркованье голубей. Проезжавшие по дорогам подводы из других селений, останавливались, завидев такую массу людей. Я был в голубой рубашке без шляпы. Легкий ветерок шевелил мои темные волосы. Все пристально смотрели на меня. Старики и старухи вспоминали мое детство, когда я забавлял пляской людей на свадьбах и на праздничных увеселениях. За это мне была дана кличка «Клоун». И вот теперь этот клоун выступал, как звонкоголосый декламатор. В тот день, на зеленой церковной площади я прочитал все девятнадцать глав. Некоторые места поэмы

вызывали смех, но не мало было и грустных строк, когда слушатели затаивали дыхание и роняли слезу. Все песни поэмы я пропевал. С радостью была выслушана песня о солдате:

Сорок лет тому назад
Жил да был один солдат.
Тут как раз холера шла,
В день катала полсела.
Изо всех один солдат
Жив остался, говорят.
Пил да ел, как богатырь
И по всем читал псалтырь.
Водку в миску наливал,
Делал тюрьку и хлебал.
Все погибли, а солдат —
Тем и спасся, говорят.

С одобрительными восклицаниями был выслушан ответ Моргунка на предложение попа — работать вместе:

Моргунок утерся строго:
— Не гляди, что выпил я,
У тебя — своя дорога,
У меня, отец, своя.
На своем коне с дугой
Ехать — знаменито.
Остановят: «Кто такой?»
— Моргунов Микита.
На своем коне с дугой —
Ехать подходяще.
Всякий видит, кто такой:
Житель настоящий!
Самому себе с конем
Позабиться впору:
Будто в гости едешь днем,
Ночью, будто в город.
Не охотник яйца я
Собирать для Бога,
У меня, отец, своя,
Дальняя дорога.

С замиранием, вздохами, неподдельной грустью всеми

были восприняты строки о нападении Грачевской банды на Фролова:

Подстерегли меня они
В ночь под Успеньев день —
Грачевы — целый взвод родни
Из разных деревень.
Жилье далеко в стороне.
Ночь. Ветки по глазам.
И только палочка при мне —
Для сына вырезал.
И первый крикнул Степка Грач:
— Стой тут и руки вверх!
Не лезь в карман, не будь горяч,
Засох твой ливорверт!
Сдавай бумаги, говорят,
Давай, отчитывайся, брат!
Стою. А все они с дубьем —
Я против банды слаб,
Ну, шли б втроем, ну, вчетвером,
Ну, влятером хотя б.
Троих я сшиб, а сзади — раз!
И полетел картуз.
И только помню, как сейчас:
За голову держусь.
Лежу лицом к сырой земле
И звон далекий в голове...
И Грач толкает сыновей:
— Скорей, грех Господи, скорей!
Потом с полночи до утра
Я полз домой, как мог,
От той лошинки до двора
Кровавый след волок.
К крыльцу отцовскому приполз
И не забуду я,
Как старый наш, Фроловский пес,
Залаял на меня...
Хочу сказать: «Валет, Валет» —
Не слушается рот...

Женщины стали всхлипывать. Старики хмурили брови. Казалось, что тенькающие галки плакали на коло-

колье. Читая, я преклонялся перед силой художественного слова, я гордился тем, что Александр Трифонович Твардовский — крестьянин, как и я. Вспоминались слова Сергея Есенина, когда-то сказанные мне:

— Мы, крестьяне, богаче горожан, потому что знаем и сельскую и городскую жизнь. А жители города знают жизнь только наполовину.

Глава о свадьбе с величальными песнями и частушками вызвала смех и прихлопывание ладоней. Кое-кто не удерживался и подтягивал мне, когда я пел. После моего слова: «Всё!» длительные аплодисменты напоминали морской прибой и шум леса в бурю. Лука Васильич Кривошеев подошел ко мне и протянул руку:

— Спасибо, земляк: этого дня я не забуду по гроб жизни.

И другие подходили ко мне и крепко жали руку. Учитель и четыре учительницы были в восторге:

— Впервые видим такую огромную аудиторию. Вы обладаете способностью — объединять людей общим интересом. Поэма прекрасна, а вы — непревзойденный декламатор.

Ко мне подошел товарищ по начальной школе Митрий Аристов:

— Дружок Родивон, послужи мне ради Бога. От трудней у меня осталось два пуда пшеницы. Я их продам и пошлю тебе деньги, а ты мне пришли эту книгу.

— Друг Митрий, пшеницу можешь не продавать, книгу я тебе пришлю в подарок. Ведь мы же с тобой сидели рядом на парте в земской школе.

Чтение поэмы Твардовского на церковной площади, при огромном стечении народа, без всякого микрофона, было большим событием колхозной действительности. Об этом кто-то послал восторженную заметку в районную газету. Позже эта заметка была перепечатана в областной газете «Волжская Коммуна» под заголовком: «Культурное мероприятие».

* * *

Есть изречение: «Что исходит из недр сердца, то доходит до каждого сердца». Поэма Твардовского излилась из глубины его души. Это было подлинное народ-

ное произведение и потому так полюбил её русский народ на всех ступенях культуры — от безграмотных крестьянок до прославленных академиков. Поняв это, я решил провести выступления во многих клубах при фабриках и заводах как в Москве, так и во многих фабричных районах под Москвой.

Приезжая в какой-либо город, я шел сразу к секретарю партийной организации. Знакомясь, я показывал билет Союза Писателей и некоторые свои книги. Это сразу делало партийца внимательным и любезным. Незаметно разговор переходил к главной цели моего визита: к поэме «Страна Муравия».

Я начинал читать секретарю главу за главой. Восторженный слушатель после этого звонил в районный книжный магазин:

— Есть у вас книга: «Страна Муравия» поэта Александра Твардовского?

Следовал отрицательный ответ:

— Немедленно закажите 50 штук.

Тут же сообщался адрес издательства.

А через несколько дней в этом городе расклеивались афиши, извещавшие о литературном вечере в местном клубе с участием московского писателя. В афише называлось мое имя и объявлялось, что я буду читать наизусть поэму «Страна Муравия» Александра Твардовского.

Публики собиралось много. Вход был бесплатный. Слово «наизусть», подчеркнутое в афише действовало магически на публику. Многие приходили на вечер, чтобы убедиться в этом.

В один из вечеров я решил навестить своих друзей, руководителей хора имени Пятницкого — его племянника Петра Козьмина и композитора Владимира Захарова. Их жены были певицами хора. С ними жила солистка хора Шура Прокошина, девушка из Смоленской губернии. Их дом был на «Девичьем поле». Когда-то здесь жил создатель хора старик Пятницкий. В 1925 году я пел для него народные песни, которые он записывал на восковые валики. Техника записи тогда была несовершенной. Теперь же, в 1938 году, она была на большой высоте. Руководители хора записали мои песни и часто

исполняли их на концертах. О поэме «Страна Муравия» они ничего не слыхали. Прослушав её целиком, они загорелись желанием инсценировать её. Снеслись с автором. Он согласился сделать для инсценировки кое-какие дополнения. Эта программа была показана хором в концертном зале имени Чайковского. Театр был переполнен. По окончании программы публика вызвала автора и восторженно приветствовала его. На этом вечере я познакомился с поэтом. Он сказал, что в ближайшие дни уезжает в Дом Творчества — в Малеевку, в ста двадцати километрах от Москвы.

— Я тоже еду туда, значит, скоро встретимся!

В Доме Творчества наши комнаты оказались рядом, на втором этаже с видом на березовый лес. Однажды, возвращаясь после ужина к себе, я спросил:

— Хотите, Александр Трифонович, послушать чтение вашей поэмы?

— С удовольствием!

Он пригласил меня в свою комнату.

— Сядьте, — предложил я ему, — вообразите, что вы на концерте, а я, как артист, на эстраде.

— Не сердитесь, — предупредил он, — если в некоторые моменты я буду от удовольствия вскакивать!

Я был в особенном трепете: ведь передо мною был сам автор. Читал я стоя. Автор почти не сидел. Особенно его потрясали мои песни.

— Не устали?

— Читайте, читайте, это же художественный театр!

А когда я прочел всю поэму, он крепко обнял меня и, целуя, сказал:

— Вы — баян! Мою поэму читают многие артисты, но им далеко до вас. И это понятно: они горожане, многие деревню знают только понаслышке. А мы с вами оба — мужики. Подождите!

Он куда-то побежал, а когда вернулся, я увидел в его руке поллитра водки. Мы пили в тот вечер за русский народ, за русский чудный язык, за дивные русские песни, за способности, которые нам даёт Бог. Так неожиданно я стал другом талантливейшего поэта.

Утром и администрация и все обитатели Дома Твор-

чества узнали о вчерашнем чтении поэмы и решили эту программу повторить в гостинной после ужина. Все расселись по стульям и креслам, как в театре. Автор занял место в первом ряду. Два часа чтения пролетели, как две минуты. Перерыв был короткий. Поэма в художественном чтении показалась еще более талантливой, чем при чтении книги. Compliments сыпались и автору и чтецу. После этого был сервирован чай с чудными печеньями и тортом. Выпивки не было: вчерашнее угощение автора было нелегальным.

Через два дня после этого Твардовский уехал в Москву: он вероятно знал заранее о большом событии в его жизни.

Правительство опубликовало постановление о награждении многих писателей орденами. Твардовский получил высшую награду: орден Ленина. А вскоре был обнародован указ правительства — о награждении поэта Твардовского Сталинской премией за поэму «Страна Муравия». Эта премия равнялась 100 тысячам рублей. Бедный человек сразу стал богатым. Искренних друзей радовало такое событие, поздравления текли ручьями со всей страны. Но зашипели по-змеиному завистники. Главным из них был пролетарский писатель Иван Жига. Он подбил группу недовольных, возмущенных такой «ошибкой правительства». Совместно они состряпали донос Иосифу Сталину, суть которого сводилась к удивлению:

«Дорогой Иосиф Виссарионович, с каких это пор в нашей социалистической стране стали выдаваться премии Вашего имени за кулацкие произведения? Поэма Твардовского «Страна Муравия» — ничем незавуалированное прославление единоличного хозяйства».

Сталин вызвал к себе Александра Фадеева, напечатавшего поэму в журнале: «Красная новь».

— Товарищ Фадеев, оказывается, мы допустили большую ошибку. Прочитай, что пишут эти молодчики.

Он протянул писателю донос, подписанный двумя десятками «пролетарских писателей».

Фадееву нужно было спасти себя, автора и поэму. И он сказал несколько очень простых слов, которые оказались вещими, решающими, спасительными:

— Товарищ Сталин, так могут думать только те люди, у которых в голове вместо мозга — мякина!

Сталин задумался. Вероятно в эти минуты он сделал для себя вывод:

«Если я соглашусь с доносчиками, значит, у меня в голове — тоже мякина». А вслух он сказал:

— Да, конечно, они это написали по зависти. Я позвоню в отдел печати Це-Ка, чтобы поэма была выпущена новым изданием большим тиражом.

После такого успеха и всенародной славы партийцы стали осаждать поэта:

— Слушай, друг, это же никуда не годится! Получил орден Ленина, Сталинскую премию, а до сих пор не вступил в партию. Это же сплошное неприличие и неблагодарность. Немедленно подавай заявление!

Податься было некуда: подал! И тогда был назначен публичный прием в партию Александра Твардовского. Все писатели получили повестки — пожаловать на общее собрание в конференц-зал, на улице Воровского 50, рядом с Английским посольством. В повестке был один вопрос: «Прием в партию Александра Твардовского».

Почему принимали в партию в присутствии беспартийных? Чего этим достигали? Это был хитрый способ. В присутствии большого количества собратьев по перу кандидат должен был сказать свою биографию, не утаивая ни одного компрометирующего момента своей жизни. А если бы он не был откровенным, председательствующий мог бы обратиться к присутствующим с таким словом:

— Мы выслушали автобиографию уважаемого кандидата. Но может быть он о чем-либо забыл поведать нам? Может быть кто-либо из хорошо знающих его дополнит выслушанное нами?

В тех случаях, когда не оказывалось таких «дополнителей», председатель мог попросить одного из присутствующих:

— Товарищ, что знаете вы хорошего или плохого о нашем кандидате?

Я был на этом собрании, заняв место в последнем ряду, почти под лестницей, ведущей на балкон.

Твардовский знал о всех хитростях президиума и потому решил быть предельно откровенным. Когда председатель Владимир Ставский за длинным столом, покрытым красным сукном, объявил: «Слово имеет товарищ Твардовский», к кафедре подошел поэт. Он начал так:

— Я сын кулака. Мой отец раскулачен во время сплошной коллективизации и сослан в Соловки, где находится до сих пор...

Эти несколько слов поэта были, как взрыв бомбы. Они укоряли власть имущих: «Вы меня хотите принять в партию, а мой отец томится и страдает в концентрационном лагере». Все в президиуме были смущены. Председатель прервал говорящего:

— Это никого не интересует! Расскажите о своих творческих планах!

— О планах? Работаю над новой поэмой, в голове роятся темы многих стихов.

— Спасибо. Товарищи, кто считает, что Александр Твардовский достоин принятия в партию, поднимите руку.

— Собрание считаю законченным. Сейчас начнется концертное отделение.

В перерыве многие беспартийные пожимали руку Твардовскому, благодаря за словесную бомбу.

Через неделю отец Твардовского был возвращен из Соловков и сын купил ему дачу в Тарасовке, в 20 километрах от Москвы. Вскоре Твардовский был назначен редактором журнала: «НОВЫЙ МИР». О том, как в этом журнале была напечатана повесть Александра Солженицина: «Один день Ивана Денисыча», её автор подробно рассказывает в книге: «Бодался теленок с дубом». Без Твардовского произведение Солженицина не увидело бы света. Твардовский — крестный отец мировой славы — Нобелевского лауреата Солженицина. Поэтому с такой нежностью, горем и признательностью «крестник» поцеловал умершего перед тем, как закрылась гробовая крышка.

1974 г.

ПРИДВОРНОЕ КОЩУНСТВО

(О Демьяне Бедном)

Летом 1921 г. в «Правде», в «Бедноте» и в «Рабочей газете» печатался кощунственный пасквиль на Евангелие: «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна».

Это был разгар НЭПа. Религиозных, верующих людей тогда не преследовали. Грязная стряпня придворного борзописца вызывала возмущение во всех слоях русского общества. Уже один заголовок приводил людей в содрогание. Жирный, безнравственный боров называл себя евангелистом Демьяном.

Слава и материальное благополучие Демьяна Бедного к этому времени достигли вершины, недоступной для других писателей. Его стихотворные фельетоны и басни печатались одновременно в трех московских газетах причем каждая редакция выплачивала «ведшему поэту страны» повышенный гонорар. После появления в периодической прессе, стихи выпускались отдельными брошюрами и книгами баснословными по тому времени тиражами.

Грязное словоблудие пестрило текстами из Евангелия. Они брались, как эпитафии к каждой главе. Пошлость и цинизм стихоплета не знали предела.

Поэт жил в Кремле. Его квартира состояла из нескольких огромных комнат, большую часть которых занимала знаменитая библиотека, о которой говорили с завистью в писательских кругах. В истории этой библиотеки много темного, грязного, жульнического. В дни февральского и октябрьского переворотов Демьян Бедный рыскал по дворянским подмосковным усадьбам и грабил ценнейшие книгохранилища. В его библиотеке были такие уникалы, которые во всем мире сохранились в двух-трех экземплярах.

Многие мечтали хотя бы взглянуть на редкостную библиотеку, но такой чести удостоивались единицы. Познакомиться с поэтом было не так просто. К нему попадали только те, которыми он почему-либо заинтересовался.

В это время он весил больше восьми пудов и походил на откормленного кабана. Вот его портрет того времени: лысая, бритая голова, суживающаяся кверху, продолговатое розовое лицо с толстыми щеками, маленькие серые похотливые глаза, тройной подбородок, жирные складки на красной шее, выпирающий живот, хриплый голос. Белье, костюмы, обувь — безукоризненны. В мимике, в каждом жесте, в походке, в позах — сознание своего превосходства, величия, значимости, уверенности, что он ошастливливает всякого, разговаривая с ним.

Отсутствие благородства делало этого льва советской литературы опасным для общества и, в особенности, для женщин. Он не стеснялся в выражениях и поступках, оставаясь наедине с женщиной любого возраста. Чувствуя себя застрахованным от правосудия, он не ограничивал себя ни в чем.

Для него была конфискована правительством одна из лучших дач в Мамонтовке, в 23-х километрах от Москвы по Северной железной дороге.

Демьян Бедный превратил её в неприступную крепость. Участок в восемь гектаров был обнесен плотным деревянным забором, который заканчивался вверху острыми зубцами. Поверх зубцов шла в три ряда колючая проволока. За входной калиткой стояла будка для трех сторожей, дежуривших днем и ночью по 8 часов подряд. В подкрепление сторожам были три немецких овчарки.

Всякий, пожелавший увидеть поэта, сначала нажимал на кнопку звонка. После этого в калитке приоткрывалось окошечко, в которое заглядывали сразу два живых существа: сторож и собака. Посетитель, назвав свою фамилию, говорил, что хотел бы повидать Ефима Алексеевича. Сторож звонил по телефону поэту. Если фамилия гостя была неизвестна и цель его посещения мало-значительна, поэт отвечал:

— К сожалению, я очень занят и принять не могу.

Если гость был не рядовым советским гражданином а знаменитым ученым, поэтом, артистом, доктором, инженером, его впускали на территорию дачи. Собаки были приучены — не лаять на того, кто проник в крепость с согласия её владельца.

Деревянный стильный дом со шпильями, открытыми и застекленными верандами, балконами, балкончиками, широкими лестницами и узкими лесенками стоял в центре участка.

Вдоль деревянного забора росли стройные елки. Пространство между забором и домом занимали клумбы. С южной стороны к даче примыкал лес. В лесу были уютные тропинки, полянки, беседки, гроты, на опушке с другой стороны теннисная площадка.

Центр дома занимал высокий зал, похожий на католический храм с высокими узкими окнами с двух сторон. Свет сквозь разноцветные стекла падал яркими бликами на пол и на мебель.

На том месте, где был когда-то алтарь, хозяин устроил сцену для домашних спектаклей и концертов. Вдоль стен зала стояли шкафы с книгами. Здесь принимали гостей. В жилые комнаты никого из посторонних не впускали.

Обедали на открытой веранде. Обеды были сытные, жирные, обильные. Для дам подавалось вино, для мужчин водка.

— Ни одного гостя я не отпускаю от себя трезвым, — хвастался хозяин.

Часа через два после обеда пили чай. Поэт клал в стакан 4 куска сахара и две ложки варенья. Любимым его печеньем был сдобный кулич с ванилью.

* * *

Осенью 1925 года вышла в свет моя книга: «О чем шепчет деревня». В одной из глав рассказывалось о том, как мой дальний родственник, семидесятилетний Митрий Алферов, начитавшись стихов Демьяна Бедного, стал безбожником. Это причиняло много страданий его замужней дочери. Старика перестали сажать за стол:

— Водишь дружбу с нечистой силой, пускай она тебя и потчует!

Рассказ заинтересовал кремлевского барда и он решил повидаться со мной. Как-то из Кремля позвонили в редакцию журнала «Красная новь» и попросили передать Родиону Акульшину, что его хочет видеть Демьян Бедный. (Березовым я стал в декабре 1941 года, после осво-

бождения из немецкого лагеря военнопленных). Через несколько минут после этого звонка я зашел в редакцию, где встретил много друзей по литературной группе «Перевал». Многие бросились поздравлять меня:

— Только сейчас тебе звонил Демьян Бедный.

— Пойдешь в гору!

— Приглашение Демьяна Бедного не фунт изюму!

Отозвав в сторону вождя перевальцев — Николая Николаевича Зарудина, я тихо спросил:

— Удобно ли мне, овощу с крестьянского огорода общаться с прославленным официальной критикой бардом, репутация которого, как человека, не безупречна? Как будут смотреть на меня писатели и собраты по литературной группе?

— Вот что, Родион, — сказал Зарудин, — поступай в таких случаях, как поступал Густав Флобер. Когда его осуждали за некоторые знакомства, он отвечал: «Я писатель, мне нужно изучать жизнь во всех её проявлениях. Я подхожу к людям, как к скелетам ихтиозавров и мастодонтов».

Когда я в тот же вечер вошел в кремлевскую квартиру поэта, он удивился:

— Крестьянин, а в роговых очках? Нехорошо, батенька! Вы так же смахиваете на крестьянина, как я на балерину!

Поэт принял меня в большой комнате, заставленной книжными полками. Книги лежали и на столе.

— Вот видите — сегодня за эти три книги заплатил 700 рублей.

— Сколько же у вас денег, если за три небольших книженки вы можете отвалить семьсот?

— Это мне нравится, — засмеялся поэт, — как будто и наивно, но в то же время и язвительно.

Я смутился.

— Не краснейте, будьте самим собой. Расскажите о старике-безбожнике. Выдумка это или правда?

— Стопроцентная правда.

— Давайте пошлем ему 50 рублей. Вот.

Он протянул мне пять белых, новеньких, жестких червонцев.

— Пошлите завтра.

Несмотря на то, что я не был похож на крестьянина, Демьян Бедный почувствовал ко мне симпатию. Он разговаривал со мной часа два. Дал совет: не быть брезгливым, писать любые вещи, на любые темы.

— Знаете ли вы, что я в молодости писал рекламные стихи для табачных фирм?

— Первый раз слышу об этом. А теперь вам не предлагают такую работу?

— Попали в точку: предлагают, но я не хочу дешево продавать свое имя. Мои условия: тысяча рублей за строку.

— Это значительно выше, чем гонорар Маяковскому за рекламные двустушия.

— Разумеется, но ведь и резонанс имени Демьяна Бедного значительно звучнее, чем Владимира Маяковского.

— С какой фирмой вы ведете переговоры?

— С «Моссельпромом».

— Принимают ваши условия?

— Жмутся, сволочи.

Вернулась домой жена Демьяна Бедного — Вера Руфовна, маленькая, толстенная брюнетка. Она только что была у Молотовых.

— Полина Михайловна в отчаянии от нового циркуляра по партийной линии!

Я спросил об этом циркуляре.

— Кошмар, — развела руками Вера Руфовна, — партийцам разрешается зарабатывать не выше партмаксимума. Этак, пожалуй, и до тебя доберутся, Ефим.

— Пусть попробуют, тогда я не напишу им ни строчки!

— Молотовы, бедняги, вынуждены отказать учительнице английского языка, — волновалась Вера Руфовна, — и кто это выдумал какой-то дурацкий партмаксимум?

Поэт спросил, как я живу?

— Не важно. Я ведь не один: у меня много родственников.

— Гоните всех в шею. А плохого никогда не бойтесь: плохое, как правило, всегда бывает перед хорошим. Вот

вам иллюстрация из нашей жизни. Затеяли мы строить дачу в Финляндии. Поставили сруб. На продолжение строительства денег ни копейки. Вернее, осталась буквально одна копейка. Что делать? Никаких получек не предвиделось. Жена заняла полсотню и пошла попробовать счастья в рулетке. Профукалась, конечно, спустила всё, что можно: серьги, кольца, браслет. Пришла домой помешанной: «Покончу самоубийством!» На другой день иду на поиски денег. Тщетно, никто не одолжил ни рубля. Возвращаюсь домой, догоняю почтальона.

— Будьте добры получить пятьсот рублей.

Вхожу в дом с деньгами. Жена держит в руках стакан с ядом, а может быть разыгрывает самоубийцу.

— Верка, — кричу, — не дури! Денег полны карманы!

С тех пор берегу эту копеечку, как талисман.

— Хочу поступить на портняжные или сапожные курсы, — сказал я, — без литературы люди могут обходиться, а разутыми и раздетыми не ходят никогда: портной и сапожник всегда с деньгами.

— Жаль, что вы беспартийный: взял бы вас к себе личным секретарем. Это было бы куда лучше ваших курсов. Может быть вступите в партию? Я бы поручился за вас.

— Только для того, чтобы стать вашим секретарем?

— Только? Да знаете ли вы, что об этом мечтают десятки писателей?

— Неужели среди них нет достойных?

— В том то и дело, что все не по душе.

На прощанье поэт еще раз посоветовал не брезгать никаким трудом:

— Уборные придется чистить, не кривитесь: всякий труд обогащает писательский опыт.

Прежде чем уйти, я спросил:

— Можно ли в наше время давать в очерках стопроцентную правду о советском быте?

— Не можно, а должно! Без всякой пощады бичуйте бюрократов, взяточников, подхалимов, чванливых дураков с партийным билетом, идиотов всех мастей, отравляющих воздух нашей жизни.

В кремлевской квартире поэта побывать еще раз не пришлось. Расписку на 50 рублей послал ему по почте. Но на даче в Мамонтовке летом 1926 года был несколько раз. Однажды я приехал в гости без головного убора.

— Это еще что за стрекулист? Вот вам фуражка, в которой я получал орден боевого красного знамени. Будете со временем знаменитым, как и я, если сохраните фуражку.

Увы, подарка Демьяна Бедного я не сохранил.

В один из моих приездов поэт прочитал мне письмо Максима Горького, в котором было лестное упоминание обо мне, как о «подающем надежды».

Осенью в Москву приехал американец, говоривший по-русски, мистер Мессер, по концессионным делам. Через педагога и архитектора Александра Иустиновича Зеленко, несколько лет прожившего в Америке, я познакомился с богатым американцем. Послушав мою декламацию, он стал усиленно звать меня в Америку, обещая похлопотать о визе, но мне было грустно представить, что я уеду в чужую страну, а родные останутся без меня.

Американец любил ходить в Большой и Художественный театры и всегда приглашал меня. Места наши всегда были во втором ряду партера. К несчастью, всякий раз я видел в театре, в литерной ложе бенуара Демьяна Бедного. Однажды, когда я приехал в Мамонтовку, поэт спросил:

— Почему это вы с некоторых пор неразлучны с иностранцем? Смотрите, батенька, не сносить вам головы!

Как-то я ехал до Мамонтовки вместе с поэтом. Когда мы вышли из вагона и направились к его даче, нас перегнала молодая интересная дама с девочкой лет пяти.

— Родион, давай её заманим в лес и там пошуреем, — громко предложил поэт.

Я видел, как краснела шея дамы, представлял её возмущение, но повернуться и крикнуть «хам» она не смела: в то время одного слова Демьяна Бедного было достаточно, чтобы человека посадили в тюрьму или отправили в ссылку.

Оглянувшись назад, я увидел писателя Войтоловского, автора книги: «По следам войны».

— К вам гость, — сказал я.

Мы остановились. Дама, шедшая впереди, побежала рысью по тропке вдоль железнодорожного полотна. Когда подошел Войтоловский, поэт пожаловался:

— Какой лакомый кусочек я упустил из-за Родиона!

Он указал на женщину, которая была уже далеко.

— Всё шутите, Алексей Ефимович, а я к вам с большой новостью.

Он достал из портфеля двойной лист бумаги, на котором было что-то напечатано машинкой.

— Читали?

— О, конечно.

— Все говорят, что это посмертные стихи Сергея Есенина.

— Чепуха! Я уже знаю имя автора и нажал на соответствующие кнопки, чтобы как следует взгреть подлеца.

Меня одолевало любопытство — поскорее узнать, о чем идет речь.

— На, на, читай, вижу по глазам, что не терпится, — прохрипел поэт, протягивая мне привезенный Войтоловским лист бумаги.

И я прочел: «ПОСЛАНИЕ ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ».

Я часто думаю, за что Его казнили,
За что Он жертвовал Своею головой?
За то ль, что враг суббот, Он против всякой гнили
Отважно поднял голос Свой?

За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и свет и тень,
Он с кучкой рыбаков, из бедных деревень,
За кесарем признал лишь силу злата?

За то ль, что не щадя в земном пути Себя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток,
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей и грязных проституток?

Не знаю я, Демьян, в «евангельи» твоём
Я не нашел правдивого ответа.
В нём много бойких слов, ах, как их много в нём,
Но слова нет, достойного поэта.

Я не из тех, кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.

Я не люблю религии раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба,
Я верю в знание и силу человека.

Я знаю, что, стремясь по нужному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к Божественным пределам.

И всё-таки когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, изверженную спяна.

Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий миф, мы это понимаем,
Но всё-таки нельзя, как годовалый пес,
На всё и вся захлебываться лаем.

Христос, Сын плотника, когда-то был казнен,
Пусть это миф, но все ж, когда прохожий
Спросил Его: «Кто Ты?» ему ответил Он:
«Сын человеческий», а не сказал: «Сын Божий».

Ты испытал, Демьян, всего один арест,
Но всё ж скулишь: «Ах, крест мне выпал лютый...»
А что, когда б тебе голгофский дали крест
И чашу с горькою цикутой?

Хватило б у тебя величья до конца
В последний час Его примером тоже,
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?

Нет, ты Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером ни мало.
Разбойник был, Иуда был,
Тебя лишь только не хватало.

Ты сгусток крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

Но ты свершил двойной тяжелый грех:
Своим дешевым балаганным вздором
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И малый свой талант покрыл большим позором.

Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи,
Небось, злорадствуют российские кликуши:
«Еще тарелочку Демьяновой ухи,
Соседушка, мой свет, пожалуйста покушай».

А русский мужичок, читая «Бедноту»
Где «образцовый» стих печатался дуплетом,
Еще отчаянней потянется к Христу,
И коммунистам «мат» пошлет при этом.

— Если не секрет, кто автор этих стихов? — поинтересовался Войтоловский.

— Тридцатипятилетний советский служащий из Центросоюза Горбачев.

— А ведь недаром стихи приписываются Есенину: стиль удивительно напоминает «Русь советскую».

— Автор таким способом надеялся скрыть свое лицо но это ему не удалось.

Привожу этот разговор, чтобы развеять легенду, которой уже много лет. Вне литературных кругов Советского Союза, в Европе и в Америке очень многие русские уверены, что стихотворный памфлет против Демьяна Бедного написан Есениным.

Летом 1925 года я часто встречался с Сергеем Есениным на квартире друга Василия Наседкина. Туда же забегали Клычков, Орешин, Радимов. Это была дружная крестьянская группа поэтов. Говорили мы о литературе, искусстве, делились новыми стихами, иронизировали по адресу придворного борзописца. Если бы послание Демьяну Бедному было написано Есениным, то неужели он удержался бы прочесть его в кругу друзей? Читать

новые стихи он очень любил, его не нужно было просить, он сам предлагал:

— Ребята, хотите — прочту кое-что новенькое?

А раз молчал об этом послании, значит, его не было у него.

Памфлет появился в списках в первой половине 1926 года. Когда стали поговаривать, что он принадлежит перу Есенина, родная сестра поэта Екатерина поместила в газете письмо, в котором со всей категоричностью отрицала причастность брата к памфлету. Все рукописи покойного хранились в сейфе, ключ от которого был у Екатерины Александровны. Она знала каждую его строчку.

* * *

Мои отношения с Демьяном Бедным были порваны в декабре 1926 года.

В журнале «КРАСНАЯ НОВЬ» были напечатаны мои очерки о деревне:

«Картинки с натуры» — о самодурстве районного начальства и о тяжелом положении крестьян. Редактора Воронского вызвали в отдел печати Центрального Комитета Партии. У него спросили:

— Кто такой Родион Акульшин?

— Крестьянин, славный парень, приятель Демьяна Бедного.

— Мы знаем мнение Демьяна Бедного об Акульшине.

— Надеюсь, хорошее?

— Этого прохвоста я больше не пушу на порог, — вот отзыв Демьяна Бедного о вашем хваленном авторе.

Когда А. К. Воронский передал мне свой разговор с чекистами, я был потрясен малодушием, трусостью и коварством кремлевского орденоносца. Кто, как не он, давал мне советы — беспощадно бичевать дураков с партийным билетом, идиотов всех мастей, отравляющих воздух нашей жизни? А когда я выполнил его пожелание он не поддержал меня, а предал, назвав прохвостом и контрреволюционером.

Чувствуя свою значимость, Демьян Бедный давал волю своему языку. У него была склонность — поболтать, посудачить, посплетничать. Он не мог хранить тайн

и антиправительственных анекдотов, сочинявшихся в большинстве случаев Карлом Радеком. Он всегда недолюбливал Сталина за его неуважение к книгам:

— Разрезает книги пальцем, а еще вождь мирового пролетариата!

Не мог он простить Сталину и его грузинского акцента.

— Иностранные принцессы, выходя замуж за русских царей, постигали в совершенстве русский язык, а наш вождь, правя Россией, не считает нужным поработать над своим произношением, предпочитая оставаться шашлычником.

Остроты Демьяна Бедного дошли до хозяина и он приказал выселить поэта из Кремля. Опальный бард поселился в бывшем Рождественском монастыре, возле Сretenки. Вскоре после этого он разошелся с Верой Руфовой, от которой у него было два сына и две дочери. Старшая дочь Людмила родилась от первой жены, когда Демьян Бедный был студентом. После его женитьбы на Вере Руфовой, Людмила перешла на положение кухонной девочки «Золушки». Мачеха не влюбила её. Девочка знала, что ей нечего рассчитывать на отцовские средства и усердно училась. Она окончила институт иностранных языков и стала работать в «Интуристе». Позже она четыре года служила в советском торговом представительстве в Нью Йорке.

Разойдясь с Верой Руфовой, Демьян Бедный женился на артистке «Малого Театра» Назаровой, которая, благодаря протекции мужа получила роль Дездемоны в пьесе «Отелло» Шекспира.

В 1928 году в «Мюзик-Холле» была пышно поставлена кощунственная пьеса Демьяна Бедного: «Как 14-я дивизия в рай шла». Постановка не имела успеха, хотя в ней принимали участие лучшие эстрадные артисты Москвы.

После страшного крушения скорого поезда на подмосковной станции «Перерва», в 6 километрах от столицы, когда погибло более трехсот человек, возвращавшихся с Крымских курортов, Демьян Бедный написал злой стихотворный фельетон: «Слезай с печки», в котором высмеял лень и разгильдяйство русского человека, большую

часть времени проводящего на печке и давящего от скуки тараканов. Фельетон вызвал недовольство высших партийных сфер.

Сталин всё больше озлоблялся против Демьяна Бедного. Но критики, пока не определившие, откуда дует политический ветер, продолжали трубить, что сила советской литературы в её «Одемянивании». Это означало, что все советские писатели должны признать творческие принципы Демьяна Бедного обязательными для себя.

На первом всесоюзном съезде писателей в 1934 году впервые против Демьяна Бедного выступил редактор «Известий» — Николай Бухарин. Он столкнул поэта с пьедестала, на котором тот держался много лет, он постарался доказать огромной аудитории, собравшейся в колонном зале Дома Союзов, что злободневные фельетоны Демьяна Бедного не имеют ничего общего с подлинной поэзией.

В 1936 году Московский Камерный театр с большой пышностью, в декорациях Палехских художников поставил пьесу Демьяна Бедного: «БОГАТЫРИ», в которой оплевывалось и высмеивалось крещение Руси при Владимире. На премьере присутствовали Молотов и Каганович. Через день в «Правде» появилась погромная статья, в которой автор пьесы, как хулиатель «Величественного прошлого нашей родины» смешивался с грязью. Пьеса-пасквиль была запрещена. Никогда еще недавний властитель дум рабочих и крестьянской молодежи не был в таком унижении, как теперь. Его нервы были натянуты до предела. В один из таких моментов теща — мать артистки Назаровой, спросила у зятя:

— Ефим Алексеевич, когда же вы, наконец, сделаете духовное завещание в нашу пользу?

— Зачем вам это нужно? — насупился зять.

— Как зачем? Здоровье у вас не Бог вещь какое. В случае несчастья ваши дети и Вера Руфовна обдерут нас, как липок, по миру пустят.

— Ах, сволочи, вы, значит, только о том и думаете, чтобы я поскорее окошел? Так вот же вам, вот, ничего не получите!

И он начал сокрушать всё, что подвертывалось под

руку: разбивал фарфор, хрусталь и зеркала, ломал мебель, рубил ковры, рвал белье.

Вернувшись из театра Назарова, увидев картину погрома, поспешила в ближайший райком партии и привела оттуда двух коммунистов, которые составили подробный протокол с описанием хулиганского поступка Демьяна Бедного. Вскоре после этого поэт был исключен за «бытовое разложение» из партии, из Союза Писателей, из членов Литфонда. Районному городу Пензенской области Беднодемьянску было возвращено прежнее название. Назарова развелась с мужем-буяном.

Дача в Мамонтовке осталась за Верой Руфовой, благодаря её связям с женою Молотова, Полиной Жемчужиной, которая в это время была народным комиссаром рыбной промышленности.

К счастью для отца из Нью Йорка вернулась старшая дочь Людмила. Бывшая когда-то на положении «Золушки», теперь она стала единственной опорой опальному отцу.

Демьян Бедный со дня на день ждал ареста. Чтобы задобрить правительство, он решил дать ему взятку: подарить свою библиотеку. Об этом узнала Вера Руфовна и заявила протест:

— Я принимала участие в создании библиотеки и имею на нее право.

Литературный Музей назначил комиссию для оценки библиотеки. Книжные сокровища были оценены в миллион рублей. За нее решено было уплатить 250 тысяч. По соглашению эту сумму было решено уплатить Вере Руфовой в течение 5 лет — по 50 тысяч ежегодно, с ежемесячной выплатой по 4 тысячи. Две тысячи удерживались, как налог.

Из четырех тысяч одна переводилась Демьяну Бедному, три — детям и жене. Людмила из этих сумм не получила ни копейки.

Привыкший жить на широкую ногу поэт быстро прокучивал свою долю, а после этого переходил на иждивение дочери. В эту пору он острил:

— Когда я был Бедным, я был богатым, теперь я не Бедный, а потому — нищий.

Знакомство наше восстановилось в 1940 году в группке «Советский Писатель», из членов которого его постеснялись исключить, благодаря стараниям Александра Ивановича Вьюркова. Я тоже был членом этого группкома. После одного из общих собраний Демьян Бедный подошел ко мне, и, протягивая руку, улыбнулся:

— Довольно дуться, Родион, помните пословицу: «Лежачего не бьют». Так вот: я сейчас не только лежащий, а, можно сказать, доходяга.

Весной 1941 года он был у меня на именинах вместе с другими писателями и держал себя очень просто: шутил, рассказывал много анекдотов.

Он жил мечтой — реабилитировать себя. По материалам книги уральского учителя Бажова: «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» он написал огромную поэму, которую посвятил «С любовью Иосифу Виссарионовичу Сталину». Поэма была послана в Кремль, как новогодний подарок в дорогом сафьяновом переплете с золотым тиснением. Титульный лист был разрисован одним из палехских художников, вся поэма была переписана от руки художниками палешанами. 1-го июня 1941 года поэму вернули автору непрочитанной, без сопроводительного письма. Демьян Бедный пал духом. Мы встретились с ним на квартире Вьюркова.

— Всё погибло! «Хозяин» всё больше озлобляется против меня! Моя песня спета. Каждую минуту я жду ареста, — жаловался поэт, не надеясь на просвет в своей жизни.

Но на его счастье, 22 июня 1941 года началась война с Германией.

Поэт написал Сталину письмо:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я беззаветно служил Родине в годы гражданской войны. Хотелось бы послужить ей и теперь, в скорбно-величественные дни второй отечественной войны.

Преданный Вам Демьян Бедный».

Теперь Сталин никем и ничем не брезгал. Всем органам печати дана была инструкция: «Печатать стихи Демьяна Бедного».

Он был восстановлен во всех правах. Его патриоти-

ческие, антинемецкие стихи прежде всего появились в «Правде».

Умер он в 1945 году.

* * *

Всё проходит. Свет сменяется тьмой, богатство — нищетой, слава — позором. Подтверждение этому жизнь и карьера Демьяна Бедного — Ефима Алексеевича Придворова. Его мать была горничной у одного из великих князей. Согрешив, она родила сына, которому при крещении дали фамилию Придворов.

Он получил высшее образование, стал слагать стихи. В гражданскую войну его слава была в зените. После войны он стал задавать тон, как первый из пишущей братии. Власти предоставили ему место в Кремле. Его песню «Как родная меня мать провожала» пела вся страна. От успехов и богатства у него закружилась голова. А с головокружением на вершине не удержишься. Тот, кто был «всеми», вскоре стал «ничем». Сейчас в литературных кругах о нем не упоминают, книг его не издают. Он забыт. Вот тщета земного величия.

КОНЕЦ ПУТИ

(О ПОСЛЕДНИХ ГОДАХ ЖИЗНИ БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА)

В середине тридцатых годов нашего времени, когда жилищные условия в Москве для многих стали невыносимыми, президент Академии Архитектуры Виктор Александрович Веснин, подал мысль своим друзьям — создать неподалеку от столицы кооперативный поселок «Науки, Искусства, Литературы» — сокращенно «НИЛ». Желающих обосноваться в таком поселке оказалось немало. Стали искать подходящее место. Выбор пал на заброшенную усадьбу с грандиозным парком Саввы Морозова под Новым Иерусалимом.

В. А. Веснин был избран председателем нового поселка. Дачи строились по вкусу и по средствам членов кооператива. Улицы были названы именами видных писателей и художников.

Из артистического мира в члены поселка были приняты: народная артистка республики Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, певица Лидия Русланова, знаменитый московский конферансье Гаркави, солист Большого Театра Политковский, артист театра имени Вахтангова Захава, режиссер театра имени Станиславского Румянцев и руководитель Народно-Героического театра, Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин.

Неподалеку от него поселился известный художник, окончивший Петроградскую Академию Художеств, Михаил Иванович Черкашенинов. Блюменталь-Тамарин звал художника сокращенным именем Мич, а художник артиста Всеволодом. Мич и Всеволод были большими друзьями. Часто Мич ругал артиста за пьянки, за то, что его чердак всегда завален бутылками от всевозможных спиртных напитков.

Комендантом поселка НИЛ был А. Д. Грачев, либерал типа Стасова, образованнейший человек, интереснейший собеседник, широкая отзывчивая душа.

Когда началась война, многие «нильцы» покинули

московские квартиры: вдали от столицы было спокойнее. Ровно через месяц после объявления войны на Москву начались еженощные налеты немецких тяжелых бомбардировщиков. В первую ночь они разбомбили все крытые рынки, приняв сверкающие стеклянные кровли за крыши заводских корпусов.

Москвичи укрывались от бомбардировок в метро: засветло все шли туда с постелями, водой и пищей. Издали можно было наблюдать феерическую картину: сотни прожекторов ловят неприятельские аэропланы. Разноцветные трассирующие пули летят роями к освещенному бомбардировщику. Ухают зенитки. Там и сям — пламя пожаров.

2-го октября началось наступление немецкой армии на Москву. Под Вязьмой было окружено более 400 тысяч советских войск.

Жители поселка НИЛ с замиранием сердца следили за разворачиванием событий. Неприятель приближался. Радио-сводки успокаивали, что бои идут на «Смоленском направлении». Этому никто не верил. Дороги были запружены отступающими частями красной армии. Беженцы уверяли, что не нынче-завтра немцы будут здесь.

С 20 ноября НИЛ оказался в центре артиллерийского огня: орудия не умолкали с двух сторон. Жители прятались в пещерах. Один снаряд упал на дом Блюменталь-Тамарина и убил их няню. Ожесточенная дуэль продолжалась пять дней. 25-го ноября в поселок вошли немцы — голодные, усталые, продрогшие. Первой их заботой было — разминирование местности. Со специальными приборами они обследовали чуть ли не каждый вершок поселка.

Блюменталь-Тамарин не брился две недели, оброс бородой. Приходу немцев был нескрываемо рад: пришли освободители.

В штабе немецкого командования были русские из старой эмиграции. Они предупредили население поселка что в этом районе, вероятно, разыграются жестокие бои. Ради спасения жизни лучше всего заранее эвакуироваться в глубокий тыл.

7-го декабря Блюменталь-Тамарин пришел к Мичу.

— Михаил Иванович, пойдёмте вместе в штаб и заявим о желании выбраться отсюда.

— Как человеку с немецкой фамилией, вам лучше пойти одному. На обратном пути зайдите и расскажите о результатах переговоров.

В 4 часа уже стемнело. С наступлением сумерек выходить из домов было опасно. Блюменталь-Тамарин не зашел к Мичу. Восьмого декабря в 8 часов утра, он уехал с женой и дочерью на немецкой грузовой машине в сторону Можайска. С собою было взято самое необходимое. Библиотека, картины, обстановка остались на произвол судьбы.

В тот же день ушла на Запад и семья художника Мича.

* * *

В конце декабря 1941 года меня освободили из Рославльского лагеря военнопленных и направили в распоряжение отдела пропаганды западного фронта, в Смоленск. Комнатку я нашел в одном из уцелевших домиков на улице Володарского, где имелся радио-репродуктор взамен отнятого в начале войны радиоприемника.

Велико было мое удивление, когда в один из январских вечеров 42-го года, я услышал прекрасную русскую речь из Берлина. Говорил Всеволод Блюменталь-Тамарин. Его слово дышало ненавистью к Сталину, к большевизму, ко всем владыкам Кремля и Лубянки. Он приводил много фактов, он говорил о том, о чем до войны думал почти каждый русский человек, боясь поделиться своими мыслями даже с самыми близкими людьми.

В Берлине в это время выходила русская газета под редакцией Деспотули: «Новое Слово». Из Германии она доходила до самых отдаленных русских городов, занятых немцами. Какой захватывающе-интересной казалась она после нудных советских газет. В ней сотрудничали старые эмигранты и новые беженцы из СССР. Блюменталь-Тамарин печатал в газете свои статьи, рассказы, поэмы. В газете был отдел розысков. В этот отдел писали со всех концов света потерявшие своих родственников и друзей.

Написал Блюменталь-Тамарину через «Новое Слово»

и художник Мич, обосновавшийся в Вене. Ответа долго не было. Художник уже думал, что его письмо затерялось. Но вот пришла долгожданная весточка от Всеволода. Вот что он писал:

«Милый, милый Михаил Иванович!

У Апухтина есть стихотворение, которое начинается словами:

«Увидя почерк мой, вы верно удивитесь».

Вы очевидно считали в силу моего молчания, что я вашего письма на «Новое Слово» не получил, но, как видите, письмо мною получено и я отвечаю Вам, правда, спустя два с половиной месяца, но вины моей в этом нет, а почему, судите сами.

На следующий день по получении Вашего письма (числа точно не помню) я собрался немедленно ответить, но утром не мог найти Вашего письма. Перерыл всё, но оно, как в воду кануло. Очень я огорчился и поручил своей дочери Тамаре найти письмо во что бы то ни стало, но всё было безрезультатно — поиски не увенчались успехом. Потекли дни, слагались в недели, в месяца и вот сегодня, лёжа больным в постели, я попросил дать мне книжку «Русской истории», раскрыл её и в ней Ваше письмо. Немедленно я посадил за машинку мою дочь и диктую ей мой ответ Вам.

«Письмо Ваше необычайно меня согрело и искренностью своей и стоическим мудрым спокойствием. Мы — песчинки, атомы в безмерности создания. Что можем мы сделать? Ничего, только покориться и нести свой тяжёлый крест. Есть ли в этом какой-либо смысл? — часто спрашиваю я себя. Очевидно, есть. Мы — слагаемые того целого, огромного, чего не в силах охватить ни взором нашим, ни мышлением. Мы, как осенние листья, сорванные порывом ветра — неслись и несемся, и где-то ляжем, чтобы совершить свое предназначение: послужить перепонкой для будущих, иных всходов. В этом вся философия нашей жизни, её путей, её страданий. Думали ли мы с Вами три года тому назад, что мы очутимся где-то далеко-далеко от нашей несчастной, теперь окровавленной Родины? Нет, не думали, но пришел ветер из пустыни и погнал нас. И Вы, мой дорогой земляк и я — мы оба

художники, с той только разницей, что Ваше искусство понятно везде, моё же, увы, только там, откуда судьба изгнала меня. Но у меня есть и огромное преимущество: мой дар дает мне право — бесценное право — бичевать великого убийцу Сталина и его подручных палачей.

«Три раза в неделю я подхожу к аппарату и, трепеща от ненависти, бросаю в эфир всё своё негодование, весь мой гнев — дьяволу, уничтожившему всё лучшее земли нашей. И это держит меня в жизни, это спасает меня от отчаяния. В этом весь смысл моего существования. Я часто плачу горькими безутешными слезами о моих погибших друзьях, и эти слезы мои — есть выражение — сумма слез миллионов обездоленных, последние вздохи погибших, обреченных лечь во имя торжества зла, во имя чудовищной власти безумного грузина.

«И я бросаю эти мои слезы в устье маленького металлического аппарата и они, как «Мене, Текел, Перес» звучат в безграничном пространстве и не пропадают бесследно. В этом моя жизнь. Всё остальное меня мало интересует: театром я не живу, и мне порою кажется, что я никогда не был актером, что всё это был какой-то странный, не совсем понятный сон... Да и кому нужен сейчас театр? Какие трагедии могут быть страшнее той трагедии человечества, которая теперь разыгрывается на всей земле? Сейчас не время театру — он так незначителен, так мал и так слабы его выразительные средства.

Ну, не хочу удручать вас своей философией. Расскажу кое-что о себе. Жена моя Инна Александровна, как и дочь моя Тамара, слава Богу, относительно здоровы и живы, и мы трое работаем, как можем и стараемся всемерно принести пользу приютившим нас. Одно плохо: я часто болею, старое сердце протестует против перенесенного, а ужасов было достаточно для большого, дешевого, бульварного романа, но об этом можно рассказать только при встрече, если бы таковая волей судьбы произошла.

«Был я на фронте, подле самых боев, зачастую, в очень тяжелых условиях, но мой покровитель и патрон Святой Николай Чудотворец, охранил нас. Стало быть мы для чего-то еще нужны. В Берлин я попал в январе сорок второго года, где и прожил до августа месяца

сорок третьего, а оттуда переведен в Кенигсберг, в Восточную Пруссию, где и обретаюсь донныне. Пишите мне сюда, буду подробно отвечать вам. Передайте мой привет вашей семье. Мои дамы от всего сердца желают вам всякого благополучия.

Искренно уважающий Вас,
Всеволод Блюменталь-Тамарин.

«Это письмо опять застряло. Это замечательно. Опять был потерян Ваш адрес на месяц с лишним. И опять обретен.

Я сейчас в ужасном волнении: тяжело ранен мой родной племянник Игорь — доброволец. Ранен в боях с американцами. Чудесный юноша.

Мучаюсь я неизвестностью страшно. Жду вестей.

Ну, да хранит Вас Бог. В.Б.Т.

Кенигсберг, 18-6-44».

* * *

Художник незамедлительно ответил артисту, сообщив подробно обо всём пережитом за три года, о всех этапах путешествия, о всех приключениях, горестях, маленьких радостях и надеждах. В письме вспоминался поселок НИЛ, дружеские встречи в недавнем прошлом, красота русской природы, сейчас залитой кровью, заваленной осколками снарядов, обезображенной траншеями, блиндажами, проволочными заграждениями.

Высоко вдохновенными строками ответил на это артист.

«Ваше письмо, дорогой мой Михаил Иванович, лежит на постели моей, которую я уже 16 дней не покидаю, так как слаб и беспомощен, как ребенок. Я смотрю на строки Ваши и в душе моей встают воспоминания...

Летний, радостный, звенящий полдень. Наша долина, прорезанная быстрой Мокрушей, несущей свои прозрачные, сверкающие на солнце, серебряные струи, среди ив и лозняка, разомлела под летним палящим угревом. Легкокрылые, то, как сапфир, то, как изумруд, стрекозы, как бы замирая от восторга, парят почти над самыми, буйно несущимися водами, по желтому песочку дна, по которому стрелами проносятся радующиеся бытию малюсенькие рыбешки.

«Струи бормочут свою извечную, непонятную нам, но полную великого скрытого смысла, песню. На «Нильских» холмах, древнейших свидетелях ледникового периода, сгрудились, как бы в мечтаниях о великом прошлом, и грезят столетние дубы и липы, контрастируя со сверкающей яркой зеленью речной долины, а впереди, как видение града Китежа, из-за окаймленных соснами, белых стен и вонзившихся в небо легких стройных башен, глядится чудо Растрелли — монастырь Нового Иерусалима. Как сказочная индийская пагода, со своими ярусами стремящихся в высь куполов, несказанной красотой своей приковывает она отвыкшее от чудес человеческое око и нет сил оторваться от этого могучего сочетания бездонной выси, торжествующего солнца, уходящих вдаль синеющих лесов и величия человеческого гения, рассказавшего немыслимую сказку жалким, грязным, жестоким полузверям, полулюдям.

«И нет уже больше этого чуда Растрелли... Проклятые жерла выплюнули раскаленную сталь в божественное лицо грёзы и пошли дальше творить свое страшное дело, служа смерти и позору, бесчестия в тысячелетиях обезумевшее человечество.

«Была Атлантида. Искусство её по немногим выбрасываемым кусочкам мрамора, остаткам портиков, энтаблементов и колонн, было прекрасно, но его разрушили гневные воды мстительного Океана. Разрушила стихия. Мы же с Вами свидетели того, как те же, кто с Бедекерами в руках непрерывной толпой, испуская звуки стереотипного восторга, заполняли собой музеи Европы, громят сейчас Монте-Кассино, галерею Уффици во Флоренции, бессмертные фрески Буанаротти и Рафаэля.

Тысячелетия бессонного, вдохновенного, гениального труда бесценной кисти и резца взлетают в бушующих тучах раздробленного мрамора, смешанного с гарью и кровью человеческих размолотых тел. Это ли не трагифарс, самый похабный, который только мог породить иступленный мозг безумца из лупанария, зловонного дна — предела падения Духа и Чести? Нет, не могу спокойно диктовать... Бешенство охватывает меня, бессилие бешенства, не видящего исхода растущему безумию.

«Сообщаю Вам, прекрасный мой и далекий Друг, причину нахождения моего в постели: 19-го июля на меня было произведено покушение. Ночью, когда я выходил после банкета с добровольцами, устроенного «богоугодным заведением», где я работаю, на меня напали двое: один из них советский летчик — агент большевиков, как выясняется, Владимир Унишевский, другой — его помощник в деле покушения на убийство еще неизвестен.

«Ударом чем-то тупым (может быть кастетом) сзади, по голове, около сонной артерии, они сразу же лишили меня сознания, а затем стали бить по виску, проломив мне надбровье и нижнюю челюсть.

«Пролежал я без сознания 6 часов, а самое главное, потерял массу крови, больше двух литров. Унишевский заявил, что он еще в Берлине хотел это сделать, так как ему «надоело мое кликушество по радио». Но... я еще живу на страх врагам. Сейчас мне уже лучше, хотя есть частичное сотрясение мозга. Не беда... я жду этого каждый день и уже не боюсь смерти. Я им кричу: «Не убьете, мерзавцы, идеи, хотя можете убить меня! Придут другие честные на смену мне!»

Ну, Бог с ними. Жаль, что убийца скрылся под формой добровольца, которым я отдаю сейчас всю мою жизнь: пишу для них стихи, доклады и выступаю с моими политическими поэмами, главным образом, моей «Москвой», поэмой, над которой я работал тайно 15 лет (теперь уже 18).

«Судьба продолжает искушать меня: на днях был тяжело, почти смертельно ранен, наша последняя надежда, наш приемный сын (родной племянник моей жены, сын её брата Льва Лащилина) Игорь. Он чудом бежал из штрафного батальона. Он был сержант красной армии и ударил на Тверской, в пивной «Бар», лейтенанта-партийца, который в пьяном виде ударил его. Игорь (боксер, взявший первый приз в Ленинграде, на красноармейской спартакиаде) ударом сломал лейтенанту челюсть и... получил «штрафной батальон», откуда, зная, что я в Германии, бежал к немцам и чудом спасся. Здесь он по собственному почину пошел в добровольческую армию, принимал участие в боях за Карантен в Нормандии и тяжело,

почти смертельно ранен, но, кажется, выживет... Плачу я о нем ежесекундно — я построил на нем нашу, как мне казалось, будущую жизнь. Но если и выживет, то... калека а ему 25 лет.

—Моя жизнь тоже на волоске... Я, Михаил Иванович, нелепый, старый Дон Кихот, всю жизнь дрался с мельницами и был предельно честен в своих убеждениях, которые пронес неизменными на протяжении всей моей романтической жизни, как дешевый, бульварный, французский роман. Кому я нужен сейчас? Разве убийцам?.. Я пел мои честные песни для глухих, пел, как мог, но всегда — всем сердцем моим.

«Я мог у большевиков (если бы был чуть-чуть немного подл) быть на щите, быть «трибуном», их «знаменем». Но я не Качалов, пяток убийц лизать не хотел. Я бросил всё, как и Вы, мой дорогой, что имел ценного: моё имя, труд, имущество и ушел по мерзлым дорогам в Смерть, в неизвестность, с двумя слабыми, любящими меня, женщинами. Я стал бороться здесь открыто, под полным своим именем, не прячась под псевдонимами. За всю эту мою работу, при риске головой, я получил от немцев за три года моего пребывания здесь (почти три года) одну зеленую дневную рубашку по «бецугшайну» — это факт, чистейшая правда и эта правда — моя огромная гордость. Я не торгую своими убеждениями и работаю с немцами, пока они бьются против большевиков. В этом я с ними связан неразрывно. Их ошибки печальны, но в основном, то-есть, в борьбе с большевиками — они безупречно правы и я иду с ними, как один из верных солдат, потому что большевики убили мою Родину, растлили её душу и я, пока живу, буду биться с ними. Мое оружие — мое слово и перо моё. К сожалению, то, в чем я более всего силен — мое непосредственное призвание, мой актерский дар, лежит втуне и здесь не нужен.

Я, несмотря на присутствие во мне трех четвертей германской крови (мой дед Эдуард, художник-миниатюрист, чистокровный немец, да и я до тридцати пяти лет своей жизни был... германским подданным), как это ни странно, не говорю по-немецки, при чем не знал по-не-

мецки ни одного слова и в детстве, и к тому же — православный.

«Мать моя, урожденная Климова, дочь крепостного крестьянина, и она передала мне и русскую душу, и безграничную любовь к России, которую я впитал в себе безраздельно и которой живу и страдаю до сих пор.

«Сейчас я не принимаю германского подданства только потому, что, приняв его, я потеряю силу моей пропаганды против большевиков, чтобы не дать им возможности говорить: «Ну, конечно, немец, германский подданный, поэтому так и бьется за немцев».

«Ну, довольно обо мне. Я очень порадовался бодрости Вашего письма, его необычайной сердечности. На меня так и пахнуло Родиной, её полями и лесами, которые я вижу в моих снах. Да сохранит Вас, милый друг и земляк, Господь Бог и да поможет Он Вам во всех начинаниях Ваших. Никогда вера в Бога не была так сильна во мне, как сейчас. Ваш дядя, Архиепископ Тихон,* пусть будет примером для вас.

«С какой бы радостью я посетил бы его в монастыре и пробыл бы там столько, сколько это разрешается по уставу.

*) Архиепископ Тихон — ректор Киевской Духовной Академии, в миру — Тимофей Иванович Лященко, высоко-образованный. Ушел из Киева с дочерью Зинаидой. Был членом Заграничного Синода. До 1937 года возглавлял всю Церковь в Германии. В 1937 году церковная власть перешла к митрополиту Серафиму (немцу). Архиепископ Тихон покинул Германию, переехав в Югославию, в монастырь «Раковица», около Белграда.

Когда подходили большевики, эвакуировался в Вену с митрополитом Анастасием. Сын художника Черкашенинова учась в Венской Академии, часто навещал архиепископа Тихона. Дочь Зинаида жила в Праге. 22 февраля, 1945 года архиепископ Тихон скончался на руках у митрополита Анастасия. Немцы не дали пропуска дочери Зинаиде на похороны отца в Карлсбаде.

«Россия погибла, растоптав веру свою, тот нравственный кодекс, который сдерживал наследие народа русского его татарщину, неистребимую жажду уничтожения номадом-кочевником всего, на чем лежала печать какой-либо культуры, хотя бы такой, какую принесла Византия в православии, в его канонах, обрядах, архитектуре церквей, иконографии. Не случайно воинствующий коммунизм ударил сразу по религии: он знал, что бьет в сердце народа. Вот почему (простите меня за смелость совета): оставьте Альпы, пишите Русь, её пейзажи, её церквушки, монастыри и скиты... Сейчас это необходимо, как дыхание. Пробуждайте в русском народе забытые картины его великой истории. Добровольцам это необходимо — они ничего не знают и плохо помнят. Вот задача такого художника, как Вы, такой кисти, как Ваша. Вы художник-гражданин, ушедший в добровольное изгнание, чтобы биться за правое дело.

«Я написал за это время поэму «Святитель», посвященную легенде о Святом Николае из Мир Ликийских и Святом Касьяне. Если меня не убьют, на этих днях, постараюсь прислать Вам несколько глав, а Вы перешлите, прочитав, дядюшке Вашему с моим земным поклоном.

«Простите меня за непрошенный совет, но это говорило сердце моё и хочу верить, что не обиделись на меня.

«Если можно, пришлите мне эскиз «НИЛА» Вашей работы — обрадуется меня несказанно. Возьмите с меня по-дружески недорого, ибо насчет «презренного металла» у меня пока не густо. Но предупреждаю: даром не приму и pošлю обратно... обливаясь слезами. Умоляю Вас, дорогой Михаил Иванович, не поставьте меня в необходимость — послать эскиз обратно, повторяю, скромная сумма нас не разорит, но у меня будет сознание, что я не эксплуатировал дружбы большого мастера и рыцаря, да еще на чужбине, где его картины, буквально, хлеб насущный.

«Поклонитесь от меня супруге Вашей. Театр Корепанова помню, как и буйную молодость мою. Привет Вашим сожителям, дорогим сердцу мученикам харьковчанам. Пишите мне почаще. Привет сыну Вашему и просьба

к нему — помнить в его работах о несчастном народе нашем и его духовном оскудении.

Ваш Всеволод Блюменталь-Тамарин. Мои шлют Вам и жене Вашей свои лучшие пожелания. Кенигсберг 5-7-44.»

* * *

Как видно из писем артиста, жизнь его в Германии была не сладкой. За ним следили, на него покушались. Ко всем личным лишениям, невзгодам и тревогам присоединялась скорбь за Родину. В начале войны была надежда на освобождение России при содействии немцев. Переезд в Германию был подсказан патриотическими соображениями: отсюда, при помощи радио он будет громить ненавистный большевизм, помогая прозревать всем колеблющимся, сомневающимся, незнакомым с его практикой массового уничтожения всех инакомыслящих.

После немецкой катастрофы под Сталинградом в надежде на освобождение появилась глубокая трещина. Инициатива перешла в руки красного командования. Немецкие армии на всех фронтах отступали. В тылу Германии неприятельские налеты уничтожали все жизненные ресурсы страны. Немецкая авиация, такая грозная в начале войны, теперь, за неимением горючего, выбывала из строя.

Огненное кольцо вокруг стран «Оси» всё больше суживалось. Гитлер еще храбрился: «Я прошу Провидение простить меня за три последних дня войны». Это был намёк на какое-то страшное оружие, которое готовила Германия. Но в бахвальство фюрера теперь почти никто не верил. Сомневался в нем и Блюменталь-Тамарин. Высадка союзников в Нормандии приближала агонию. У многих русских была еще надежда на Власовскую армию, но немецкое командование преступно медлило с её легализацией. Неудачи и роковые ошибки Германии всё больше сбавляли тон радио-передач под руководством Блюменталь-Тамарина. Кенигсберг, далекий от фронта в первые годы войны, теперь становился прифронтовым городом. Нужно было подумывать об эвакуации на запад.

Равнодушный к театру в 1942-1943 годах, теперь Блюменталь-Тамарин снова воодушевляется, как режиссер-

постановщик. Вернувшись в Берлин, он создает при Винете свою труппу для «остовских» лагерей.

Винета объединяла все артистические силы с Востока. Многочисленные концертные группы обслуживали русскую молодежь в рабочих лагерях, рассеянных по всем странам, оккупированным Германией. Концертанты посещали Францию, Италию, Данию, Норвегию, Балканы. Лучшие артистические силы посылались в прифронтовую полосу. Немало русских артистов погибло от налетов союзной авиации. Одна из лучших концертных групп, направляясь во Францию, была уничтожена в поезде.

Каждая концертная программа и каждый спектакль просматривались специальной комиссией. Всё слабое и нехудожественное не допускалось на подмостки.

Я присутствовал на просмотре программы, приготовленной Блюменталь-Тамариным. Она состояла из нескольких драматических картин. Комиссия вынесла отрицательный отзыв о спектакле: грубый натурализм коробил, отталкивал. На сцене показывались трупы убитых солдат, отдельные части тела, разбросанные бомбами. Участники спектакля говорили с неестественным пафосом.

— Неужели это работа Всеволода Александровича? — спрашивали многие друг друга, — что стало с большим артистом и режиссером? Он утратил художественное чутье, вкус... Как видно, трехлетние выступления по радио в роли неутомимого пропагандиста-мстителя не прошли даром: они убили в человеке строгость, требовательность к себе, и вот теперь он преподносит грубый лубок вместо искусства.

Поэму «Москва» слышали многие: автор читал её друзьям-актерам, знакомым и не один раз добровольцам — «Власовцам». Мастерство чтения волновало, но сама идея произведения многих обижала: по мнению автора на Руси и в России был всегда перевес отрицательного, страшного, разбойного. Русские правители и русский народ всегда злоупотребляли кровопусканием.

Мы зарубочку поставим,
Мы головушек посбавим
На святой Руси.

Это строки из поэмы.

— Россия дала не только Иоанна Грозного, «Слово и дело», стрельцов, Степана Разина и Емельяна Пугачева, но и Ломоносова, Пушкина, Толстого, Достоевского и множество других гениев во всех сферах жизни, — говорили слушатели.

Отрицательные отзывы о большом произведении волновали артиста, привыкшего в продолжение всей карьеры к восторгам публики и критики.

* * *

«Без вины виноватые», «Женитьба Белугина», «Кин», «Гамлет», «Царь Эдип» — любимые пьесы Народно-Героического Театра под руководством Блюменталь-Тамарина.

Блестящие внешние данные — высокий рост, величественная осанка, правильные черты лица, бархатистый голос, изумительная дикция — создали славу артисту. По своей натуре это был щедрый, с широкой душой аристократ. Прирожденный дух свободолюбия не был сломлен страшным режимом слежки, доносов, уничтожения. Артист не пошел на поклон к диктаторам Кремля, не воспользовался связями.

Его мать, Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, была народной артисткой республики, орденосцем. В многочисленных фильмах и пьесах она играла благородных женщин, добрых матерей. Её любили не только зрители, но и власть имущие. Достаточно было бы одного её слова, чтобы независимого, честного сына облакали вниманием правительственные верхи. Но сын не хотел заступничества матери. Это был вечный странник. Он исколесил всю Россию, играл в губернских, уездных, курортных театрах. Это был подлинно народный артист: простому зрителю нес он свой талант — рабочим, служащим, крестьянам, учащейся провинциальной молодежи. Большая часть его жизни прошла в поездках, в дешевых номерах скверных гостиниц с клопами, плесенью, тараканами. Но все эти лишения не угасили его любви к Родине, к русскому народу. Им он служил со всем пылом своей искренности. Родине и народу хотел он свободы. Покидая поселок НИЛ, он жертвовал своим спокойствием, своей жизнью и материальным благополу-

чием ради горячо любимой Отчизны.

Можно понять страдания человека, потерявшего всё в результате безумной политики германского правительства. Советский режим не только не свергнут, но даже укрепил свои позиции. Значит, о свободе Родины не нечего мечтать, значить, Родины не видать, значит, на закате жизни надо прятаться от победителей, которые не простят всем тем, кто громил тиранов огненным словом в продолжение нескольких лет.

* * *

Мюнсинген — небольшой городок неподалеку от Ульма. В мюнсингенском лагере были артисты, музыканты, певцы. В этом районе с февраля 1945 года формировалась армия РОА.

Владимир Маше, француз по происхождению, не знавший ни одного французского слова, руководил в лагере джазом. По натуре это был глубоко русский человек: шутник, рубаха-парень, остроумный, любивший выпить в компании. Талант его был разносторонним: он хорошо пел, играл на балалайке, цитре, гавайской гитаре, рисовал. С Блюменталь-Тамариным был знаком давно. Вот как он рассказывал о своем знакомстве.

— Дело было осенью 1937 года. Я сидел за одним из столиков в гостинице «Националь» в обществе драматурга Корнейчука, Александра Фадеева, киноартистки Любви Орловой, кинорежиссера Александрова. Вошел высокий, красивый, холеный шатен. Волнистые волосы. Темно-серый костюм в полоску. Держится непринужденно. Проходя мимо нашего столика, сдержанно-солидно, с достоинством поклонился. Все ответили на поклон. Я тихонько спросил:

— Кто это?

— Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин, один из лучших Гамлетов мира, — ответила Любовь Орлова.

Официантки услужливо подбежали к артисту, указывая на свободные столы. Он занял столик в углу. Попросил водки. Мои приятели собирались уходить. Я решил остаться. Написал записку: «Многоуважаемый Всеволод Александрович, не сочтите нахальством мое обращение

к Вам. Очень бы хотелось поговорить с Вами по очень важному делу. Если можно, разрешите подойти к Вашему столику». Записку передал через официантку. В ответной записке было написано: «К Вашим услугам Б.Т.»

Подошел не без волнения: ведь это человек с большим именем, а я только мечтаю об артистической карьере.

— Мое имя — Владимир Маше.

— Француз?

— Да.

— Но так прекрасно говорите по-русски.

— От французского у меня осталась только фамилия. Мой отец в семнадцатилетнем возрасте переселился в Россию, женился на русской. В Петербурге имел кожевенную и стеклянную фабрики. Теперь раскулачен, сослан. Я даже не переписываюсь со своими родителями и не знаю, что с ними стало. Двери вузов для меня закрыты. Я мог бы стать руководителем джаз-оркестра, но для этого мне нужно сдать экзамены по некоторым предметам, как например: «Техника речи», «История искусств» и т.д.

— Разрешите задать вам один вопрос. Вы хотите стать артистом. Но любите ли вы сцену? Или вас толкает в эту сферу безвыходность?

— Я благодарен судьбе за то, что лишив меня всех удобств и покоя в связи с раскулачиванием родителей, она приводит меня к искусству.

— Вы мне нравитесь: я чувствую в вас искренность. Сейчас, к сожалению, я не могу долго разговаривать с вами, но вот вам список книг, которые необходимо прочесть.

Протянув мне листок бумаги, артист попрощался. Своего адреса не дал. О желании встретиться ничего не сказал. Тогда мне показалось, что он просто хотел поскорее отделаться от случайного знакомого.

Книги я купил, прочел их с вниманием. Экзамены сдал. Однажды в компании певцов и музыкантов сидел в ресторане: «Савой». Я пел уже в джазах Цфасмана, Варламова, Скоморовского. Шли разговоры о моем са-

мостоятельном руководстве.

Джаз в «Савое» начинал играть с 10 вечера. Меня уговорили спеть. Согласился. Как раз в тот момент, когда я поднялся на эстраду, в ресторан вошел Блюменталь-Тамарин. Когда я спел и вернулся к столику, Всеволод Александрович подошел ко мне с радостным лицом.

— Володя! Очень рад встретиться! Что ж вы не сказали мне при первой встрече, что поете? Вы были чересчур скромны. Поете вы хорошо, с душой, а душа у актера — самый ценный клад.

После этого было много встреч с Всеволодом Александровичем. Он снабжал меня книгами, учил хорошим манерам. В 1938 году я стал руководителем собственного джаза из 24 человек. В июне 1941 года мы отправились на гастроли в Житомир. Прибыли 21-го вечером. 22-го должно было состояться наше первое выступление, но рано утром началась война.

Уехать на восток мы уже не могли. В тот же день город был занят неприятельскими войсками. Немецким командованием был отдан приказ: всем мужчинам до определенного возраста — зарегистрироваться. Мы пришли на регистрацию всем джазом. Среди нас было шестеро евреев. Нас вывели во двор для определения национальности. Евреев тут же отделили. Вечером нам предложили придти в канину и выступить перед офицерами. Пришли. Под конвоем были приведены участники нашего джаза — евреи. Мы играли и пели, а на душе скребли кошки: в какую ловушку мы попали! Немцы были в восторге. Офицеры показывали пальцами на евреев. Мы слышали, как один сказал: «Надо отделить».

В антракте я по неосторожности громко посоветовал товарищам евреям бежать, не дожидаясь окончания концерта. Возле меня стоял переводчик. Он сразу же сообщил о моем разговоре с товарищами командованию. Меня вызвали в отдельную комнату, избили до полусмерти, бросили в грузовую машину и в тот же вечер увезли в лес, где был расположен штрафной батальон. Так неожиданно, на несколько лет, прервалась моя артистическая карьера. Балалайку и цитру у меня не отняли, но играть на них было некогда: штрафники почти без отды-

ха, днем и ночью, работали по починке разбомбленных дорог. И так почти в продолжение всей войны.

Только с февраля 1945 года, когда начала формироваться Власовская армия, нас перестали гонять на работу. К этому времени у меня в лагере уже был свой оркестр. Однажды приходит офицер РОА и просит меня поиграть и попеть вечером для освободительной армии.

Перед вечером поехали к «Власовцам». Когда оркестр расположился полукругом и я приготовился взмахнуть рукою, как дирижёр, неожиданно вошел Всеволод Александрович. Забыв обо всем на свете, я подбежал к нему. Обнялись, расцеловались, прослезились: ведь мы не встречались более пяти лет и вот где судьба снова свела нас.

— Где вы теперь, Володя, обитаете?

— В лагере военнопленных.

— Почему военнопленных? Разве вы были в армии?

— Об этом долго рассказывать... А где вы?

— Неподалеку отсюда, на привате, — как говорят русские.

С особенным воодушевлением дирижировал я в тот вечер: ведь на меня смотрел тот, кто первый дал мне много добрых советов на артистическом поприще. Четыре года я был только штрафником. Мои пальцы огрубели от тяжелой физической работы. Лишь недавно, чуя приближение своего конца, немецкое командование стало не таким строгим в отношении меня и мне подобных. Мне даже разрешили организовать оркестр, разрешили выступать. Я женился на певице-беженке. Жизнь казалась сновидением, увлекательным приключенческим романом.

Когда я пел: «Ты жива еще моя старушка, жив и я, привет тебе, привет», Всеволод Александрович низко наклонился. Я видел, как крупные слезы падали на его колени. Глядя на него, я сам еле удерживался от слез. В густых волосах артиста сверкало много серебряных нитей, весь его облик стал другим. Это был уже не тот, с которым я повстречался в «Национале» и в «Савое». Тогда чувствовалось, что у человека есть крылья. Пусть советский режим мешал высоким взлетам в сфере искусства, но он не запрещал большому артисту делать свое люби-

мое дело, разъезжать по стране, выступать перед народными массами. Всё это невозможно в побежденной Германии. Мечты разлетелись, как пушинки одуванчика. Крылья подрезаны.

По окончании концерта он рассказал, что живет неподалеку отсюда, в немецком домике. С ним жена, дочь и усыновленный племянник, Игорь Лащилин, тот самый, который после избиения партийца-лейтенанта в московском «Баре» бежал на Запад, вступил в немецкую армию, сражался на западном фронте, был тяжело ранен, но теперь, слава Богу, совершенно поправился. — Это моя последняя надежда, моя радость, мой покров и щит, — говорил Всеволод Александрович, — ему одному я открываю все свои заветные тайны. Что будет с нами по окончании войны? Я слышал по радио о результатах Ялтинского соглашения. Сталин требует нашей выдачи, но мы живыми в руки палачей не дадимся. Игорь за меня свернет головы многим палачам.

— У него кто-нибудь остался в СССР?

— Жена и мальчик.

— Вероятно, его потянет на родину?

— Когда на этой родине задает тон узколобый кремлевский тиран? О, нет, Игорь не настолько глуп.

Было что-то болезненно преувеличенное в этих надеждах на усыновленного племянника. Всеволод Александрович хотел спрятаться за него, как за каменную гору.

* * *

3 мая 1945 года в Мюнсинген вступили американские войска. На территорию лагеря военнопленных стремительно влетели три танка. На разных языках раздались приветствия освободителям. Лагерь украсился флагами всех национальностей. Появились и красные флаги с серпом и молотом.

К Владимиру Маше поспешила жена. Оба радовались:

— Теперь можем жить вместе! Конец немецкому владычеству!

В тот же день к ним пришел Блюменталь-Тамарин. Он был в шубе и в шапке: его знобило. Он не разделял общей радости по случаю вступления американских

войск. Маше предложил ему снять шубу и присесть к столу. Выпили. Закусили. Жена Маше попросила гостя спеть. Довольно охотно он исполнил «Очи черные». Аккомпанировал на цитре Маше. Каждому хотелось поделиться пережитым за последние годы. У каждого позади были страдания. Будущее пугало неизвестностью. Уходя домой, артист сказал:

— Володя, пойдем, покажу где мы живем. Может быть заглянешь когда-нибудь?

Маше вышел не без страха: впервые за несколько лет он идет без сопровождения часовых... Не верилось такому счастью. Лагерь был в ложине, в лесу, а неподалеку, на горе, лепились стандартные аккуратные домики.

— Видишь, Володя, вон тот домик, второй от края, справа? Это наша обитель. А вон там слева — серый обрыв. Это карьер. Над ним сосна. Видишь? Возле этой сосны я хочу поставить большой деревянный крест. Буду ходить туда по утрам и молиться... Молиться за Россию. Её крестный путь еще не завершен, «победа» куплена ценою крови многих миллионов. А сколько разрушений, сколько калек, сирот, какое безграничное и бездонное море слез и страданий... А мы здесь — беспомощные, лишние, никому не нужные... Все ликуют, но я не могу разделить этого ликования

— У вас очень мрачные мысли, Всеволод Александрович.

— Милый мой друг, могу ли я мыслить радостно? всю жизнь я питал людей духовно, приобщая их к миру искусства и красоты. Я парил орлом, а сейчас превратился в ошипанного, бескрылого петуха...

* * *

В четырех километрах от Мюнсингена был организован репатриационный лагерь. На воротах лагеря было прикреплено красное полотнище с белыми буквами: «Родина-Мать ждет тебя». Ежедневно из окрестных островских лагерей туда привозили желающих вернуться домой. Начальником лагеря был назначен Спиров, родной брат жены Энритона, того самого Энритона, который задавал тон в Берлинской Винете, когда она под своей кровлей собрала сотни артистов-беженцев из СССР. Спи-

ров служил в Винете в качестве «технического сотрудника». Теперь, когда его увидели в форме НКВД, распоряжающимся судьбами тысяч русских людей, многим стало страшно за прошлое: «Еще так недавно, встречаясь с этим человеком, мы проклинали советскую власть, совершенно не подозревая, что он — её агент».

Только теперь, задним числом, многие узнали, как много советских шпионов работало в Винете.

С первого дня возникновения репатриационного лагеря в нем проводил время усыновленный племянник Блюменталь-Тамарина, Игорь Лащилин. Для многих это было совершенно непонятно. У всех в памяти были пламенные выступления артиста по радио против Сталина, большевизма, мирового коммунизма. Знали многие, что Игорь сражался в рядах немецкой армии против американцев, что он свернул челюсть красному комиссару. А вот теперь этот человек почему-то завел дружбу с коммунистами и целыми днями околачивается в их лагере. Что это значит? Многие давали понять артисту, что связь его племянника с чекистами не доведет до добра.

— Он вынюхивает, что там говорят обо мне, чтобы в нужный момент предупредить об опасности, — наивно оправдывал племянника дядя, — я надеюсь на него больше, чем на себя.

Такое доверие вызывало тревогу у друзей Всеволода Александровича. Но растерявшийся от всех несчастий артист превратился в ребенка: он не видел того, что видели все. Минуты прозрения бывали очень редко. Так, на одной именинной вечеринке в честь артиста-друга Блюменталь-Тамарин сказал:

— Выпьем за то, чтобы среди нас не было предателей.

На последнем слове было сделано ударение. Среди гостей находился Игорь Лащилин. Тогда же, слегка подвыпив, дядя сказал племяннику:

— Хороший ты парень, Игорь, но ты же — кусок мяса.

В СССР Игорь Лащилин был инструктором бокса.

* * *

Однажды Маше медленно поднимался по склону хол-

ма, направляясь к Блюменталь-Тамарину. Подходя к дому, он увидел у окна артиста. Тот заметил гостя и стал призывно махать рукой:

— Скорей!

Маше, вбежав, приблизился к окну.

— Видишь этот закат? Давай постоим, посмотрим... Видишь край тучи? Горит золотом пурпуром, а сейчас будет тухнуть...

— Да, но что же в этом особенного, Всеволод Александрович?

— Молчи... гляди...

Вскоре солнце скрылось. Краски поблекли.

— Ну, вот все.

Обняв Маше, артист начал всхлипывать:

— Милый друг, ты видел, как ушло солнце и мы остались во мраке... Так же вот скоро погасну и я, уйду во тьму, в ночь.

— Сейчас не такое время... Опасность уже миновала.

Артист встрепенулся:

— Ты думаешь? С тобою и с Игорем мне хорошо... только на вас двоих у меня надежда... Для меня ясно одно: мне нельзя оставаться Блюменталь-Тамариным... Игорь крутится в советском лагере... Он ведь боксер, ничего не боится, ну, вот и вынюхивает, чем там пахнет.

— Не нравится мне это, Всеволод Александрович.

— Ты что-нибудь подозреваешь?

— Если Игорь «свой» в советском лагере, значит, это неспроста.

— Славный мой Володя, неужели ты допускаешь хоть на одно мгновение симпатию Игоря красным душителям? Я не мало пожил на свете, судьба сталкивала меня с тысячами людей. Поверь, что я подходил к ним не только лишь, как собутыльник. Нет, я изучал их. Каждый актер по необходимости психолог. И вот, как психолог, заявляю тебе со всей категоричностью: я не подозреваю Игоря ни в чем коварном, я верю ему, я надеюсь на него.

— Вы любите его?

— Да, как только отец может любить сына.

— Но разве вы не знаете случаев, когда любовь осле-

пляет рассудок? В настоящее время для вас страшнее всего слепота.

— Стоп! На этом прекращаем разговор об Игоре, иначе, чего доброго, можем поссориться, а я не хочу терять тебя на чужбине.

— Кстати, где Игорь в настоящее время?

— Ну, там, конечно, но это ничего не значит. Он там кое-что обменивает, кое к кому втирается в дружбу для уяснения ситуации. Только привязанность ко мне заставляет его проводить целые дни в лагере красных. Ночью он возвращается домой, как мой верный телохранитель. Его спальня рядом с нашей. В случае нападения на нас, он раскидает всех, как Самсон.

— Поздно он возвращается домой?

— Иногда около 12 ночи.

— Но ведь в такое время запрещено всякое передвижение по улицам.

— У него специальный пропуск. В ожидании его мы, конечно, не спим. Вчера он сказал, что никто не собирается увозить меня в Советский Союз.

— Документы на другое имя вам можно достать через Юрьева или через его представителя. Я поговорю с ними о вас.

— По этому случаю не мешало бы достать водки.

— В одном месте есть самогон.

— Всё равно.

Маше пошел добывать самогон. На улице встретился со знакомым. Закинул удочку насчет документа для Блюменталь-Тамарина. Тот сказал, что неподалеку отсюда обосновался поляк, имеющий печать и бланки паспортов. За золото или что-нибудь «существенное» он может приготовить паспорт. Кажется это стоит три золотых десятки.

Маше достал только полбутылки самогона, но это был «первач», как поклялся шинкарь. Подойдя к дому артиста, Маше заметил на песке след велосипеда, которого не было полчаса назад. «Уж не Игорь ли нагрязнул из советского лагеря?» ...Постучал в дверь.

— Входи, Володя, без церемоний.

В комнате, кроме хозяина, находился молодой человек атлетического сложения, выше среднего роста, шатен с черными колючими глазами, с неправильным лицом. На вошедшего уставился с неприязнью.

— Ну, что у тебя хорошего для меня? Познакомься: это мой сын Игорь.

С тяжелым чувством Маше протянул руку боксеру.

— Только что говорил о вас с одним человеком. Паспорт вам сделают в два счета, но...

— Договаривай.

— Есть ли у вас золото?

— У меня есть бриллиантовое кольцо и золотые часы.

— Получив паспорт, постарайтесь переменить местожительства, уезжайте подальше от всяких лагерей.

Взгляд Маше остановился на безумном взгляде Игоря.

«Бедный Всеволод Александрович, — подумал Маше, — он не подозревает, что в его доме — ядовитая змея».

Маше ушел, не попрощавшись за руку, а только сделав общий поклон: неприятно было рукопожатие Игоря. На следующий день пришел снова. Игоря не было.

— Где ваш «сын?»

— А что такое?

— Почему он вчера посмотрел на меня так свирепо, когда я говорил о паспорте и о том, что вам нужно переселиться отсюда?

— Не обращай на это внимания, он просто немножко ревнует меня к тебе.

— Завтра я постараюсь привести к вам представителя от Юрьева.

— Спасибо, Володя. Мог ли я думать семь лет тому назад, при первой нашей встрече в «Национале», что ты примешь в моей судьбе такое горячее участие? Когда-то я давал тебе советы, какие нужно прочесть книги, чтобы стать руководителем джаза, а теперь буду просить тебя: пристрой меня в качестве какого-нибудь дударя или барабанщика в твоём оркестре, чтобы только уехать отсюда.

— Сделаю всё, что можно. Вы будете выступать в нашем джазе, как певец-солист.

Горько улыбнувшись, Всеволод Александрович с дрожью в голосе пропел:

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда:
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда.

На прощанье Маше спросил:

Почему я никогда не вижу ни Инны Александровны, ни Тамары?

— Волков ноги кормят, дружок: ходят по бауэрам, добывая пропитание, хлопочут по хозяйству. Мне высовывать нос из дому не безопасно, ну, вот и домоседничаю, а они бедняжки в вечных заботах и хлопотах.

* * *

Бывший лагерь для военнопленных в Мюнсингене теперь был заселен беженцами. Здесь нашли приют многие артисты, певцы и музыканты из Винеты. Среди них был талантливый артист Московского театра имени Ермоловой Саедов. Он знал Блюменталь-Тамарина еще по Москве, был в хороших отношениях с женой и дочерью. Знаком был и с Игорем. У боксера не было неприязни к Саедову, может быть потому, что Саедов всем говорил (по тактическим соображениям) о своем намерении вернуться на родину.

На следующий день после встречи с Маше в квартире Блюменталь-Тамарина Игорь отправился к Саедову. Зная что от него, как завсегдатая репатриационного лагеря, многие будут шарахаться, он вызвал Саедова в нейтральное место — на улицу. Саедов не заставил себя ждать. Оба, встретясь, не знали о чем говорить.

— Что за экстренность, Игорь? — спросил вызванный.

— Особой экстренности нет, просто хотелось поговорить, — замялся Игорь.

— О чем-нибудь секретном?

— О, нет... Вы очень скучаете по Москве, Сергей Иванович?

Игорь сделал ударение на слове «Очень».

— Я не могу не скучать по Москве, Игорь: там у меня жена, родственники, любимая работа.

— Я тоже скучаю: в Москве остались жена и сынишка.

— Что вас заставило убежать в Европу?

— Боялся, что расстреляют: ведь я избил до полусмерти партийца комиссара.

— А что заставило вас пойти добровольцем в немецкую армию?

— Я был уверен, что Германия победит весь мир. Мне хотелось ускорить эту победу своим участием. По окончании войны я рассчитывал на внимание к себе со стороны победителей. Я не сомневался, что вернусь в Россию с каким-либо орденом германского правительства. Отмеченный наградой я зажил бы припеваючи в стране, освобожденной от большевиков. Может быть я бы даже стал министром спорта. Но, увы, всё сложилось по иному: я поставил не на ту карту. Не скрою: меня подвел Блюменталь-Тамарин. Если бы он не убежал в Германию, я держал бы себя осторожнее в СССР. Я бы может быть не наскочил на комиссара, не своротил ему челюсти. А когда я знал, что мой дядя в Германии, я мог драться без опаски: в случае чего всегда можно удрать.

— Вы сердитесь на Всеволода Александровича?

— Я считаю, что его выступления по радио были чересчур злобными.

— Что же вы думаете предпринять теперь?

— Не знаю... Хотел насчет этого посоветоваться с вами. Скажите: можем мы вернуться в СССР?

— Конечно, можем, но что нас ждет там после всего что мы натворили здесь? После нашего колаборанства с наци? Нет, Игорь, об этом нечего и думать: нас ждет на родине виселица.

— Вы так думаете? А мне говорили про вас...

— Знаю, что, — перебил Саедов, — не всякому слуху верьте.

— Я не согласен с вами, Сергей Иванович и вот почему. Советский Союз потерял в войне больше 20 миллионов убитыми и вдвое больше ранеными. Там теперь страшная нужда в кадрах. Зачем вешать людей, когда

они могут принести пользу?

— В лучшем случае, всех таких, как мы, закабалят в концентрационные лагеря.

— Ну, что же, пробудем в лагерях год, ну, два, в крайнем случае, три, но все же когда-нибудь увидим близких. Рано или поздно нам простят всю нашу заграничную подлость.

— Я что-то не помню случаев, чтобы в СССР миловали изменников, предателей, дезертиров.

— А может быть мы могли бы купить себе свободу каким-либо самоотверженным поступком?

— Например?

Игорь замаялся, смутился, покраснел.

— До свидания, Сергей Иванович, может быть никогда больше не увидимся.

— Почему? Твердо решили вернуться в СССР?

— Мало ли что может случиться, — уклончиво ответил боксер.

Когда Саедов протянул ему руку, он отвернул лицо в сторону: он не мог прямо глядеть в глаза своему собеседнику, совесть его была не чиста. Он был отягощен каким-то планом, он был захвачен одним желанием: вернуться любой ценою на родину.

* * *

Утром на следующий день Инна Александровна и Тамара пошли к бауэрам. Всеволод Александрович остался дома. В это время пришел Игорь. Хозяйка-немка слышала, как они шумно спорили. Дядя стучал кулаком по столу. Потом оба ушли в лес, в сторону обрыва, где Блюменталь-Тамарин мечтал поставить крест и где были спрятаны все его бумаги.

Мать с дочерью вернулись часа через полтора и приготовили завтрак.

— Иди, зовы их, — сказала Инна Александровна.

Тамара поспешила в лес.

— Ау, папа! Ау, Игорь! — громко звала она.

В это время, по другую сторону лагеря, на зеленой лужайке, лежал музыкант Валентин Спрогис. Послышался топот бегущего. Спрогис оглянулся. Бежал взволнованный, бледный Игорь Лащилин.

— Ты куда? — спросил удивленный музыкант.

Игорь опешил от неожиданности, махнул рукой и еще быстрее побежал в сторону советского лагеря. А Тамара всё бродила по лесу. На её зовы никто не откликнулся. Побежала к обрыву: может быть они оба там и собирают камни для подножия большого креста? В трех шагах от обрыва она увидела поверженного, окровавленного отца. С воплем ринулась обратно. Подбежав к дому, крикнула:

— Папа убит!

И полетела стрелой к месту убийства.

У Маше была репетиция джаза. Дверь распахнулась. Вбежал запыхавшийся артист Борис Щербаков:

— Ребята, убит Всеволод Александрович!

Побросав инструменты, все побежали к домику Блюменталь-Тамарина. На крылечке стонала Инна Александровна.

— Где? — задыхаясь, спросили прибежавшие.

— Идите туда... за ней... она знает, где он лежит... Ах, где же Игорек? Как его нехватает сейчас... он бы помог... он знает, что делать в таких случаях...

Вот что увидели прибежавшие в лес артисты джаза вместе с Маше. Блюменталь-Тамарин лежал вниз лицом, как будто спал. Когда наклонились, увидели струю крови из головы. Повернули тело лицом кверху. Потрогали пульс.

— Жив! — крикнул Маше.

Сбегали за одеялом. Понесли осторожно домой. Кровь не переставала сочиться, Маше перевязал голову. Вызвали доктора. Он сказал, что череп проломлен каким-то тупым орудием. Огнестрельных ран не было обнаружено.

Через несколько минут музыканты вернулись на место происшествия.

Для всех было ясно: убийству предшествовала борьба. Трава была сильно примята. В трех шагах от того места, где лежал Всеволод Александрович, нашли искусственную челюсть и отдельные зубы. Шагах в пятнадцати валялся пистолет. К обойме прилипли волосы. Один из патронов пистолета был пустым. Нашли прострелен-

ную веточку. Круча обрыва была в двух метрах от того места, где только что лежал убитый. Как видно, убийца тащил его, чтобы спихнуть в яму, но, услышав голос приближавшейся Тамары, не успел выполнить своего намерения.

— Чей пистолет? — спрашивали собравшиеся.

Тамара уверяла всех, что у Всеволода Александровича не было пистолета. Прибежал Спрогис.

— Что с Игорем? Сейчас я видел его бегущим по направлению к советскому лагерю.

— Он убил Блюменталь-Тамарина! — уверенно отчеканил Маше.

Когда друзья убитого исследовали место убийства, явилась комиссия из советского лагеря в составе трех человек. Возглавлял комиссию начальник лагеря Спиров, одетый в форму НКВД.

До лагеря было четыре километра. Невольно напрашивался вопрос:

— Кто сказал об убийстве Блюменталь-Тамарина? Почему комиссия прибыла так спешно к обрыву? Ответ мог быть только один: в советском лагере узнали об этом от убийцы, а убийцей был Игорь Лащилин. Спиров взял пистолет. Возможно, что этим пистолетом как раз он и снабдил убийцу. Комиссия составила протокол, «подозревая» в убийстве эсесовцев.

* * *

Неприходившего в сознание Блюменталь-Тамарина увезли в госпиталь. Советские репатриационные офицеры распустили слух, что все те, которые будут навещать артиста и содействовать его выздоровлению, будут ликвидированы. Доктор боялся делать операцию. Но его уговорили — не придавать значения советским угрозам. Голова пострадавшего была пробита в шести местах.

— Чем?

— Тупым предметом вроде обуха топора.

— Этим тупым предметом может быть рукоятка пистолета?

— Да.

Почему убийца не пристрелил свою жертву? Возможно, что в момент борьбы пистолет был уронен в

траву. А может быть убийце хотелось сделать это по-тише: выстрелы могли бы привлечь посторонних.

— Где зарыты все бумаги? — волновалась Инна Александровна.

Но об этом знали только Игорь и Всеволод Александрович. Вероятно, всё, что артист считал нужным сохранить для потомства, было спрятано неподалеку от обрыва, где предполагалось поставить крест. Среди спрятанных бумаг были две поэмы, статьи против большевиков, газетные вырезки, некоторые письма.

В госпитале, возле койки Блюменталь-Тамарина была поставленна кровать, на которой поочереды дежурили Инна Александровна и Тамара. В этой палате еще лежали два русских офицера. Всеволод Александрович почти не приходил в сознание. Доктор сказал:

— Сердце у раненого богатырское, но сильно поврежден мозг и потеряно много крови.

Умиравший часто просил пить. Придя в сознание, сказал:

— Инна, где Игорь? Хотел бы я теперь на него взглянуть!..

Инна Александровна только на третий день поверила, что убийца — Игорь. Он исчез после трагедии в лесу и больше не показывался. На второй день Борис Щербаков увидел его в советском лагере, в форме НКВД, в темных очках.

Сидя возле умиравшего, Инна Александровна думала о моральных страданиях мужа, жестоко избиваемого приемным сыном. Все надежды возлагались только на него. Только ему была доверена тайна хранения документов. В доме его считали телохранителем Всеволода Александровича, но этот телохранитель лелеял план убийства в надежде обрести злодеянием свободу на родине.

Какой страшный, мученический конец честного патриота! Он мечтал поставить большой крест на горе, чтобы возле него молиться за Россию. Он уже собрал много камней для его подножия. Но неподалеку от камней родной усыновленный племянник в шести местах проломил ему голову и пытался сбросить в глубокий ров.

На седьмой день Всеволод Александрович умер. Хоронили его на немецком кладбище Мюнсингена. В городе было другое кладбище — для военнопленных, где похоронено много русских.

— Кто примет участие в похоронах Блюменталь-Тамарина, тот будет убит, — грозили в репатриационном лагере. Это многих напугало. На похороны пришло не более 10 человек. Гроб, украшенный цветами, везли на катафалке. Когда прибыли на кладбище, могила еще не была готова. Ее копали в присутствии пришедших на похороны. В могиле нашли череп и кости.

— Как в «Гамлете», — заметил кто-то из присутствующих

Инна Александровна все время стояла на коленях возле гроба. В последний момент она пожелала, чтобы гроб открыли. Покойник лежал с повязкой на голове, в синем полосатом костюме.

— Где туфли? Почему он в чулках? — тихо спросила вдова у Саедова.

— Вероятно, их взял себе служащий морга, одевавший покойника. Ведь по немецким обычаям гроб на кладбище не открывают. Туфли были хорошие, лакированные, а с обувью в Германии кризис, вот он и решил: «Зачем добру гнить в могиле? Лучше я буду носить эти туфли на земле».

— Ну, Бог с ним, — примиренно сказала Инна Александровна.

На стене госпиталя лежавшие там русские сделали надпись:

«Здесь умер великий русский актер Блюменталь-Тамарин».

* * *

Вскоре после похорон Всеволода Александровича жена Маше Капитолина увидела неподалеку от того места, где произошло убийство, Спирова.

— Что вы тут делаете?

— Нужно кое-что взять.

Он пошел по дороге, направился в лесок, поднялся к тому месту, где были собраны камни. Капитолина издали наблюдала за ним. Через некоторое время он вышел из

леса с сильно раздувшимися карманами и торчавшими из них бумагами. Вероятно, все это было изъято по указаниям Игоря, который уже не выходил за стены репатриационного лагеря.

* * *

Когда Блюменталь-Тамарин лежал в госпитале, Инна Александровна пыталась узнать от него о всех обстоятельствах нападения на него. Ей хотелось знать от мужа, кто это сделал?

— Тебе это не даст радости, не будем к этому возвращаться, — отвечал умиравший. Он ни разу не обмолвился, что погибает от руки Игоря.

Вскоре после похорон Инна Александровна вместе с дочерью переехала в другое место.

Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ ЗНАЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

Василий Федорович Наседкин — талантливый поэт лирик и второй по безукоризненности стилист в прозе. Первое место по праву занимает Сергей Антонович Клычков. Оба по происхождению — крестьяне, но из множества советских писателей только они одни в совершенстве разбираются во всех тонкостях русского слова. Каждый начинающий писатель стремится дать им свою рукопись на исправление, соглашаясь уплатить требуемую сумму.

Причесанная Клычковым или Наседкиным рукопись непременно попадает в печать и не в какую-нибудь газету, а в ежемесячный толстый журнал.

Общая их черта — они оба ненавидят советскую власть.

Клычков в отрочестве был воспитанником Модеста Чайковского. Наседкин за две недели до самоубийства Сергея Есенина женился на его старшей сестре Катерине. Женильба была с расчетом: знаменитый поэт-родственник поможет ему пролезть на вершину Олимпа.

И тот и другой знают много антиправительственных анекдотов. Их эпиграммы по адресу советских бюрократов остры, как бритвы. Я встречаюсь и с тем и с другим: это мои друзья. В группу крестьянских поэтов входят так же Петр Орешин и Павел Радимов. Есенин — тоже крестьянин, но уж слишком знаменит и держится, как и Клюев, вне группы.

Собираясь вместе, мы читаем друг другу стихи и делимся новостями.

В СССР из Западной Европы бегут писатели-коммунисты. Советское правительство встречает их с распростертыми объятиями, дает каждому комфортабельную квартиру, предоставляет хорошо оплачиваемую работу. Все русские знают о писателях: Белла Иллеш, Мате Залка, Анатолий Гидаш, Александр Фоньо, Бруно Ясенский.

Василий Наседкин переделывает фамилии писателей-эмигрантов на свой лад. Вместо «Гидаш» он говорит «Гнидаш». Другие фамилии звучат неудобно пишущему.

Другой грех Наседкина: он знает истину о мавзолее, где лежит под стеклом Ленин. Первый мавзолей над трупом Ленина был деревянным. Его дно почти соприкасалось с канализационной трубой для стока нечистот. В один печальный день труба в стыке лопнула. Весь мавзолей был залит. Стеклопанельная крышка не могла защитить набальзамированного трупа. Пролетарская святыня стала разлагаться. Восстановить её в прежнем виде было невозможно. И тогда правительство решило построить новый мавзолей из мрамора, а вместо набальзамированного тела положить восковую голову и восковую руку.

Мавзолей надолго был закрыт. Разрыв канализационной трубы власть хранила в глубокой тайне. Архитектор первого мавзолея был ликвидирован. Все рабочие, которые извлекали труп из нечистот, как опасные свидетели, были тоже расстреляны. Новый мавзолей строился долго. Мотивировкой строительства было преклонение перед вождём: как можно допустить, чтобы тело такого человека покоилось в деревянном сооружении? Он достоин не только мрамора, но даже чистого золота.

В день открытия нового мавзолея очереди тянулись с утра до вечера через всю «Красную Площадь» в несколько рядов вплоть до берега Москвы-реки.

Голову, шею и правую руку из плотного воска мастерил крупный специалист. Он же пригонял эти части тела к остальному туловищу, сделанному из пласт-массы. Ведь для зрителей были открыты только голова и рука, а все остальное было стыдливо прикрыто неветшающим материалом.

Публика, проходя мимо «святыни», сравнивала возобновленного Ленина с прежним.

— Такой же, — думали одни.

— Как будто стал немного желтее, — делали вывод другие.

Никто не догадывался, что перед обманутым народом демонстрируется восковая фальшивка, мастерски испол-

ненная подделка. Простые люди роняли слезы умиления:

— Заступник ты наш вековечный!

— Кормилец ты наш и поилец!

— Покуда твой гроб охраняет Россию, с ней не случится никакая беда!

Что стало со скульптором, который приспособлял восковую голову и руку к фигуре из папье-маше? Он увеличил собою список уничтоженных в связи с мавзолейской катастрофой. Разве можно было оставлять в живых свидетеля такого убийственного обмана? Но как ни пытались властители сохранить в тайне чудовищную мистификацию, она стала известной многим жителям Москвы. Скрытные люди, зная об этом, молчали, легкомысленные проговаривались и это грозило им не только неприятностями, но даже катастрофой всей жизни. Таким легкомысленным был Василий Федорович Наседкин, литературный секретарь журнала «Колхозник», возникшего по инициативе Максима Горького.

Наседкина не так возмущала подделка «святости», как низкопоклонство перед нею партийных писателей и поэтов. Ведь многие в своем притворном умилении перед трупом доходили до величайшего бесстыдства: они уверяли, как темные деревенские бабы, что всякий, посетивший мавзолей, может исцелиться от всех своих душевных, моральных и телесных недугов.

И вот однажды Наседкин получает письменное приглашение из НКВД. Его просят зайти в такой-то день, в такой-то час, в такую-то комнату. Когда зовут «туда», всегда нужно приготовиться к самому страшному. Туда идут, как в клетку к голодным львам. Спасти может только чудо. Наседкин прощается с женой и детьми — семилетним Андрюшей и двухлетней Танечкой.

Переступить порог НКВД, идти по коридорам, подниматься по лестницам, предъявлять на каждой площадке пригласительное письмо и пропуск часовым, стоящим там и тут — самое страшное в жизни. Думаешь:

— Как Бог терпит это учреждение, которое уничтожает миллионы жизней? Как счастливы те, которые никогда не переступают этого порога! Но застрахованы ли они навсегда от такой чести?

Человек, попав в НКВД, внушает себе: «Не падай духом, возьми себя в руки, не красней, не бледней, не потей!» Он приказывает своим коленям: «Не дрожите», своим рукам, «не тряситесь». Но нервы не подчиняются рассудку. Человек и бледнеет, и краснеет, и потеет, его колени дрожат, руки трясутся, голос вибрирует. Энкаведисты, видя это, наслаждаются. Гордый, независимый вид жертвы доводит их до бешенства. Но случаи, когда вызванный в НКВД, держит себя с достоинством, очень редки. Раз человек очутился «там», его дух уже надломлен, его крылья подрезаны, он уже мышонок в острых когтях кошки.

Безусый чекист с пронзительными глазами предлагает Наседкину сесть и даже протягивает открытый серебряный портсигар. Наседкин берет папиросу, а его рука ходит-ходуном.

— Я вызвал вас предупредить, что ваши шутки, анекдоты, эпиграммы, ваши клички эмигрантским писателям не могут быть долее терпимы. Вы сами роете себе могилу, рубите сук, на котором сидите. Вы слишком распоясались. Вы забыли, что нам известен каждый ваш шаг, каждое слово о восковом Ленине. Почти все ваши друзья — контрреволюционеры. Я мог бы вас арестовать без предупреждения, но вы работаете вместе с Максимом Горьким, он доволен вашей секретарской работой в журнале «Колхозник», а потому я решил подождать.

Наседкин не выдерживает и плачет. Культурный человек, известный талантливый поэт, сорокалетний отец семейства, ценимый Максимом Горьким редактор, проливает горькие слезы, как набедокуривший малыш, которому делает выговор строгий отец. Прерывающимся голосом он говорит безусому юнцу:

— Простите... Этого больше не будет!

В чем преступление Наседкина? Он не состоит в группе заговорщиков, не покушается на Сталина, никогда не был и не собирался быть террористом. Он только не воздержан на язык, он забыл поговорку, что «За некоторые слова — слетает голова», но кто из писателей держит язык за зубами?

Ему предлагают подписать клятвенное обещание — впредь быть тише воды, ниже травы. Он подписывается почти с восторгом. Ему не верится, что через несколько минут он выйдет из этого страшного дома, где когда-то было страховое общество «Россия». Дом, где страховали от всевозможных несчастий, стал источником всех бед задушенной России.

Выйдя из НКВД, Наседкин хочет бежать, сломя голову, но бежать рискованно: стоящий у дверей часовой может истолковать это в дурном смысле. И человек, в душе которого еще гудит шторм неизжитого страха, внушает себе:

— Шагай непринужденно, вразвалку, как будто ты прогуливаешься в благодушном настроении!

Но слез не удержать, хотя теперь поэт плачет от радости, что очутился на свободе. Вернувшись домой, на Арбат, он целует жену и детей с таким чувством, как будто не видел их много лет.

— Отрежь себе кончик языка, — советует жена.

— Да, да, надо молчать. Молчание — крепость всякого советского человека.

«Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свои».

Он предупреждает меня, Клычкова, Орешина, что нам нужно прекратить встречи и разговоры.

— НКВД — вездесуще и всемогуще! Нам нужно забиться в норы, нам нужно лишиться дара речи!

Мы даем друг другу слово — следить за собой и забываем об этом обещании, как вероятно забыла бы клятву птица, если бы пообещала не взлетать выше дерева.

Попрежнему Наседкин и Клычков читают друзьям экспромты, попережнему Орешин в пьяном виде прокликает душителей России, а я веду дневник, в который заносу все свои мысли, чувства и настроения.

ЗА МЕСЯЦ ДО ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

В стране объявлен проект новой конституции. Началась подготовка к «самым свободным, самым демократическим выборам в Советский Парламент».

В НКВД свирепствует Николай Ежов — бывший беспризорник, позже Нижегородский секретарь областного комитета партии, узколобый садист низкого роста, почти карлик. Но этот уродец держит в небывалом страхе всю страну. Истребление лучших людей санкционировано Сталиным. Изъяты профессора из университетов, инженеры с заводов и фабрик, почти весь командный состав из Красной армии.

Из маршалов Советского Союза первым ликвидирован Тухачевский. Маршалы Блюхер и Егоров были членами военного трибунала, присудившего Тухачевского к расстрелу. Немного погодя, наступает их очередь — склонить головы «под меч советского правосудия». Сначала исчезает Блюхер. Маршал Егоров не дается живым в руки: когда приходят его арестовать, он сначала убивает непрошенных гостей, потом пускает себе пулю в сердце.

Любовница лихого усатого маршала Семена Буденного — красавица шатенка высокого роста. Колец она не носит. Её украшения — бриллиантовые серьги и большая бриллиантовая брошь. НКВД арестовывает её, как шпионку в пользу Германии. На прославленного маршала, героя гражданской войны, падает тень. По всей Москве, из уст в уста, передается новость: «Арестован Буденный».

Через некоторое время устанавливается истина. Ежов упорно добивался санкции Сталина на арест Буденного. Сталин ответил:

— Действуй по своему усмотрению.

Но когда был арестован Буденный, в тот же день об этом узнал Ворошилов. Разъяренный он прибежал к Сталину.

— Если арестовали Буденного, пусть арестуют и меня!

Сталин звонит к Ежову:

— Николай, ты совсем зарвался. Сделай всё возможное для облегчения участи Буденного.

Ежов отвечает, что переведет Буденного в «домашние условия». Сталин успокаивает Ворошилова, что Буденного поддержат некоторое время под домашним арестом.

Домашний арест по-советски — совсем не то, что понималось под этим в царское время. Тогда человек действительно оставался дома. Наказание состояло в том, что он никуда не мог выйти, но его мог навестить всякий.

Если же теперь строгую изоляцию заменяли «домашним арестом», то это означало, что арестованного в том же самом помещении НКВД переводили из тюремной камеры в «домашнюю», где есть стол, кровать, зеркало, умывальник, уборная, где он может слушать радио и читать газеты. Он только лишался права — писать письма, разговаривать по телефону и принимать гостей. Он созерцал жизнь из окна «домашней» камеры: и вот такой-то чести удостоился Буденный. Говорили, что он был изолирован более трех месяцев. Лишенный возможности двигаться, проводивший большую часть времени в постели, он обрюзг и потолстел.

К этому времени выяснилось, что похороненный на Красной Площади главком Сергей Каменев, был связан с Тухачевским и позднее расстрелянными — Уншлихтом, Путной, Якиром, Уборевичем и покончившим самоубийством Гамарником.

Сталин распорядился — извлечь из кремлевской стены урну с прахом главкома и удалить со стены бронзовую мемориальную доску с именем бывшего героя.

Писателей в это время арестовывали каждую ночь десятками, или, как говорили в советское время, «пачками».

Чтобы спасти свою шкуру, многие нагрузили себя бесплатной общественной работой. При каждом большом московском доме были организованы кружки по изучению «Сталинской конституции». Членами кружка были домашние хозяйки, дворники, истопники, няньки, кухарки. Руководил кружком писатель. Собирая кружковцев два раза в неделю, он старался внушить слушателям то, во что не верил сам:

— Европа, Америка, Япония и, вообще, весь мир, кроме СССР — это юдоль скорби, неволи, слез и нищеты. Во всем мире, кроме СССР, люди не живут, а прозябают. Взоры всего мира устремлены на СССР, где счастье тру-

дящихся не знает предела, где оно льется через край, наполняя смыслом каждое мгновение жизни.

Каждый кружковец, содрогаясь внутренне от этой словесной патоки, делал вид, что верит беспардонной лжи, что готов за Сталина в огонь и в воду. А про себя думал: «Приходится лизать, пока не настало время укусь».

Еженедельно кружковцы, под руководством прикрепленного к ним писателя выпускали стенную газету. Чем она заполнялась? Оплевыванием прошлого и восхвалением настоящего. Её сотрудниками были кухарки и дворники.

— Прежде я страдала, — писала какая-нибудь Матрена, — а теперь увидала свет: теперь я и в кино хожу и в парке культуры прогуливаюсь.

Спасшийся от раскулачивания беглец из колхоза, тайком проклиная Сталина, для стенной газеты писал:

— При кровавом царе Николае я не разгибал спины, а теперь, как вольная тварь: хочу — отдыхаю, хочу — книжку почитываю.

Каждый думал друг о друге:

— Ведь врешь, подлец, что ты готов сложить голову за Сталина... насквозь тебя вижу!

Все лгут, все фальшивят, все притворяются, обманывают себя и других, и начальство. Но собравшись вместе, все громко поют:

«Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек».

Поэт Наседкин руководил кружком при одном большом доме на Серебряном переулке. Как-то в «Красный уголок», где происходило изучение «Сталинской конституции», зашли двое незнакомых. Посидели минут десять, послушали и ушли.

В ту же ночь Наседкина арестовали, сделав перед этим тщательный обыск.

Это было за месяц до выборов в Верховный Совет СССР. Тюрьмы к этому времени были забиты до отказа. В камерах на четырех теперь размещали по сорок человек. Многие церкви были превращены в тюрьмы.

Согнанные в церковь, копошились на каменном полу. Шум, крики, стоны нескольких сот человек. Пятая часть жителей бывшей России — под замком, в застенках, в тюрьмах, в лагерях.

Наседкин знал об этом, но вынужден был говорить, что счастье советского человека — беспредельно. Вероятно в интонациях голоса чувствовалась неискренность. Я не был гостем в его кружке, но меня не раз приглашали в кружок Петра Скосырева, на Малую Никитскую, где я рассказывал сказки и читал стихи.

Арестованы были уже все крестьянские писатели. Я оставался последним. Не сегодня-завтра должны придти за мной. Не сплю до утра, прислушиваясь к шагам на тротуаре, к машинам, которые снуют туда и сюда. Напротив нашего дома — большая школа, куда привозят по ночам топливо. Но мне кажется, что машина остановилась не у школы, а возле нашего подъезда.

Знаю: за мной не числится никаких преступлений. Но какие преступления у тысяч и миллионов арестованных?

Наступает очередная годовщина советской власти. Тысячи демонстрантов на Садовой-Кудринской ждут терпеливо очереди, когда можно включиться в главную струю, текущую по улице Горького в сторону Красной Площади. Писательская организация толпится у клуба писателей, по улице Воровского, 52. «Ведущих» среди писателей мало: им предоставлены места на трибунах, неподалеку от мавзолея Ленина.

Ко мне подходит самодовольный, улыбающийся «пролетарский поэт» Александр Жаров и ехидным тоном спрашивает:

— Как же это случилось, Родя — все твои дружки-крестьяне там, а ты разгуливаешь по советской земле?

— Если тебе претит моя свобода, можешь сделать, чтобы и я очутился там.

Жаров краснеет от смущения:

— Нет, нет, Родя, не беспокойся: мы тебя туда не дадим.

— Если это в какой-то мере зависит от тебя, прояви милость к ничем незапятнанному человеку.

— Не волнуйся, Родя, спи спокойно и не готовь тюремного мешка.

До этого были только слухи, что Жаров и его друг Алтаузен — секретные сотрудники НКВД. Разговор Жарова со мной подтвердил, что слухи были основаны на фактах.

РАЗРУШЕННОЕ ГНЕЗДО

«Советский парламент избран. За блок коммунистов и беспартийных голосовало 99,9-%. На избирательные участки привозили больных — слепых, глухих, полумирающих, а в кабину вносили на руках, чтобы не лишить человека счастья даже за час до смерти — проголосовать за отца, друга и учителя — Иосифа Виссарионовича Сталина.

Миллионы томящихся в застенках ждут вызова на допрос по три и четыре месяца. Где набрать следователей, когда каждый пятый житель Советского союза объявлен врагом народа? А узколобый карлик Ежов с каждым днем свирепеет всё больше. Все активные контрреволюционеры изъяты до выборов в Верховный Совет. Теперь надо изъять всех их родственников: жен, братьев, сестер, отцов, матерей.

Второй час ночи. Квартира Наседкиных на Арбате. Спят Андрюша и Таня. Мать не спит. Она потеряла радость жизни с тех пор, как повесился её брат, один из лучших поэтов России — Сергей Есенин. Теперь брошен в застенки НКВД муж. Сохранят ли ему жизнь? Что ждет её детей? Почему сердце бьется, как раненая птица? Неужели надвигается новая беда?

Машина заезжает во двор. За кем приехали? Шевелятся волосы на голове. Всё тело покрывается холодным потом. Шаги по лестнице. В чью дверь постучатся неурочные визитеры? Остановились. Раздается стук. Как было бы хорошо умереть в эту минуту! Надо открыть дверь. Двое военных и один штатский-председатель домоуправления в качестве понятого. Не говоря «здравствуйте», не извинившись за беспокойство, предъявляют ордер на обыск и арест.

— Екатерина Александровна Наседкина-Есенина?

— Да.

— Мы должны произвести у вас обыск.

— Пожалуйста.

Начинают со столовой. Тут же книжный шкаф и письменный стол. Перелистывают каждую книгу, роются в бумагах, забирают фотографические карточки. В ящике стола нашли часы, отложили в сторону. Со шкафа сняли патефон и пластинки, тоже отложили. В спальне со стены сняли ковер, из гардероба вытащили костюм мужа и дамские туфли.

— Вы же ищете документы. Зачем вам эти вещи?

— Надо проверить, откуда они у вас.

— Куплены в магазинах.

— Узнаем.

Грабеж самый откровенный и циничный. Забирают всё мало-мальски ценное.

— Это не честно! Это — воровство! — кричит Екатерина Александровна.

— Гражданка, вы ответите за оскорбление.

Просыпаются Андрюша и Таня. Начинаются истерические вопли матери и детей. Малыши цепляются за материнский халат.

Чье бы сердце не дрогнуло при этом? Но у палачей и грабителей оно из гранита: их ничем не разжалобишь.

— Одевайтесь, гражданка.

Мне не на кого оставить детей.

Тогда один что-то шепчет другому. Тот удаляется. Оставшийся заводит патефон.

— Хорошая вещь... заграничная, — говорит он, как знаток. Посвистывая под музыку, он шагает из угла в угол, а в это время в другой комнате мать и дети надрываются от рыданий, обнимая друг друга в последний раз.

Уходивший возвращается.

— Гражданка, оденьте детей, мы их свезем в замоскворецкий изолятор.

У матери подкашиваются ноги. Свидетель от домоуправления подает ей стакан с водой. В его доме это уже 103-й арест. Его нервы уже закалены. Присутствуя при первых обысках и арестах, он малодушничал, смахивал с ресниц слезы, а теперь ко всему привык. В его душе

одно желание: чтобы эта горькая чаша миновала его семью из восьми человек.

Все вещи, подлежащие «проверке» увязаны в плед.

— Помогите нам, — говорит один из чекистов домоуправителю и тот несет узел к машине. Мать и дети выходят. Квартира запирается. Ключ берет домоуправитель. Таня и Андрюша не перестают плакать. Их отрывают от матери и сажают в только что прибывшую машину. С матерью в другую машину садятся оба чекиста. Они едут налево, к центру, на Лубянку. Машина с детьми мчится направо, к Смоленской площади, чтобы там, по Садовой улице доехать до Крымского моста и потом взять направление на бывший Донской монастырь, за стенами которого помещается изолятор для беспризорников и детей врагов народа, арестованных по 58-й статье.

ЗНАМЕНИТЫЙ РОДСТВЕННИК

Всеволод Мейерхольд! Кому не знакомо это имя? Артист Художественного Театра в молодости, позже — режиссер в театре Веры Федоровны Комиссаржевской, постановщик Лермонтовского «Маскарада» в «Александринке», руководитель своего театра в годы советской власти.

Каждая его постановка разжигает страсти театралов, на диспуты о его спектаклях спешат все слои общества. Нигде и никогда словесные состязания не достигают такой напряженности и остроты, как здесь.

У Мейерхольда много друзей, но еще больше врагов. Билет коммунистической партии страхует его до поры до времени от многих зол и напастей, хотя коммунистическая верхушка прекрасно знает: коммунист Мейерхольд липовый и положиться на него рискованно. В правительственных сферах у Мейерхольда есть опора в лице Платона Керженцева, бывшего посла в Италии, а теперь возглавляющего Комитет по делам искусств.

В литературных кругах Мейерхольда недолюбливают. Его друзья среди писателей немногочисленны: Маяковский, Вишневский, Эрдман, Безыменский, Третьяков, Сельвинский, Юрий Олеша и Андрей Белый. Для последнего Мейерхольд — титан в области театра. На диспуте о

постановке «Ревизора» Андрей Белый усиленно жестикулируя и бегая по сцене, метал громы и молнии против всех, кто пытался умалить достоинства обсуждаемого спектакля.

Вторая жена Мейерхольда — Зинаида Николаевна Райх, была когда-то первой женой Сергея Есенина.

У Мейерхольда была заветная мечта: постройка нового театра. При содействии Керженцева правительство дало согласие на постройку нового театрального здания. Был объявлен конкурс на лучший проект. Но Мейерхольд требователен и капризен: ни один проект его не удовлетворил. Тогда он начал вести переговоры с архитекторами в индивидуальном порядке. Проект Вахтангова, сына знаменитого режиссера, прославившегося постановками «Принцессы Турандот» и «Гадибука», пришелся Мейерхольду по душе.

В 1933 году, когда страна корчилась в муках голода, а на Украине свирепствовало людоедство, было приступлено к строительству театра Мейерхольда.

Ни в политбюро, ни в центральном комитете партии у Мейерхольда не было доброжелателей. Театральные критики знали об этом и искали малейшего повода, чтобы наброситься со всем остервенением на режиссера, слава которого с каждым годом тускнела всё больше. Даже прекрасная постановка «Дамы с камелиями» с Зинаидой Райх в заглавной роли не раздобрила критиков.

Чем угодить партии и правительству? Где искать заступничества?

Характер у Мейерхольда портится. С годами он становится всё более ревнивым. Всех, кто рассыпается в любезностях перед Зинаидой Николаевной, он отдаляет от театра.

Маяковский и Андрей Белый в могиле, Эрдман в ссылке, с Вишневским, Олешей и Сельвинским на почве ревности, порваны всякие отношения. Из театра уходят хорошие артисты — Гарин и Мартинсон. Верными до конца остаются Ильинский, Боголюбов и Царев, а из Александрики к Мейерхольду переходит престарелый, Народный артист республики, Юрьев.

Платон Керженцев отстраняется от руководства коми-

тетом по делам искусств. Над головой Мейерхольда повис «Дамоклов меч». Он может сорваться в любую минуту. Как предотвратить катастрофу. И мечущийся в отчаянии человек хватается за последнюю соломинку: он думает, что пьеса Лидии Сейфуллиной «НАТАША» — может спасти положение.

Сейфуллина вошла в литературу лет двенадцать тому назад. Её напумевшая повесть «Виринея» была инсценирована для театра имени Вахтангова. Но вот уже несколько лет писательница ничего не печатает. Она живет на проценты с прежней кратковременной славы. Но эти проценты так ничтожны, что писательница еле-еле сводит концы с концами. Хорошо, что её поддерживает муж, критик Валериан Правдухин. Живут они в писательском городке «ПЕРЕДЕЛКИНО», в долгах, как овечий хвост в репьях. Когда писатели получали ордена, не была обойдена и Сейфуллина. Но орден «Трудового красного знамени» не улучшил её положения.

Однажды я принимал участие в литературном вечере — в открытом лектории Измайловского парка культуры, на окраине Москвы.

— Сейчас выступит писательница-орденоносец, Лидия Николаевна Сейфуллина, — торжественно объявил заведующий лекторием. Раздались аплодисменты. На сцену вышла толстая женщина низкого роста, похожая на татарку с челкой над лбом, в черном платье. На её груди, против сердца, красовался орден.

— Я прочту вам отрывки из пьесы «Наташа», принятой государственным театром имени Всеволода Александровича Мейерхольда. Публика насторожилась, но больше всех насторожился я. Интересно было послушать то, при помощи чего Мейерхольд решил оградить себя от всех зол и напастей.

Ничего более убогого и безнадёжного, чем «Наташа» не приходилось ни читать, ни слушать, ни смотреть за всю свою жизнь: это была беспомощная инсценировка передовицы из «Правды» об ударниках и стахановцах.

Когда писательница вышла на сцену, в лектории под открытым небом было около 500 человек. Когда она кончила чтение, осталось не больше 20.

— В чтение пьеса провалилась, провалится она и в постановке, — думал я, — как такой большой художник мог опуститься до «Наташи?» Это, значит, его допекли страхи и он окончательно потерял голову.

Вскоре в «Правде» появилась большая статья: «Чужой театр». То, что когда-то расценивалось, как положительное, теперь смешивалось с грязью. «Театр Мейерхольда не нужен советскому зрителю», — такими словами заканчивалась статья.

Как почти каждый советский человек, Мейерхольд был не без греха против власти. Особенно тяжел был его грех, который он хотел совершить в 1927 году. И хотя этот грех не совершился, партии и правительству было известно все, что предпринимал Мейерхольд весной и летом одиннадцать лет назад.

СТАРЫЙ ГРЕХ

Московский Художественный театр гастролитировал по Западной Европе с огромным успехом. Не меньшим успехом пользовался за границей и Камерный театр.

Ревниво-завистливый Мейерхольд долго добивался заграничных гастролей для своего театра. Ему их разрешили летом 1927 года.

Зинаида Райх взяла с собой детей. Мотивировкой их поездки за границу было лечение водами на Германских курортах.

Вся труппа мечтала о Париже, как о «Земле обетованной», но, увы, парижане не хотели идти на спектакли Мейерхольда, а те, что приходили, гримасничали, шокированные плохой игрой и убожеством декораций. То, чем Мейерхольд надеялся удивить, оттолкнуло. Русские и французские газеты дали о спектаклях или сдержанные или недоброжелательные отзывы. Только коммунистическая газета захлебывалась от восторга — и это подливало масла в огонь неприязни к Мейерхольду всех слоев общества. Театр прогорал. Сборы были так мизерны, что их едва хватало на оплату театрального помещения.

После провала в Париже другие страны воздержались от приглашения театра. Деньги на дорожные билеты дало советское посольство.

Артистка Ремизова в пьесе Островского «Лес» талантливо исполняла роль ключницы Улиты. Ей Зинаида Райх призналась:

— Мы вернемся в Москву через месяц, а может быть... не вернемся вообще.

Ремизова стала плакать, умолять, доказывать, что этого нельзя делать.

— Тогда всем нам не миновать ареста, тюрьмы, ссылки, концентрационных лагерей. Не губите нас. Мы преданы Всеволоду Эмильевичу и вам. Мы делили с вами радость и горе.

В этот момент в комнату вошел Мейерхольд. Ремизова бросилась перед ним на колени:

— Дорогой Всеволод Эмильевич, не оставайтесь за границей. Ваше невозвращенство обрекает всю труппу на гибель. Я взываю к вам, как к человеку, как к гению, как к коммунисту!

— Встаньте, Елена Николаевна!

— Не встану, пока вы не скажете: «Я с вами».

— А с кем же? Конечно с вами!

Мейерхольд сдержал слово, данное Ремизовой.

Чтобы заполнить материальный пробел заграничной поездки, труппа по возвращении из Европы отправилась на гастроли в Ленинград. Ленинградцы любили мейерхольдовские спектакли. Каждый вечер театр был переполнен.

Но приближалась 10-я годовщина «Октября», а в портфеле театра не было ни одной юбилейной пьесы. Решив еще весной не возвращаться в СССР, он не договорился ни с одним драматургом о праздничной пьесе.

С утра до вечера Мейерхольд читал книги советских писателей, надеясь найти что-нибудь для инсценировки. Вот совсем незнакомое имя:

«Родион Акульшин (позже Березов) сразу три книги: «О чем шепчет деревня», «Проклятая должность», «Развязанные снопы». Читает с восторгом, старается от знакомых узнать адрес автора.

Писатель в это время работал над новой книгой в своем родном селе Виловатове. Зинаида Райх подсказала:

— Да ведь Зиночка Гейман его жена. Позвоним ей по телефону и узнаем его адрес.

Так и сделали. И в тот же день в Виловатое, на имя Акульшина летит телеграмма:

«Товарищ Акульшин, просим срочно приехать в Ленинград — писать пьесу для нашего театра к 10-й годовщине Октября. Гонорар по соглашению. Мейерхольд. Гостиница «Астория».

Я ответил телеграммой: «Занят. Приехать не могу». На другой день приходит телеграмма в 300 слов. В ней восторженные отзывы о моих книгах и даже такие строки: «Множество писателей добивается чести — написать пьесу для нашего театра. Ваш отказ необъясним. Приезжайте в Москву. Будем работать вместе. Вас ждет слава».

Ложась вечером в постель, загадал: «Если приснится хороший сон, поеду». Приснился кошмар: я упал с обрыва в море и тону. Проснулся в холодном поту: «Ехать нельзя!» Потом стал стыдить себя: «Какой я писатель, если верю сновидениям?»

Поехал. Увидеть свое имя на афише — так заманчиво. По приезде позвонил Мейерхольду — он в это время был уже в Москве.

— Ждем вас вечером. Будет и Ольга Васильевна Ковалева. Потолкуем.

Тогда Мейерхольды жили на Новинском бульваре. Дом старинный, с колоннами. Вход со двора. Столовая большая, стол длинный и широкий, рассчитан на 24 человека.

Я пришел вместе со своей приятельницей, крестьянкой Саратовской губернии, прославленной исполнительницей народных песен, Ольгой Васильевной Ковалевой. Из артистов были: Ильинский, Свердлин, Зайчиков, Боголюбов, Ремизова и другие. Хозяева всех гостей сразу усадили за стол, заставленный закусками и винами.

За ужином говорили о деталях постановки, о песнях, на фоне которых будет происходить действие. Долго ломали голову, как назвать пьесу.

— «ОКНО В ДЕРЕВНЮ!» — крикнул, подпрыгнув Мейерхольд.

На другой день началась работа. Я делал инсценировки некоторых глав из своих книг, нес в театр и собирал всю труппу. Инсценировка зачитывалась и немедленно шла в работу. Пьеса-обозрение состояла из 15 эпизодов. Каждый эпизод ставился отдельным режиссером. По ходу действия на сцене показывалась ярмарка с каруселью. В одном из эпизодов на сцену въезжал автомобиль. В картине «Даем отпор» принимал участие целый взвод красноармейцев. Эпизоды со сцены чередовались кино-отрывками на экране.

Я показывал артистам деревенскую пляску, разучивал с ними народные песни. Иногда я делал замечания артистам:

— В моей пьесе нет таких слов!

Тогда ко мне подбегала Зинаида Райх и чуть не топая ногами, кричала:

— Родион Михайлович, прошу не вмешиваться не в свое дело. Если Всеволод Эмильевич переседывает Гоголя, Островского и Грибоедова, то неужели он будет считаться с Акульшиным?

После просмотра пьесы главреперткомом 4-го ноября 1927 года, на котором я отсутствовал, как возможный адвокат пьесы, вершители судеб каждой пьесы решили:

— Пьесу зрителям нельзя показывать!

— Какой минус у спектакля с вашей точки зрения? — спрашивал Керженцев.

— Деревня изображена в каррикатурном виде.

— В чем вы усматриваете эту каррикатурность?

— В теме каждого эпизода. Деревня за десять советских лет шагнула далеко вперед, а в каждом поступке героев, в каждой фразе пьесы — беспросветная темнота. Эпизод «Лампочка Ильича» не спасает положения. Да по существу, это тоже карриатура на советскую действительность. Кого сейчас удивишь электричеством? Никого! А в пьесе оно преподносится, как невидаль.

Керженцев, Мейерхольд, актеры, представители красной армии горячо защищали пьесу. После трехчасовых споров решено было не снимать её с репертуара. Она прошла 23 раза. Критики, зная мнение главреперткомщиков, обрушились на пьесу. О ней не было сказано ни

одного доброго слова. От тяжелых переживаний я потерял в весе 40 фунтов. За пьесу вместе с процентами я получил тысячу рублей, которым был не рад.

В статье «Правды» — «ЧУЖОЙ ТЕАТР» Мейерхольду вменялось в вину много ошибок. Одним из его упущений автор статьи считал постановку пьесы: «Окно в деревню». Признаюсь, что мне самому пьеса нравилась: красочностью народного быта, весельем, песнями и плясками. Все критики мне казались вислоухими.

НИТОЧКА ОБОРВАЛАСЬ

Усталым, душевно опустошенным, вернулся Мейерхольд с репетиции пьесы: «Наташа». Опустившись в мягкое кресло, он обхватил голову горячими руками:

— Вот финал семидесятилетней жизни и пятидесятилетних исканий.

— Всевочка, садись обедать.

— Спасибо, не хочется.

— Нельзя так падать духом.

— Я готов ко всему. Слетели миллионы невинных голов. Чем я счастливее других?

— Что с тобой? С чего ты взял, что тебя арестуют?

— И не позже нынешней полночи.

— Что за вздор ты мелешь?

— Зиночка, не сердись, но внутренний голос подсказывает мне, что придут сегодня в полночь. Как жалко что я не успел написать мемуаров. Сколько было встреч за 70 лет и каких встреч! А теперь приближается конец.

— Почему конец? Разве все, кого увозят туда, не возвращаются обратно?

— Я не вернусь. Вчитайся в сегодняшнюю статью «Чужой театр», прислушайся к её тону и ты всё поймешь. Так пишут о человеке, которого решено ликвидировать.

— Какие мысли лезут тебе в голову! Ты совсем болен!

— Никогда в моем мозгу не было такой ясности, как в эти последние часы. Пьеса «Наташа» не увидит ramпы: завтра наш театр закроют.

— Если ты так уверен, то может быть приготовить вещи, которые надо взять с собой?

— Вещи мы соберем при них. Зиновка, что по твоему лучше — умереть на чужбине, но свободным, или на родине, но в тюрьме?

— Свобода везде выше всего на свете.

— А знаешь, что ответил Милий Федорович Достоевский, внучатный племянник знаменитого писателя, когда ему предлагали побег за границу, когда ему сулили за границей райскую жизнь? — «Умру в нищете, в неволе, но на родине, разделю вместе с русским народом горе, слезы, пытки, тюрьмы, кандалы, смерть!» Какой это был ум, Зиновка! Милий Федорович говорил на пятнадцати языках. Это был знаменитый востоковед. Это была гордость России. А что они сделали с ним? Они прикончили его в заполярной каторге. Их не остановило даже то, что он близкий родственник Федора Михайловича Достоевского. А что для них я? Что писатели, артисты, инженеры, педагоги, музыканты, архитекторы? Зиновка, неужели наши дети будут жить в такой же атмосфере, в какой жили мы? Уже одиннадцать!..

Он вдруг порывисто встал и зашагал из угла в угол.

— За что? Неужели там бесчувственные глыбы? Неужели в этих глыбах не осталось даже одного процента человечности? Обезглавить Россию, убить мозг великой империи — кому это нужно? Умные, талантливые, незаурядные люди — для наших правителей — тяжкая обуза. Так как карликов нельзя сделать великанами, то нужно снести головы всем великанам! Какая умопомрачительная бесхозяйственность! Даже для развода не останется умных людей. На жизнь имеют право только посредственности! Всё выделяющееся, всё то, что выше среднего уровня, должно быть истреблено огнем, мечом, застенками, пытками, каторгой, голодом... Я боюсь, Зиновка, что в эти последние минуты я сойду с ума... А может быть это даже лучше?

— Сядь, положи свою голову мне на колени!

Он прилег, а она гладила его седые кудри, целовала их. Слезы падали на голову, на лицо. Часы пробили один раз. Раздался властный нетерпеливый звонок в переднюю дверь со стороны Газетного переулка.

И он и она вздрогнули. Прислуга уже спала.

— Я боюсь, — сказала Зинаида Николаевна.

— Звонок повторился.

— Открою сам, — сказал Мейерхольд, и, приняв гордую осанку, направился к двери.

БЕЗУСПЕШНЫЕ ХЛОПОТЫ

На следующий день в «Известиях» был опубликован декрет правительства о закрытии театра имени Мейерхольда, как неоправдавшего доверия партии и правительства, как рассадника вредной для дела социализма пошлости.

Вот репертуар театра Мейерхольда: «Зори» Верхарна, «Трест Д. Е.» — Эренбурга, «Рычи, Китай» — Третьякова, «Мандат» Эрдмана, «Горе от ума» Грибоедова, «Великодушный рогоносец» — Кромелинка, «Лес» — Островского, «Ревизор» Гоголя, «Бубус» — Файко, «Окно в деревню» — Акульшина, «Клоп» и — «Баня» — Маяковского, «Командарм 2» — Вишневского, «Список благодеей» Олеси, «Три водевиля» — Чехова, «Свадьба Кречинского» — Сухова-Кобылина, «Дама с камелиями» — Дюма, — «Выстрел» — Безыменского.

Ни в одной из перечисленных пьес нет никакой пошлости. Налет грубости только в «Мандате» Эрдмана, но какой из советских театров, кроме Художественного, не увлекался показом советского чванства и провинциальной дикости?

Мейерхольдом была с большим вкусом поставлена в «Театре Революции» пьеса Островского «Доходное место», в Ленинградском оперном театре «Пиковая дама», а в «Александринке» — «Маскарад» Лермонтова.

По изобретательности с Мейерхольдом не мог сравниться ни один из советских режиссеров. Когда-то эта изобретательность восхищала критиков, а вот теперь театру приклеено клеймо «Рассадника пошлости».

Второй Художественный театр, репертуар которого был прекрасен, актерский состав которого был на высоте (всё это были питомцы Константина Сергеевича Станиславского) через некоторое время тоже был закрыт, как «не оправдавший доверия партии и правитель-

ства, как не осуществивший ни одной постановки, достойной нашего великого времени, как скатившийся до уровня слабого провинциального театра». Так правительство публично оплевало театр, в репертуаре которого были такие спектакли: «Эрик 14», «Сверчок на печи», «Блоха», «Гибель Надежды», «Дело», «Чудак», «Потоп», «Двенадцатая ночь», «Петербург», «Петр 1-й».

Сталин стал метать громы и молнии против 2-го Художественного театра после того, как ведущий артист театра Михаил Чехов оказался невозвращенцем, а знаменитый Алексей Денисович Дикий вскоре был арестован и сослан в концентрационный лагерь.

Арестованный Мейерхольд был посажен во внутреннюю тюрьму НКВД. Об этом Зинаида Николаевна узнала через неделю, когда от неё приняли первую передачу.

Кто из родственников не надеялся на освобождение заключенного? Надеялась на это и Зинаида Райх. На другой день после ареста она стала обивать пороги бывших поклонников мужа — Вышинского, Литвинова, Ярославского. Все они бывали не только за кулисами театра, но и на квартире у Мейерхольда, как желанные гости.

Теперь Вышинский даже не принял Зинаиду Райх, передав секретарше, что с Мейерхольдом он никогда не был знаком.

— Может быть он скажет, что незнаком и со мной? — возмутилась Зинаида Николаевна, — он забыл, как хлестал у нас коньяк и шампанское, как объедался слоеными пирожками с мясом?

— Меня это не касается — сказала секретарша, почти выталкивая просительницу.

Литвинов и Ярославский приняли Райх, но горестно признались, что ничем не могут быть полезными в таком деле.

— Все мы под Богом ходим, — цинично улыбаясь, сказал безбожник Емельян Ярославский, — сегодня взяли вашего мужа, завтра могут взять меня, поэтому не советую вам, голубушка, стучаться в чужие двери. Вам никто и ничем не поможет, если бы даже и мог.

— Если бы муж был ни в чем не виноват?

— Раз арестован — значит виновен — вот установка

наших карательных органов. О невиновности вашего мужа не может быть и речи. Прежде чем напечатать статью — «Чужой театр», редакция газеты вероятно осведомилась кое в каких учреждениях, соответствует ли это действительности или нет.

Отвернулись от Зинаиды Николаевны и все писатели. Теперь она была почти одинока. Только подруга её юности, бывшая в то время моей женой, Зинаида Вениаминовна Гейман, навещала её. Этой было нечего терять: первый её муж, Вениамин Левин, эмигрировал в Америку, зять втородумец Василий Анисимов был сослан без права переписки на 25 лет, жена зятя, родная сестра Цивия — в концентрационный лагерь на берегу Белого моря.

Зинаида Вениаминовна дружила с Петром Михайловичем Никифоровым, бывшим председателем Совета министров буферной Дальневосточной республики, столицей которой была Чита. Он был одним из немногих, уцелевших от старой большевицкой гвардии. Никифоров навел справки о Мейерхольде и узнал что семидесятилетний режиссер обвинен в заговоре на жизнь Сталина.

Миллионы арестованных в Москве, Ленинграде, Киве, Свердловске, Владивостоке, Баку, Одессе, Архангельске, Ташкенте и во множестве других городов и селений Советского Союза обвиняются в заговоре против Сталина. Нелепость этого обвинения сверхчудовищна. Как может житель отдаленного Владивостока, никогда не выезжающий из этого города, убить Сталина, почти никогда не высывающего носа из Кремля? Его появление в день 1 мая и 7 ноября на Ленинском мавзолее сопровождается такой усиленной охраной НКВД, что ни о каком убийстве не может быть речи.

Обвиняя всех в намерении — убить Сталина, следственно-карательные органы вероятно рассуждают так: «Каждый советский человек ненавидит Сталина всеми фибрами души. Если бы любому советскому гражданину представилась малейшая возможность убить Сталина, каждый бы сделал это, не моргнув глазом. А раз так, то каждого арестованного по 58-й статье, можно судить как потенциального организатора убийства Сталина».

Зинаида Райх каждую ночь ждала ареста, но пока её

не трогали и не выселяли из квартиры. Всю зиму она прожила в тревоге, кое-как сводя концы с концами. На тот случай, если бы выгнали, можно было бы переселиться на собственную дачу в Салтыковке, в 30 километрах от Москвы по Нижегородской железной дороге.

Многие артисты из театра Мейерхольда никуда не могли устроиться. Повезло Боголюбову: его приняли в Художественный театр. Ильинский, Царев и Юрьев устроились в Малый, Зайчиков и Свердлин стали кино-актерами.

Весной Зинаида Райх переселилась на дачу. Туда же вскоре переехала замужняя дочь Таня с ребенком и сын Костя. Городскую квартиру сторожила домашняя работница.

Младшая сестра, артистка Хераскова, жившая в городе, написала короткое письмо: «Зиночка, я очень больна. Навести меня. Боюсь умереть, не повидавшись с тобой».

Вечером мать сказала детям:

— Таня и Костя, завтра я еду в город. Постараюсь завтра же вернуться, но если задержусь, не беспокойтесь.

Утром, когда мать собиралась на станцию, Таня сказала:

— Мамочка, какой странный мне приснился сон. Будто все мы сидим за столом и говорим о своих желаниях: кто бы кем хотел быть. Тут же и наш папа (так она звала Мейерхольда. Покойный родной отец был для неё только «Есениным»). Папа говорит: «Я бы хотел быть Зевсом-громовержцем — тогда бы первая молния поразила Сталина». Костя сказал: «Я бы хотел построить мосты между всеми материками, чтобы весь мир был одной семьей».

Я сказала: «А мне бы хотелось, чтобы на земле не было змей, скорпионов, пауков, в море — акул и осьминогов, в реках — крокодилов, чтобы львы, тигры и леопарды не были хищными. Как было бы тогда хорошо: иди, куда хочешь, купайся, где хочешь и никого не бойся». А ты, мамочка, будто бы говоришь: «А мне ничего не надо. Я хочу быть белой голубкой, чтобы скорее перелететь к Сергею». И вдруг ты исчезаешь. Мы выбегаем в сад, ищем тебя, глядим на небо, а над нами вьется белая

голубка... Летит вверх — всё выше и выше... По моему это очень плохой сон.

— Хорошего, Танечка, ждать неоткуда, — печально вздохнула мать

На прощанье поцеловала шестимесячного карапузавнука Сережу, названного так в честь деда — Сергея Есенина. Мужа Тани, блондина, звали Иваном Кутузовым младшим в отличие от его отца — Ивана старшего, члена ВЦИКА, главного текстильщика СССР. Кутузов старший был из крестьян. Еще недавно, когда к нему приходили с просьбой — похлопотать за раскулаченных, он высокомерно отвечал:

— Что? Хлопотать за кулаков? Чем больше подохнет этих паразитов, тем будет чище воздух Советского Союза.

Теперь этот вельможа был арестован, как участник организации, задавшей целью — убить Сталина. Что-то он думал теперь о раскулаченных крестьянах? Муж Тани тоже был арестован.

— Внук, слава Богу, не в Кутузовскую, а в Есенинскую породу, — думала Зинаида Николаевна, спеша к электрическому поезду.

— Передачу Всевожке понесу завтра, сегодня нужно повидать больную сестру.

Муж сестры — хорист краснознаменного ансамбля песни и пляски под руководством Александрова. С женой он в разводе. Она бедствует материально. Жилье у нее из одной маленькой комнаты. Обстановка убогая. Её туберкулёз прогрессирует.

При расставании Райх поцеловала сестру в лоб. Какой он горячий и потный. «Дни Лёли сочтены».

ПИСЬМО АНДРЮШИ НАСЕДКИНА

Когда вернулась домой, то обратила внимание на то, что всё на месте, как было до ареста мужа, но почему-то на душу повеяло холодом могилы. Чувствовалось, что из семейного очага вынута душа. Остаться одной было страшно. Позвонила моей жене Зинаиде Вениаминовне:

— Зиночка, приезжай немедленно, брось все дела, умоляю.

У Зинаиды Вениаминовны своего горя непосильные грузы. Мое утешение не могло рассеять её переживаний: любимая сестра в лагере на Белом море, зять сослан без права переписки... Свой досуг она заполняла письмами.

Я тоже часто писал Цине, а из разных городов, куда меня посылали в командировку, как писателя-декламатора, старался отправить посылочку, так как из Москвы посылки заключенным и сосланным были запрещены.

— Что стряслось? — спросила она, поцеловавшись с подругой.

— Ничего особенного, просто мне стало страшно и я позвала тебя. Мне почему-то мерещится могильный холод, я чувствую запах крови... Неужели жизнь висит на волоске?

— Кто думает и говорит о смерти, тот наполовину уже умер. Если ты позвала меня для этого, я сейчас же уеду обратно: терпеть не могу болтовни о смерти.

— Нет, нет... я не пущу тебя... Давай говорить о любви.

— Это другое дело

— На твоих глазах проходили все романы Есенина. Скажи, кого он любил больше всех, о ком он вспоминал чаще всех?

— С Изрядновой у него не было никакого романа, это была случайная связь на полчаса.

— В результате которой появился сын Юрий, носящий его фамилию.

— Ничего не значит. С Изрядновой он не сказал за всю жизнь и десяти слов.

— А Бениславская Галя? Её любил Есенин?

— Да, любил и она любила его. Но какая это была странная связь: он ненавидит Советскую власть, а Галя служит в НКВД.

— Но ведь не в роли сексота и следователя, а только стенографисткой.

— Всё равно. Видеть ежедневно палачей русского народа, мило улыбаться им, пожимать руку, а потом этой рукой гладить кудри Есенина. Нет, это страшно. Потому эта любовь и была такой кратковременной. Они прожили вместе один год, а ровно через год, после его смерти

она застрелилась на его могиле, одетая в подвенечное платье.

— Я до сих пор не могу объяснить его романа с Айседорой Дункан. Ведь она была на много лет старше его.

— В этом романе главную роль сыграло прирожденное озорство Есенина. Это был вызов общественному мнению. Как выходец из деревни, он был крайне честолюбив и любознателен. Связь с Дункан открывала ему двери в Европу и Америку. О всех художествах Сережи в Америке я знаю по письмам своего бывшего мужа Вениамина Левина: когда-нибудь я напишу об этом интересные воспоминания.

— Ну, а Надежда Вольпина? Как могла подцепить поэта эта веснушчатая, курносая женщина?

— Не забывай, что это очень культурная и остроумная переводчица с иностранных языков. Связь с Есениным у неё была, конечно, случайной.

— А в результате опять сын-неврастеник, который причиняет матери много беспокойств, хотя очень талантлив в отца и уже маракует не плохие стихи. Уму непостижимо, как могла прельстить Есенина внучка Льва Толстого — Софья Андреевна?

— На ней пьяного Есенина женили пьяные друзья. Тогда Есенину негде было жить, а у Толстой была роскошная квартира. Я была свидетельницей его ненависти к Толстой. Когда он лежал в психиатрической клинике профессора Ганушкина, я часто навещала его. И как-то совпадало так, что я всегда приходила к нему после Толстой.

— Вот на этом самом месте только что сидела она, добиваясь от меня хотя бы одного слова, — говорил больной поэт, — но для неё у меня нет слов. Я понимаю, Зиночка, почему ты не спрашиваешь о себе: за три года жизни с Есениным ты изучила его.

— Меня он любил по настоящему, но не долго. Дольше двух лет не длился ни один его роман. Последние два года с ним были сплошным кошмаром. Я ушла от него беременной. Костя родился, когда я жила уже с Мейерхольдом.

Недаром он не признавал его за своего сына. «В Есенинской породе никогда не было черненьких», — всегда повторял он при свиданиях со мною. Он часто бывал у тебя. Скажи: вспоминал ли он обо мне?

— Всегда. Он часами глядел на твой портрет. Особенно ты правилась ему в роли «Ксюши», в пьесе Островского «Лес». — Какие у нее печальные глаза, — повторял он всякий раз, глядя на твой портрет, — таких глаз не бывает у заурядных женщин, такие глаза бывают только у переживших великие потрясения или у тех, которые знают о своем трагическом конце.

— Он так и говорил: «О своем трагическом конце?»

— Не переводи разговора в эту плоскость, или я сейчас же встану и уйду.

— Хорошо... хорошо... Скажи, что еще он говорил обо мне?

— Он говорил, что никого не любил так, как любил тебя.

— Ты сочиняешь.

— Клянусь тебе. Если бы не собутыльники-имаженисты, он никогда бы не оттолкнул тебя. Разойдясь с тобой, он покатился по наклонной плоскости. До тебя и с тобой в его жизни была осмысленность, после тебя — надрыв, болезненность, авантюра. Помнишь, как вы приходили к нам в гости в гостиницу «Националь».

— Тогда ты любила Вениамина Левина. И он тебя любил. Ваша сказка тоже была кратковременной.

— Ах, моя дорогая, всё красивое в жизни — недолговечно.

— Не всегда. Мой роман с Мейерхольдом продолжался почти 20 лет... И прерван он не по нашей вине.

Прислуга приготовила обед. Но и во время обеда подруги больше говорили, чем ели. Потом пили чай. Прислуга куда-то ушла и долго не появлялась.

— Мне нужно ехать, — сказала Зинаида Вениаминовна, — Родион должен сегодня вернуться из командировки, а тебе завтра надо рано встать, так что ложись пораньше, чтобы получше отдохнуть.

— Выплюсь в могиле... Может быть это последняя моя встреча с тобой.

— Опять? — сторого спросил подруга и скользнула взглядом по письменному столу. На нем лежал целый ворох нераспечатанных писем.

— Давно ли ты перестала интересоваться письмами, адресованными тебе?

— Мне? Где? Какие письма?

— А это?

— Не обратила внимания.

— Почерк детский. Письмо без марки.

— Вскрой, Зиночка, и прочти вслух.

Письмо было написано чернильным карандашом. Как видно тот, кто его писал, плакал.

«Дорогая тетя Зина, дорогая Зинаида Николаевна. Привет вам от Андрюши Наседкина и Тани Наседкиной. Тетя Зина, возьмите нас из детского изолятора. Мы тут умрем. Тут нам очень плохо. Беспризорники называют нас контриками. Тут есть и больные. Они пьют водку, дерутся, ругаются. Они отнимают у нас еду, бьют нас. Жаловаться нельзя — за это убьют совсем. Нас никуда не пускают. У ворот стоят часовые. Таня стала тоненькая, как ниточка. Беспризорники учат меня ругать по матерному Бога. Если не ругаюсь, хватают за волосы и наворачтывают на палец. У меня выдернули из головы три пучка. Тетя Зина, возьмите нас ради Бога. Я буду вам всё делать. Наказывайте меня, как хотите, только возьмите. Я не знаю, где папа и мама. Может быть их расстреляли. Кормят нас плохо. Из политических детей умерло 16 человек. Если не возьмете нас, мы тоже умрем. Возьмите нас вместе с Таней. Мне жалко её. Она наверно умрет раньше меня. Привет Всеволоду Эмильевичу, Тане и Косте. Я для всех буду делать, что заставите, только возьмите отсюда ради Бога. Дорогая тетя Зина, буду ждать вас с нетерпением. Андрюша Наседкин».

— Бедные дети, — залилась слезами Зинаида Николаевна, — завтра же нужно что-то сделать для них.

— Возьмешь их? — спросила Зинаида Вениаминовна.

— Если отдадут, конечно, возьму, они же двоюрод-

ные Тане и Косте. Пусть лето проведут на даче, а к зиме что-нибудь придумаем, если не освободят из тюрьмы их маму. Ах, Сергей Александрович, думал ли ты когда-нибудь, что все твои родственники окажутся в таком трагическом положении? Судьба словно задалась целью: любыми способами отравлять их бытие.

— А у кого сейчас, Зиночка, кроме привилегированной верхушки, сладкая жизнь? Ну, я поеду, Зиночка. Завтра, как проснешься, позвони.

— Имей в виду, что уже в 8 утра я буду на ногах. Разбужу тебя рано.

Подруги крепко расцеловались.

— А всё-таки я чего-то боюсь, — призналась Райх.

— Какая глупенькая: ведь ты же ночуешь не одна. Тебя охраняет прислуга.

— А может быть ты осталась бы у меня. Останься, Зиночка. Если Родион вернется, он догадается, что ты у меня.

— Мне по некоторым соображениям нужно быть дома.

— Не хочешь? Ну, смотри, если со мною что случится, в ответе будешь ты.

— Ничего с тобою не случится. Покойной ночи.

Зинаида Вениаминовна поспешила к трамвайной остановке.

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА РАССВЕТЕ

Я все еще был в командировке.

В 8 утра Зинаида Вениаминовна стала ждать телефонного звонка от Райх. Не дождавшись, в половине 9-го позвонила сама. Никто не ответил. Сердце сжалось от страшного предчувствия. Постояла в раздумье у телефона в душейной передней общего пользования, рядом с грязной, маленькой кухней, которой пользовалось 6 семей. Кому позвонить? Никифорову? Композитору Александру Крейну? Но вероятно он на даче. Помедлив минуту решила все же позвонить Крейну. Набрала номер. Высокие частые гудки — значит, телефон занят. Кто же у них дома — отец или сын? Подождала и позвонила снова.

— Я вас слушаю, — ответил сын.

— Это вы, Шурик?

— Здравствуйте, Зинаида Вениаминовна.

Сын композитора Крейна, Александр Крон, был молодым драматургом, подающим большие надежды. Уже две его пьесы были поставлены Московскими театрами. Моя жена знала его еще мальчиком и теперь по-привычке называла Шуриком.

— Вы еще ничего не слышали? — спросил Шурик каким-то странным голосом.

— О Зинаиде Райх?

— Да.

— Ничего.

— Но почему вы догадались, что я хочу сказать вам именно о ней?

— Я все утро жду от неё телефонного звонка.

Шурик долго молчал. Он знал, что Райх — подруга Зинаиды Вениаминовны.

Сказать ей или не сказать?

— Алло! Почему вы замолчали, Шурик? Случилось что-нибудь страшное? Кто вам сказал?

— Сейчас мне позвонили из союза писателей.

— Что же вам сказали, Шурик?

— Телефонного звонка от Райх вы не дождетесь...

— Где она?

— В больнице имени Склифасовского... Её увезли туда за два часа до смерти.

— Она убита?

— Зарезана.

Зинаида Вениаминовна дико вскрикнула. Из всех комнат к телефону сбежались женщины.

— Что с вами?

Зинаида Вениаминовна была бледна, как побеленная стена, к которой она прислонилась. Телефонная трубка выпала из её рук.

— Алло... Алло, — без конца повторял Александр Крон.

Кто-то из женщин взял трубку.

— Вы слушаете? Зинаиде Вениаминовне плохо.

Под руки ее довели до комнаты во втором этаже. В замочную скважину был вставлен ключ. Дверь открыли.

В комнате было чисто, опрятно. Здесь когда-то перебивало много знаменитостей: Сергей Есенин, Всеволод Мейерхольд, критик Иванов-Разумник, писательница Ольга Рунова, артисты Большого и Художественного театров, инженеры, художники, писатели. На стенах были портреты Есенина, Мейерхольда, Райх, мон. На столе в изящных рамках — отец и мать Зинаиды Вениаминовны.

Женщины участливо спрашивали, что случилось?

— Ночью зарезана Зинаида Райх... эта... Вчера я ушла от неё в двенадцатом часу ночи Она умоляла меня — остаться с нею.

— Хорошо, что не остались, а то бы и вас зарезали.

— Я тогда бы помешала убийству.

— Ну, это еще вопрос.

— Сейчас я должна... но куда? Ничего не соображу...

Внизу раздался телефонный звонок. Зинаиду Вениаминовну вызывала жена профессора Скадовского Людмила Николаевна, только что приехавшая с дачи из-под Звенигорода.

— Что ей сказать? — спросила прибежавшая снизу женщина.

— Скажите, что я сейчас буду говорить с ней.

— Вам бы лучше полежать, а не говорить.

— Ах, всё равно... Когда погибают такие люди, имеем ли мы право оберегать свое здоровье? Кому оно нужно? Она медленно пошла вниз. Взяла трубку.

— Зиночка, это вы? Здравствуйте. Сейчас мне позвонил Анатолий Доливо.

— Догадываюсь, о чем. Я только что узнала об этом.

— Какой ужас! Семнадцать ножевых ран... Вся спальня залита кровью, — ужаснулась по телефону Скадовская.

— Я еду сейчас в больницу Склифасовского... вероятно встречу кого-нибудь из родственников.

— Оттуда заезжайте к нам, пообедаем.

— Ах, Людмила Николаевна, не нужно мне никаких обедов...

— Буду вас ждать с нетерпением. Из-за этого остаюсь сегодня в городе. Дайте слово, что заедете.

— Хорошо.

Время для Скадовской потянулось очень медленно. Она сгорала от нетерпения, сидя на широком диване в гостиной и рассеянно читая книгу.

Квартира Скадовских была тем магнитом, который притягивал хороших, культурных людей столицы.

Мать профессора биологии Сергея Николаевича Скадовского после смерти мужа, известного художника, вышла замуж за знаменитого психиатра Россолимо. Антон Павлович Чехов был другом их дома. Он дарил психиатру все свои выходившие в свет книги.

Теперь вдова с дочерью, зятем и внуками жили на втором этаже, а весь первый занимали Скадовские. Сергей Николаевич читал лекции по биологии в первом Московском Университете. Это был многосторонне талантливый человек. Чехова, Аверченко, Зощенко, Тэффи он читал так прекрасно, что с ним не мог соперничать ни один из московских артистов. На фортепиано он играл с листа любую вещь, был замечательным рассказчиком, и не плохо рисовал. Его научные труды печатались в русских и заграничных журналах.

Несчастьем его жизни были ежедневные гости, которых усиленно зазывала Людмила Николаевна. Она училась пению у известных профессоров лишь для того, чтобы забавлять гостей. Летом они жили в сказочной по красоте местности под Звенигородом. Там была биологическая лаборатория, созданная на собственные средства Скадовского. Правительство объявило её собственностью государства. У беспартийного профессора появлялось с каждым днем всё больше партийных недоброжелателей из научного мира.

Я и Зинаида Вениаминовна были более десяти лет в дружеских отношениях со Скадовскими, в семье которых витал дух Антона Павловича Чехова, где все говорили правильным, певучим русским языком. Завсегдатаев этого дома коробила речь, которую они слышали в учреждениях, на улицах, в трамваях.

Московский говор в годы советской власти всё больше засорялся жаргоном, блатными словечками, самоуверенными провинциализмами. В квартире Скадовских от-

дыхало ухо, успокаивалась душа. Это был оазис в пустыне безграмотной болтологии.

В четыре часа в передней раздался звонок.

— Зиночка, — встрепенулась Людмила Николаевна, открывая дверь, — миленькая, на вас нет лица.

Прошли в большую, уютную столовую, которая была так же рабочим кабинетом профессора. Сели на диван. Гостья прислонилась затылком к спинке дивана и закрыла глаза. Из-под век выкатились две слезы. Хозяйка молчала.

— Дико... страшно...

Это были первые слова Зинаиды Вениаминовны.

Вот что она узнала, побывав в квартире Мейерхольдов. В 3 часа утра против подъезда их квартиры остановился автомобиль. В июне в эту пору уже занимается заря. Из машины вышли три человека, подошли к двери, позвонили. Прислуга поспешно впустила их. Это наводит на подозрение, что она заранее была в сговоре с убийцами. Почему она ушла из дому, когда Зинаида Райх сидела с гостьей на диване? Как видно догадавшись, что хозяйка останется ночевать на городской квартире, прислуга пошла уведомить об этом кого следует.

«Когда я открыла им дверь, они бросились на меня с ножами. Я с криком побежала на черный ход и притаилась там ни жива, ни мертва»... Так объясняла она свое спасение от гибели. Она «притаилась» на черной лестнице, а в это время убийцы расправлялись с её хозяйкой. До неё доносились крики и стоны, она слышала грохот падавших предметов, но, вместо того, чтобы разбудить соседей, всполошить весь дом, «сидела ни жива, ни мертва»...

Прислуга закричала «Караул» только тогда, когда убийцы удалились. Через несколько минут в квартиру Мейерхольдов сбежалось много жильцов из соседних квартир. На полу лежала убитая. Полосатая пижама была изорвана в клочья, рот заткнут тряпкой, тумбочка у кровати повалена, кровать и пол залиты кровью. Подушки и одеяло валялись на полу.

Среди прибежавших был доктор. Он вынул тряпку изо рта, потрогал пульс.

— Она жива!

Вызвали карету скорой помощи, которая прибыла через 10 минут. Прибывшие органы милиции составили протокол осмотра квартиры. Ни одна вещь не была похищена. Значит, убийство было не с целью грабежа.

В Институте скорой помощи истерзанной Райх дали возбуждающих капель и привели в чувство, чтобы задать несколько вопросов. Она ни на что не отвечала. Только за пять минут до смерти попросила:

— Похороните меня в платье из «Дамы с камелиями» — белом с цветочками.

Зинаида Вениаминовна и Людмила Николаевна Скадовская долго сидели молча, опустив головы. Обе думали о том, кто подослал убийц, чем помешала головорезам артистка Зинаида Райх? Ясно было, что убийцы неопытны, что им еще ни разу не приходилось пользоваться кинжалами. Вместо одного удара они нанесли 17 ран в разных частях тела. Они боролись с жертвой: об этом свидетельствовали вырванные волосы, изорванная пижама, израненные ладони. Кто их подослал? НКВД? В его распоряжении тысячи опытейших палачей. Скорее всего это организовано теми, кто дрожал за свою шкуру.

Когда Мейерхольд был в славе, советские вельможи-наркомы, директора, члены центрального комитета партии были частыми гостями в его доме. Как свидетельница, Зинаида Райх могла бы скомпрометировать тех, которые задают тон в политике, а потому лучше убрать её с дороги.

Хоронили убитую на третий день. За гробом шло 8 человек: дочь Таня, сын Костя, старик отец, я и Зинаида Вениаминовна, две посторонних старушки и артистка Ремизова, которая 11 лет назад со слезами на глазах умоляла Зинаиду Николаевну не оставаться за границей. Похоронили её на Ваганьковском кладбище, неподалеку от могил Сергея Есенина и Гали Бениславской.

Любимые артисты Мейерхольда: Ильинский, Боголюбов, Царев, Юрьев, Зайчиков и Свердлин побоялись скомпрометировать себя вниманием к покойнице. Чувствовал ли в эти дни Мейерхольд, что его многолетней спутницы нет больше в живых? Подсказало ли сердце

Андрюше Наседкину, что никогда ему не дожидаться свидания с «Дорогой тетей Зиной?»

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО

Никакого следствия по делу Зинаиды Райх не было. Убийц не привлекли к судебной ответственности, как будто убитая была не человеком, а козявкой, случайно раздавленной пешеходом.

Убийство всколыхнуло всю Москву, хотя о нем ни в одной газете не было напечатано ни строки. Советские граждане еще раз убедились в своей несправедливости, в своей беспомощности, в чудовищном произволе властителей, на которых нет никакой узды.

Квартира Мейерхольдов в Брюсовском переулке была конфискована со всей обстановкой вплоть до ковров. Детям Райх было разрешено взять только семейные портреты и платья матери. Таня и Костя, жившие на даче в Салтыковке, ждали каждый день выселения и ареста. Костя попытался поступить на службу, но его никуда не приняли. Хорошо, что удалось устроиться на чертежную работу к одному из архитекторов, а то хоть выходи на тротуар и протягивай руку за милостыней.

Передачи для Мейерхольда теперь стали реже. Таня и Костя долго думали, сообщить ли ему об убийстве матери и о конфискации квартиры? Записочку хотели запечь в булочку. Посоветовались с Зинаидой Вениаминовной. Она сказала, что это убьет Мейерхольда.

Приближалась осень. В сентябре умерла от туберкулеза сестра Зинаиды Райх, артистка Хераскова. Мейерхольда продолжали держать во внутренней тюрьме НКВД.

В помещении театра Мейерхольда на улице Горького был открыт «Театр миниатюр». Театр на площади Маяковского готовился к открытию. Правительство решило отдать его в распоряжение Московской Филармонии для концертов. Главный зал был назван «Концертным залом имени Чайковского». Открытие сезона состоялось в октябре 1940 года. В программе приняли участие лучшие силы Москвы: «Краснознаменный ансамбль песни и пляски под управлением Александрова», «Танцевальный ансамбль Игоря Моисеева», «Народный хор имени Пятницкого» и

первоклассные солисты: Козловский, Пирогов, Михайлов, балерины — Лепешинская и Уланова.

Достать билеты на концерт было невозможно. Петр Никифоров нажал на все кремлевские кнопки и получил два билета — для меня и Зинаиды Вениаминовны. Нам обоим интересно было попасть на открытие того самого театра, о котором всю жизнь мечтал Всеволod Эмилевич Мейерхольд: я был автором Мейерхольдовского театра, а Зинаида Вениаминовна была задушевной подружкой Зинаиды Райх, разделявшей с мужем мечты об открытии своего театра.

— Какая красота! — восторгались мы, осматривая до начала концерта фойе, буфетные и курительные комнаты. В одном из фойе был зимний сад с фонтанами. Раскраска стен, люстр, ковры — всё это свидетельствовало о большом вкусе архитектора. Зрительный зал был в виде амфитеатра. В нем господствовали два цвета: голубой и слоновой кости. Ножки, подлокотники, ободки спинок у кресел окрашены были под слоновую кость, сиденья и спинки были обиты голубой, плотной материей. В зале не было ни одного плохого места. Он мог вместить полторы тысячи зрителей. Сценическая площадка была в трех плоскостях, расположенных уступами. На сцене в пяти разных местах были занавесы из плотного кремового шелка. Участники хора выходили сразу справа и слева и располагались на всех трех плоскостях. Нижняя, самая большая площадка, предназначалась для сольных и групповых танцев. Потолок в зале был из рубчатого матового стекла. Свет в зал проникал сквозь потолок.

— Детище Мейерхольда, — шепнула мне Зинаида Вениаминовна и заплакала.

Мы рисовали в своем воображении семидесятилетнего режиссера, который изнывает сейчас в застенках НКВД. Сколько он отдал душевного огня и бессонных ночей этому театру, с каким трепетом он ждал его открытия! Мог ли он когда-нибудь подумать о таком финале своей жизни?..

Концерт был прекрасным. Публика бушевала от восторгов. И только мы переживали такое чувство, будто присутствуем на панихиде.

ЭПИЛОГ

Мейерхольд, по многим сведениям, замучен во внутренней тюрьме НКВД.

Наседкин умер в концентрационном лагере. Екатерину Есенину через год после ареста освободили из тюрьмы. Ей вернули детей из страшного изолятора. Костя Есенин окончил архитектурный Институт. Во время 2-й мировой войны был тяжело ранен, но выздоровел. Муж Тани Есениной погиб в ссылке. Старший сын Есенина Юрий умер в тюрьме.

Сейчас Андрею Наседкину, умолявшему «Тетю Зину» взять его с сестрой из изолятора не менее 50 лет, если он уцелел. Его мать Катя умерла в 1977 году. Александр Крон преуспевает, как советский драматург и писатель.

Зинаида Вениаминовна умерла от тоски и горя. Судьба Скадовских — неизвестна.

Автор пьесы: «Окно в деревню» во время 2-й мировой войны был мобилизован в народное ополчение, попал в плен, а позже очутился в Соединенных Штатах Америки, где при содействии читателей выпустил в свет несколько книг под именем Родисна Березова.

Эта его книга — 25-я — ЮБИЛЕЙНАЯ.

ПЕСНЯ СПЕТА

Посвящаю другу Николаю Водневскому

Я приехал в гости к сестре ранней весной, в самом разгаре половодья. Радостное чувство охватило меня, как только я сошел с поезда на маленькой, желтой, давно не крашенной станции.

Утро было тихое, солнечное. На распускавшихся душистых тополях в станционном садике шумно каркали грачи, устраивая запущенные за зиму гнезда. Паровоз встречного товарного поезда, терявшегося своим концом за водокачкой, у березовой рощицы, лениво выпускал свистящие струйки пара, как будто не собираясь продолжать прерванного пути.

Меня встретил муж сестры, Михаил Фролович Кузнецов, худощавый, застенчивый колхозник средних лет с светло-русыми прядями длинных волос. На нем был черный пиджак с короткими рукавами, делавшими руки не в меру длинными и старая коричневая фуражка с засаленным козырьком, протершимся по краю. Темнота головного убора оттеняла худобу родственника и его бесцветные волосы. В бесхитростных, бледно-голубых глазах светилась почтительность к приезжему. Он несмело протянул мне для приветствия мозолистую натруженную руку. Не выпуская его руки, я потянулся к нему для поцелуя. Не ожидавший этого родственник смутился и поцеловался как-то неловко, два раза ткнувшись в одно место. Но после этого сразу осмелел.

— В хорошее время приехали, Родион Михайлович, — начал он, — видишь — всякая тварь радуется. А вчера на ваше счастье рыбы поймал.

— Да? — весело откликнулся я, — давно не едал ухи с укропом, кажется, с самого детства.

— Покушаешь, — сказал он, переходя на ты, — и с укропом и с зеленым лучком, и с лавровым листом и с перцем. Укроп в саду лезет напропалую — самый душистый, апрельский. Лавровый лист Матрена еще с двад-

цать шестого года поберегла, тогда ведь всего было вволю, а перчиком в районной потребилке разжился, по знакомству, всем-то его теперь не дадут почему-то. Заведующий разъяснял, будто заграничные страны не долюбливают нас и перец только за какую-то валюту отпускают. Перец аппетит раздраживает и заставляет все внутренности радоваться. Дай-ка мне свои чемоданы. До лодки придется прогуляться, а там вся дорога водой. Ох и разлив в этом году — ни одного бугорка не видно. Кто говорит — к урожаю, а кто войной пугает.

— Не беспокойся, Михаил Фролович, сам донесу.

— Ну, как это можно? Вот когда я к тебе в Москву нагряну, тогда ты мои понесешь, а сейчас уж дозвожь мне.

Пошли узкой тропой — впереди Кузнецов с двумя чемоданами, за ним я. Чувство неловкости, что я иду налегке, заслонялось радостью приезда, душевным трепетом, понятным каждому, кто когда-либо возвращался в родные места. Я снял новую серую шляпу и понес её в левой руке. Теплый ветерок обвевал мои темные вьющиеся волосы. Справа и слева от тропинки была еще не просохшая, черная земля. Воздух звенел трелями жаворонков. Мелькали желтые и красные бабочки.

Хотелось спросить: «Ну, как вы тут поживаете?» но побоялся, что родственник начнет жаловаться на неполадки новой жизни и это испортит настроение. Подошли к лесу, сквозь который просвечивала водная гладь. Пахло свежестью — тем смешанным запахом весны, в котором можно уловить и аромат распускающейся вербы и терпкость прошлогодних листьев, и дыхание оттаявшей земли и то волнующее, чем богата весенняя мутная вода.

На берегу лежало несколько опрокинутых лодок, прикованных цепями к деревьям. Каждая была на замке. В ожидании попутчиков, сидя на трухлявом бревнышке, скучали два плохо одетых мужика. Бороды у них были не расчесаны, рваные шапки удивляли живописной ветхостью. Мне сначала показалось, что эта бедность — нарочитая, для показа. Ведь можно было всё это лохмотье и на шапках и на пиджаках притянуть нитками и заш-

топать. Но, подумав, я решил, что должно быть у этих людей нет не только тряпок для штопки, но даже иголок и ниток. Стало неловко за свою новую шляпу и серое пальто реглан.

Один из мужиков тянул козью ножку, другой с протянутой рукой, которая почти касалась лица курящего, упрашивал:

— Ну, оставь хоть на одну затяжку. Я ж тебе оставлял, когда был богаче.

— С прибытием, Родион Михайлович, — приветствовали они меня, — на родину, стало быть потянуло? Ох, не такая она, родина-то, какой была в старинное время... Видишь, до чего обносились? Можно сказать, артисты из погорелого театра. Может захватишь, Михаил Фролович? Грести подсобим.

— Места хватит на всех, — с готовностью ответил Кузнецов.

Только теперь, по голосам, я узнал оборванцев: это были почти мои однолетки, товарищи по начальной школе — Митрий Карасев и Федот Лопатин.

— Табачком не разживемся по малости, Родион Михайлович, — смущенно спросил Карасев, только что кланчивший оставить на одну затяжку.

— К сожалению, не курю, ребята.

— Стало быть такая наша доля, — со вздохом сказал мужик, — как говорится, бедному — везде беда.

Он подошел к самой хорошей лодке.

— Ваша, значит, эта, цветистая?

— Да.

Лодку отомкнули, сдвинули на воду, выдавив ложбинку на влажном песке.

На голубых бортах с обеих сторон было аккуратно выведено белыми буквами название лодким: «Лебедь».

— Хорошая у тебя посудина, Михаил Фролович, прямо можно сказать, господская, с нашими лохмотьями стыдно и залезать в такую, — сказал Карасев.

— А ты поменьше трепись языком, а побольше руками действуй, — заметил Кузнецов.

В лодке были три сиденья: у кормы, в середине и поближе к носовой части.

Рваные колхозники уселись на середине, хозяин на корме, а приезжий москвич на третьей, самой чистой скамейке.

— Ну, Господи, благослови, — сказали гребцы и вместе взмахнули голубыми веслами, укрепленными в уключины. В воде они отражались, как в зеркале.

Сначала плыли руслом реки. Там и сям закручивались водяные спирали. Течение было стремительным, как будто под гору. Справа стояли стеною сероватые, еще обнаженные осоки. Левый низкий берег был затоплен. Кусты выглядывали из воды зелеными верхушками, гнувшимися под напором течения.

— Давненько не заглядывали в родительские места, Родион Михалыч? — спросил Карасев.

— Ровно десять лет. — О-го-го! Самые, можно сказать, каторжные годы. Видишь, что с нами стало за этот срок? В песне-то поется: «Кто был ничем, тот станет всем», а с нами наоборот вышло: были всем, стали — ничем.

— Не в песне, а в «Интернационале», — заметил сосед, — в песнях такого вранья не полагается.

— В теперешних-то? Еще похлеще: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Это тебе самая бессовестная небылица!

— А по какому случаю вы раскудахтались, товарищи, а? Вы где — на воздухе или на земле? — строго спросил хозяин лодки.

— Да как будто на воде, товарищ Кузнецов.

— То-то на воде! Не видите кустов?

— Как не видать? Ну, и пусть себе соками пропитываются.

— Младенцы несмышленные: да ведь под каким-нибудь кустом рыбак может очутиться, а по воде знаете, как далеко разносится. Так что на моей лодке, при московском госте, прошу контру не разводить, а то еще в беду с вами встрянешь.

— Я думаю, Родион Михалыч за эти десять лет не пошел по партийной линии, — смутился мужик.

— А почему ты знаешь? Я родней довожусь Родиону Михалычу и то ничего не знаю.

— Да мы что ж? Мы ведь только шутим. Разве можно понимать наши речи всерьёз? — испугались мужики.

— Ничего, ничего, говорите, не стесняйтесь, выкладывайте всё, что у вас на душе, только немножко потише. Меня вам бояться нечего, а насчет других соображайте сами, — успокоил я мужиков.

— В Москве-то наверно всё другое — и люди, и одёжа, и дома, и разговоры, и всякая еда, — не унимался бедняк-говорун, — а все говорят: «Равенство... равенство» ... Брехня одна. Никогда на свете не было равенства и не будет.

— И очень даже хорошо, — заметил его сосед, — подумай-ка своей башкой, что бы получилось, если б все люди были одинаковые ростом, и толщиной, и мордой, и все бы жили в одинаковых домах и все бы одинаково обувались и одевались и у всех бы была одинаковая жратва... Господи, скучища-то какая властвовала бы земной планидой... Люди на стенку полезли бы от такого равенства. А при теперешней картине не заскучаешь. Вот приехал из Москвы Родион Михалыч и сразу видно, что он из другого теста испечен — со всякими начинками, изюминками, мармаладом — поглядеть и понюхать приятно. А заглянули бы мы с тобой в Москву, все бы от нас шарахались, как от чумы. Вот в этом то и состоит интерес жизни. Хочешь жить, как Родион Михалыч, тянись, обмозговывай, как выйти на дорогу, как прошибить кальер, заводи знакомства, не спи ночей, не валяйся байбаком, а шевелись, действуй. Ты думаешь легко досталась Родиону Михайловичу серая шляпа? Он может быть три ведра пота пролил, чтоб добиться такой видимости.

В философии оборванца было много ядовитой иронии, сарказма, зависти, зубного скрежетания, вынужденной примиренности с трагизмом жизни, но всё это преподносилось в форме шутки, от которой щемило в душе.

— Хватит об этом! — решительно крикнул Кузнецов, — скажите, какая нелегкая занесла вас на другой берег.

— Пробовали клад поискать.

— Нашли?

— Какое там...

— Может искали не там, где надо?

— Там, да не повезло: хотели зайцами в Ташкент податься, но с поездов без билетов гонят, а под вагонами ездить не умудрены.

— Так что ж вы думаете: приехали в Ташкент и сразу зажили, как господа? —сердито спрашивал Кузнецов.

— Там, по крайности, можно нагишом ходить, а на короткие ситцевые штанишки как-нибудь разжились бы.

— А жены и дети?

— У них свой разум, не пропали бы и без нас: мы им не добытки сладостей. Разве только кое-когда руганью отведешь душеньку. Небось, не пропадут.

Всё, что я видел слышал наводило на меня жгучую тоску. Какие два разных мира: столица и глухая, заброшенная, нищая окраина России! Жители Москвы даже не представляют всего ужаса современной деревни.

Большой и Художественный театры с одной стороны и поиски мест, где можно ходить нагишом — с другой. Дорогие папиросы, магазины «Люкс» дворцы подземной дороги и жадная мольба — дать затянуться почти докуренной козьей ножкой, небывалая бедность, отчаянная безысходность.

Деревья и кусты, залитые водою остались позади. Теперь плыли по сплошному морю — по затопленным лугам. Завиднелась длинная лента села. Железные и тесовые крыши были вперемежку с соломенными. Десять лет назад в центре села возвышалась тринадцатиглавая церковь. Теперь её не было. Село показалось окургузеным.

На рваную шапку «философа» села красная бабочка.

— Митрий, вот ты говорил, что в Москве от нас шагнулись бы, как от чумы, а бабочка, должно быть, и нас за людей признала: видишь — на твою рвань уселась и хоть бы что.

— Ошиблась наверно, подумала, что я не человек, а бессловесный куст вербы.

— Слушайте, ребята, по дружбе вам говорю: не распускайте своих языков, неровен час, наскочите на такого супчика, что тут же сцапает, — сказал наставительно Кузнецов.

— Хуже не будет, — огрызнулся Карасев, — ну аре-

стуют, что ж такое? А сейчас мы разве не арестованы? Тогда над нами может быть кто-нибудь сжалится: табачку в тюрьму придет, страдальцем будет считать. А сейчас по газетам мы счастливые, зажиточные, а на факте — несчастнее козьяков, что выползают весной погреться на солнышке... Козьявки живут, радуются, а у нас из всех удовольствий только и есть, что бесплатный воздух, но когда его много, сильнее сосет под ложечкой от голода.

Лодка проскользнула над затопленным плетнем огорода и остановилась у толстого ствола распутившейся ветлы. Над деревом со звоном кружились пчелы.

* * *

Я вспомнил сладкую, сочную «хорошавку», бархатный анис, крупный апорт, крыжовник, сливы, красную и черную смородину, душистую малину этого сада. До коллективизации я каждое лето приезжал к сестре. Здесь я родился, вырос, знал всех мужиков и баб. Ко мне относились с почтением, как к человеку, выбившемуся в люди, ко мне шли за советом, за книгой, мною гордились, как прославившим свое село книгами собственных сочинений. Молодежь любила слушать мои рассказы о прошлом России и о других странах. На церковной площади я устраивал чтения своих рассказов и стихов. Приезд писателя Родиона Акульшина был праздником не только для Виловатова, но и для всей большой округи. Учителя, священники, врачи из других селений приглашали меня в гости, считая эти встречи «незабываемыми».

Коллективизация всё изменила: на родине нельзя было ни отдыхать, ни работать.

Я видел печаль на лицах, слышал слезные жалобы, каждую минуту сталкивался с несправедливостью, самоуправством, неразумными распоряжениями. Говорить об этом с начальством было и бесполезно и не безопасно: меня могли зачислить в число недоброжелателей нового строя. Побывав в колхозе одно лето, я решил с тех пор проводить каникулы в подмосковных деревнях, в Крыму, на Волге.

Но в этом году меня почему-то неудержимо потянуло в родные края.

Десять лет! Да это же целая вечность. За сестру я не беспокоился: её муж был бригадиром-учетчиком. Сама она тоже работала в колхозе круглый год. Трое учащихся детей принимали участие в колхозной страде в летнее время. Семья зарабатывала достаточно трудодней, чтобы жить терпимо. Правда, с одеждой было плоховато, как у всех, но вот удалось справиться лодку и покрасить её масляной краской. Уже одно это ставило бригадира в положение зажиточного. «У Кузнецова — собственная лодка», — говорили про него.

* * *

Сестра несколько раз выбегала из дому — посмотреть с горы, не видно ли вдали голубой лодки. Заметив её, она решила не возвращаться в дом. Предстоявшая встреча с единственным братом-писателем радовала до слез. Она плакала заранее, искренно жалея, что отец не дожил до славы сына, о которой он так мечтал. Еще в детстве, когда учительницы и соседи пророчили вихрастому Родьке известность, отец хотел только одного: переселиться к сыну, когда он «выйдет в люди» и жить у него на положении дворника. Отец умер весной того года, когда осенью вышла первая книга сына, вызвавшая восторженные отзывы всех газет и журналов. Автор прислал всем родным и знакомым по одному экземпляру. Все, получив книгу, с почтением перелистывали ее, нюхали, читали, удивлялись, хвалили:

— Ай, да Родион, чего удостоился! Прославил всё наше село!

Вслед за отцом вскоре умерла и мать. Свидетелями успехов Родиона осталась только сестра и двоюродные братья и сестры.

Я любил сестру и охотно переписывался с нею. Я баловал её посылками из Москвы. Она слала мне ржаные лепешки на сметане. В подробных письмах о колхозной жизни она старалась успокоить меня. Когда у колхозников были отобраны коровы, я думал: «Как-то теперь она будет выходить из положения с тремя детьми?» Но от нее вскоре пришла весточка, в которой она писала: «Дорогой брат, я очень рада, что теперь у нас нет ничего.

Корову у нас взяли. Никогда у меня не было так спокойно на душе, как сейчас. Почему? Да потому, что каждый малый собственный пустяк тянет за душу. А когда нет ничего, то о чем беспокоиться?»

Я присылал ей каждую статью о себе. Она держала это в особых коробочках, которые хранила на дне сундука и лишь изредка, по просьбе детей, доставала их для прочтения.

Окончив только начальную школу, она много читала, интересовалась газетами и журналами. Она знала, что брат не простой человек, а известный писатель. Её муж был попроще, меньше читал, но преклонения перед родственником у него было больше чем у Матрены.

* * *

Как только лодка причалила к саду, наполовину залитому половодьем, гость услышал звонкое сестрино приветствие:

— С приездом, братец!

Она стремительно, как девочка, побежала ко мне по наклонной тропинке. Я поспешил ей навстречу. Мы крепко обнялись. Первой заплакала она, а, глядя на неё, не утерпел и я.

— Ты ничуть не постарел, даже наоборот, помолодел, а меня наверно не узнаешь: я ведь колхозница.

— Ты стала еще интереснее.

— Значит, ты узнал бы меня на базаре даже в чужом городе?

— Даже если бы население всего земного шара собралось в одно место, я и там узнал бы тебя в первую минуту.

— Ну, спасибо. А почему же у меня на сердце тоска?

— Радость при свиданьи всегда немного отзывается тоской.

— Нет, сердце что-то чувствует: наверно это наша последняя встреча.

— Что ты запела панихиду вместо здравия? — осердился Михаил Фролович.

Карасев и Лопатин, поблагодарив, хотели удалиться.

— Погодите, — остановил я их, — вы же трудились, гребли, вот вам за труды.

Я дал им по пятерке.

— Премного вам благодарны, Родион Михалыч, как были вы добрым сыздетства, когда на свадьбах забавляли гостей пляской, так прежним и остались. Дай вам Бог еще больше достатка, не приведи вам Бог таких лохмотьев, как на нас, а о разговоре в лодке забудьте.

— Забыть этого нельзя, но моя память безопасна для вас. Я буду помнить это для себя. Заходите как-нибудь поговорить о горе и радости.

— О радости будете говорить вы, а наша сказка горем начинается, горем и кончается, — махнул рукой Федот.

Когда они ушли, сестра сказала:

— Наверно всю дорогу не давали покоя? И как это они пристряли к вам?

— Ничего, ничего, москвичам это полезно.

— Да, Родион, Виловатова ты теперь не узнаешь: всё разваливается, всё сходит на нет. Прежним осталось только небо да пожалуй, вороны, галки, воробьи, голуби, а люди, гумна, поля, луга, лес — всё другое.

Вошли в дом. В просторной кухне было чисто: пол выкрашен желтой краской, стол покрыт голубой клеёнкой, возле порога лежал половик из зеленого камыша, стены были заклеены плакатами из Москвы — о пятилетке, займах, зажиточной жизни, о стахановцах. Положение колхозного бригадира обязывало ко многому, убранство его квартиры не должно было наводить на какие-либо подозрения.

Передняя часть дома была разгорожена на три комнаты: большой зал и две маленьких спальни. В переднем углу, вместо икон, стоял портрет косоглазого, лысого Ленина. Большая стена справа была увешана множеством фотографических карточек всех родственников, но главным персонажем здесь был я.

Зеркало в среднем простенке было в ржавых пятнах по углам. На подоконниках стояли горшки с геранью, не зачахшей в зимнюю пору. Маятник ходиков с маками,

ромашками и васильками над циферблатом, выстукивал задорно, как бы радусь приезду гостя.

Скатерть с петухами, которой был покрыт стол, напомнила замужество сестры. Тогда я в свадебном обряде выполнял роль «продавца невесты», требовавшего дорогого выкупа со сватов, приехавших за нею. Грозным воином, вооруженным толстой скалкой, сидел я справа от сестры, не соглашаясь ни на какие посулы и уступил только тогда, когда мою шею обмотали отрезом голубого ситца на рубашку. Но когда сестру уже вывели из дому, чтобы везти к венцу, я, бросив ситец на пол, стал плакать, как раскаявшийся мелкий предатель, польстившийся на такую малость. Выбежав во двор, я крикнул что есть мочи: «Отдайте, не нужен мне ваш ситец». Все гости засмеялись, сестра (она никогда не забудет этого), садясь в тарантас, оглянулась на меня и залилась горькими слезами.

— Свадебная скатерть... Ты сохранила её, — сказал я в раздумьи, — о как это было давно, но как живо воскресает в памяти...

— Слабый ты был тогда, не отстоял меня, — вздохнула сестра.

Я сел за стол, взял угол скатерти с самым большим, черно-красным петухом и заплакал. Она прижала мою кудрявую голову к своей груди, и, глядя, как маленького, стала приговаривать:

— Всё понимаю, каждую твою думу чувствую... Мне ведь тогда учиться хотелось, а не замуж выходить... Я ведь не вышла... Меня выдали... Но видно, чему быть, того не миновать... Я стала деревенской бабой, потом колхозницей. Не всем быть учеными... Прежнего не вернешь. А может быть его и не нужно возвращать? У меня хорошие дети, добрый муж, а, самое главное — ты — дороже всего на свете!

— А у меня — ты... одна ты, — всхлипывая повторял я.

Михаил Фролович вышел из зала, чтобы не мешать нашим излияниям чувств.

* * *

Узнав о моем приезде, стали собираться родственники — кумовья, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы.

— Ох, чего же это мы сидим? Ты же голодный, — спохватилась сестра, — мы ведь еще наговоримся и наплачемся с тобою, ты ведь не на один день приехал?

— Недели на три, пожалуй.

Родные здоровались со мной тоекратными поцелуями, как на Пасху, хотя до нее оставалось еще две недели, все восторженно глядели в мое лицо, крепко жали руку. Двоюродная сестра Настасья, ласковая и простодушная, поздоровавшись, призналась:

— А ведь я всё время трепыхаюсь за тебя, все время слезно молюсь Богу, чтоб ты не свихнулся с ума с разума.

— С чего же может свихнуться Родион Михалыч? Ну и брякнешь ты, Настасья, — зашумели на неё родные.

— Как это с чего? Знает вся Расея, во всех журналах и газетах печатают его рассказы... Разве мозги от этого не повредятся?

— Они ведь мозги-то, Настасья, крестьянские, привычные ко всему: сегодня хвалят, а завтра так могут скрутить в бараний рог, что в глазах потемнеет.

— Свят! Свят! Свят! — замахала Настасья руками, — спаси и сохрани Господи от вражьей напасти!

Родственницы стали приносить из кухни тарелки, вилки, ложки и кушанья: заливного судака, вилковой капусты, моченых яблок, хлеба. За стол садились с чувством радости и гордости за родственника — москвича приехавшего на родину.

— Перед ущицей не помешает горло прочистить да и приезд гостя отметить, — сказал хозяин.

— Без этого встречи не водятся! — зашумели гости.

Хозяин принес из кухни бутылку водки, сестра — **большую миску** с ухой. Сверху плавал мелко нарезанный укроп. Аромат весенней свежести затопил горницу.

— Давай перцу, как же это ты, Матрена, забыла о самом главном?

— Из ума вон, — призналась сестра, убегая в одну из спален. Перец был под замком в сундучке.

— На, только сыпь не до черноты, а то может кто не вытерпит этой лютости.

— Сыпь, сыпь, Фролович, всю неудобь с горла и кишок, как гребешком, счесет, — шутили гости.

— К чему эти причандалы? — удивлялись старики, показывая на глубокие тарелки, — всю жизнь из одной чашки хлебали, а теперь господский манер переняли.

— Теперь и коровы не едят из одной кормушки, — заметила Матрена, — значит, и нам надо исподволь к культуре приучаться.

— Выдумали какую-то «калитуру», а жизнь вконец исковеркали.

— Не будем заводить об этом дискуссию, — сказал хозяин, — лучше будем думать о вкусе ухи.

Все выпили за здоровье приехавшего, крикнули, закусили вилковой капустой и с повеселевшими глазами принялись за уху. Она была наваристой, вся в блестках, душистая, редкостная. Ели новыми деревянными ложками с цветочками под лаком.

— Откуда такое добро? — не утерпела от любопытства Настасья.

— Много будешь знать, скоро состаришься и уом-разумом свихнешься, — засмеялся хозяин.

Он не хотел признаться, что достал ложки по знакомству с заведующим районной потребилкой, как редкость. В последнее время во всех сельских лавках ложки продавались только железные, с острыми краями, заржавленные. Такую ложку страшно было взять в руки и еще страшнее — поднести ко рту.

Ели по старинному: зачерпнув хлёбово, ложку снизу вытирали кусочком хлеба, чтобы не запачкать старинную скатерть с петухами, ко рту подносили не спеша, проглатывали бесшумно.

Я перенесся мысленно в детство, когда за большой стол усаживалось не менее пятнадцати человек и все тянулись к миске, стоявшей посреди стола. Сейчас было столько же, но ели из тарелок и хвалили вкусную уху.

— Это ты счастливый, Родион Михалыч, — ликовал хозяин, — иной раз целую неделю цедишь воду без всякого толку, а тут сразу как будто кто лопатой навалил.

Перед развареной рыбой и заливным судаком еще раз приложились к рюмкам. Капуста и яблоки были сочные, ядреные. После обеда пили чай, закусывая жареными пирожками двух сортов — с картошкой и морковью.

Мне задавали много вопросов о Москве, о жизни рабочих, о магазинах, развлечениях, о метро, о благоустройстве столицы и о том, сколько осталось церквей от «сорока-сороков».

Под окнами стали собираться любопытные, стесняясь войти в дом и прислушиваясь к каждому моему слову. Сидевшая рядом со мной Настасья шепнула на ухо:

— Секретарева жена прибежала шпионить, смекай, что говорить, чтоб не навешали всяких собак на шею.

— На это соображения хватит, — успокоил я соседку.

Засиделись часов до четырех. Хотя солнце было еще высоко, родственники разошлись, чтоб дать покой москвичу. Но мне захотелось пройти с сестрой за село, на выгон и навестить родительские могилы на кладбище.

— Вы можете идти на разгулку, а я проводаю, что творится в бригаде, — сказал Михаил Фролович.

Первое впечатление от родного села после десятилетнего отсутствия было тягостным: убогость чувствовалась на каждом шагу. Доски на окнах вместо стекол, покосившиеся крылечки, поваленные плетни, ветхая одежда, облезлые стены домов, развороченные кровли — всё безмолвно стонало и жаловалось.

Сестра сказала, что дети вероятно не приедут на каникулы: сын собирается с группой учащихся в экскурсию, старшую дочь позвала подруга, а младшая хочет подогнать некоторые предметы.

Дом Кузнецовых окнами глядел на церковную площадь. На месте бывшей церкви валялись осколки кирпичей: церковь разобрали на фундаменты колхозных построек, — свинарников, конюшен, коровников. В бывших домах священника, дьякона и псаломщика жило колхозное начальство. Садики перед этими домами были запущены, оградки во многих местах проломаны. Чужие козы обгладывали кору сирени, акации и тополей.

— Ты в письмах успокаивала меня, а по правде говоря, радостного очень мало, — сказал я со вздохом сестре.

— Партийцы говорят, что это временно, надо потерпеть.

— Сколько лет?

— Может быть — пять, а может быть пятьдесят.

— А может быть и все — сто?

— Кто их знает. Уж больно плохо со всякими товарами: нет ни у кого ржавого гвоздя и в потребилке ни за какие деньги не достанешь. Но диво: народ со всякими нехватками свyksя. Радости у людей нет, но рук на себя никто не накладывает. Вздыхают, сокрушаются, вспоминают старину и... терпят.

— Помнишь, в начале коллективизации я советовал тебе вести дневник всех мелочей колхозной жизни.

— Терпения хватило месяца на два, а потом забросила: так за день измотаешься, что никакой дневник не лезет в голову. Вот если бы ты жил все время в колхозе и запиосывал каждый день всё виденное и слышанное, получилась бы интересная книга. Лет через сто её читали бы, как «Тысячу одну ночь». Ты бы описал, как постепенно всё рушится: постройки, планы, желания, религия, порядочность, как люди превращаются в зверей.

— Значит, религия рушится?

— А разве нет? Вот сейчас великий пост, а кто об этом помнит? Кто его соблюдает? Кто молится? Вот скоро Пасха, но Пасхальный день ничем не будет отличаться от нынешнего. Даже яиц забудут покрасить, правда, и красить-то нечем, и начальства побоятся за цветную скорлупу, из-за которой насмешек не оберешься. Так уж лучше никого не дразнить.

— Но может быть люди молятся Богу тайно?

— Дай Бог, если старики и старухи. Молодежь растёт без Бога. Её бог — комсомол, спектакли, побольше жалованья.

— Неужели и твои дети такие?

— Немножко может быть получше, но ведь и они живут не на острове, ведь с волками жить — по-волчьи выть.

— Ты впервые говоришь со мной таким языком.

— Как же говорить с тобой другим языком, когда ты всё видишь своими глазами? В письмах я не хотела тебя расстраивать.

— А когда отобрали корову, ты тоже утешала меня, что без собственности лучше?

— Нет, это я и теперь повторяю: чем больше собственности, тем больше беспокойства.

— Ты сказала, что порядочность тоже рушится?

— А то как же? Ну, скажи, как может человек оставаться порядочным, когда всё перевернуто вверх дном, когда всё смешано, спутано, оплевано, высмеяно, когда каждый думает только о том, как бы ему устроиться по-лучше, когда человек не знает, будет он завтра сыт или нет?

— Ты очень хорошо говоришь. Не пробовала писать в газеты?

— О «достижениях на колхозном фронте?» Не повертывается рука, а, главное, совесть. Учительницы всё время уговаривают меня, чтобы я записалась на заочные курсы.

— А что ты сама об этом думаешь?

— В пятьдесят лет на заочные курсы? Поздновато, пожалуй. Пусть дети за меня учатся. Всё хорошо в свое время. Все в университет запишутся, некому будет в колхозе работать. Видишь столбики, остатки плетней, пустыри? Узнаешь, что тут было раньше?

— Неужели гумна?

— Да.

— Боже мой, как я любил гумна, в особенности, в пору сноповозки и молотьбы, ведь на гумнах выросли многочисленные башни из пшеничных снопов. А шум дружной работы, а тарахтенье веялки? Я ведь помню: работали по всей ночи и не уставали.

— Теперь работают прямо в поле: делают ток и гнут спину круглый год.

Впереди расстилалась ровная степь. Она казалась гладкой, покрашенной в зеленый цвет: трава только что пробивалась, снег сошел недели две назад.

Подошли к кладбищу. Когда-то оно было обнесено изгородью и рвом. От изгороди не осталось и следа.

Ров во многих местах завалился, сравнялся. По кладбищу бродили телята. Деревянные ограды на многих могилах были разворованы. Кузнецовы поставили металлическую: привезли по знакомству с мельницы. Внутри ограды когда-то была скамеечка. Её похитили.

Я помнил, каким было кладбище раньше. На многих могилах были посажены цветы, к крестам прибиты жестянки с надписями о покойниках. Теперь кладбище напоминало лесную вырубку: только кое-где торчали сгнившие основания крестов.

— Для чего растаскиваются кресты?

— Не догадываешься? Прежде печи топили кизяками, но для кизяков нужен навоз, а где его возьмешь, когда во дворе одна коровенка? А зимы у нас, сам знаешь, лютые. За каждую срубленную палку в лесу штрафуют. Чем же людям согреться? Ну, вот и жгут все, что только может гореть. А если нечего жечь, мерзнут.

— Ну, а жестянки-то с крестов для чего приспособливают?

— Ведра, посуду чинят.

Кресты в ограде Кузнецовых уцелели и надписи не были содраны.

— Я не уверена, что с наступлением холодов всё это останется на месте.

«Здесь покоится прах раба Божия Михаила Акульшина. Родился в 1850 году, скончался в 1925. Мир праху твоему». Таких же размеров жестянка была и на другом кресте: «Здесь покоится прах рабы Божией Аграфены Акульшиной. Родилась в 1860 году, скончалась в 1940. Мир праху твоему».

Мы опустились на колени перед оградой и молча помолились.

Могилы родителей Михаила Фроловича были в другом месте. Их мы тоже навестили.

* * *

Из села слышался какой-то странный шум: как будто кого-то били и кто-то вступался за жертву. Детские голоса сливались с голосами молодежи и стариков. Кто-то плакал, кто-то ругался.

— Что это может быть? — спросил я с удивлением.

— Голоса приближаются с того конца. Похоже на шум кулачного боя, но в колхозные времена кулачки прекратились. Что же это такое? Слушай, можно разобрать слова.

— Простите меня, люди добрые, пят душ погубила я, — донеслось до кладбища.

— Наталья Пояркова голосит, про неё давно все знают, что она сокрушается из-за аборт. Хочешь поглядеть?

— Невеселые картинки для первого дня, но раз уж приехал в царство печали, надо быть готовым ко всему.

Мы быстро вышли с кладбища и поспешили к бывшей церковной площади. С конца села бежали взрослые и дети: никто не хотел пропустить редкого зрелища.

— Куда бежит народ? — спросила Матрена у спешившей старухи.

— Говорят, какая-то баба умом рехнулась: никакого удержу нету.

— А почему же её выпустили на улицу?

— Сама выскочила, никто совладать не может, у таких говорят, неуёмная сила.

Народ спешил, как на пожар. Дети на бегу падали, расшибали носы, но плакать было некогда.

— Она нам дальней родственницей доводится, — сказала Матрена, — у них шестеро детей. Беременеет она каждый год, а при теперешней жизни не до оравы: с полдюжиною трудно управиться. Ну, вот ей какая-то знахарка посоветовала вытравлять младенцев хиной. Один раз она чуть Богу душу не отдала. Это было как раз при последнем аборте. С тех пор задумываться стала. Каждый день вздохи, слезы, сокрушение. А тут еще монашка — черница подлила масла в огонь: внушила ей, что это равносильно убийству. Пять аборт — пять убийств. Бог за это не помилует. После этого бедняжка совсем пала духом. Прошлым летом мы с ней на прополке проса работали. Я рядом с нею шла по полосе. Глядя на нее, сама настрадалась. Полет, полет упадет на землю и начинает голосить: «Маленькие вы мои, убитые голубяточки, никогда мне не замолить греха за ваши

душеньки»... Уж я её по всякому успокаивала: Ведь не по своей воле ты это сделала, нужда тебя заставила, и ведь не живые они были, а только в зародыше» — «Не говори, Матренушка, они уж под сердцем трепыхались».

— А муж знал об этом?

— По его уговору и душила их всякий раз несусветной горечью.

Много раз жалела она, что теперь в Киев на богомоль никто не ходит, потому что всё там властью порушено. А ей думалось, что в Киеве она бы вымолила себе прощение.

Визжавшая толпа бежала к площади. Слышались возгласы:

— Ох, и злая!

— Кирпичинами кидается!

— То плачет, то падает!

— Сюда бежит! Удирайте, а то поймает и горло перекусит, сумасшедшие любят кровушку, вместо кваса локуют!

Мы увидели кружащуюся посреди улицы женщину, полуобнаженную, с распущенными черными волосами.

— Всем, всем в аду кипеть, не мне одной: все убивали своих младенчиков.

На вид ей можно было дать лет тридцать пять. К высокому лбу липли волосы. Красивое исхудалое лицо было в темных пятнах — не то синяки, не то земля: от кружения она часто падала на что попало. Старухи крестили рты, боясь что чрез них войдут бесы из этой женщины. Многие сокрушались:

— Какой позор: теперь кто возьмет замуж старшую дочь? Каждый скажет: «Она из полоумной породы»... Вишь, как она к избам жметя, от стыда слезами заливается...

— А муж-то, Никифор-то где?

— В поле с утра уехал, а как раз после его отъезда на неё и накатило.

— Говорят, к нему верховой поскакал, того и гляди нагрянет.

Меня удивляло, что люди боялись подойти к больной

и увести её с улицы. Для всех это было, как развлечение.

— Матрена, подойди ты к ней, — попросил я сестру, — она вероятно узнает тебя. Уведем её к нам.

— Здравствуй, Наташа, сказала тихо и ласково Матрена.

— Смотри, она тебя сейчас огреет чем ни попадя! — зашумел народ.

— Матренушка, сестриченька моя золотая! Спасибо тебе за ласковое слово, только ты одна жалеешь меня, а все люди, как звери лютые.

Она упала на грудь Матрены и затряслась в рыданиях.

— Наплюй на них побольше, а сейчас к нам пойдем, у нас сегодня гость: брат Родион приехал. Вот он.

Я подошел к Наталье.

— Красавчик ты мой, — радостно крикнула она, — с приездом, брательничек, извини меня дуру растрепанную.

— Ничего, это не страшно, пойдем к нам, посидим, поговорим, молодые годы вспомним.

— Вот спасибо вам, золотые мои и хорошие, кабы не вы, эта орда всю бы душу из меня вымотала.

— Что с них спрашивать? Они сами не знают, зачем сюда сбежались, — успокаивала её Матрена.

Мы повели больную к себе. Народ удивлялся, что недавнее буйство сменилось умиротворенностью. Некоторые были разочарованы, в особенности те, которые только что прибежали.

— Говорили — рехнулась, а ничуть даже незаметно, только лицо испачкано, а разговаривает не хуже нас.

Толпа стала понемногу расходиться. Старшая дочь Натальи, ведя за руки братишку и сестренку, следовала за матерью поодаль. Когда мы подходили к своему дому, из конца села слышался конский топот.

— Никифор скачет! Сейчас будет дело! — раздались выкрики. Кричавшие надеялись, что произойдет что-то небывалое.

— Никиша! — испугалась Наталья, — спрячьте меня, а то сейчас ухайдакает!

— Руки короткие, никто ему не даст тебя! — решительно заявила Матрена.

— Ты чего вздумала озоровать, шура? Хочешь, чтоб все на нас пальцем показывали? — зарычал муж, не слезая с рыжей лошади. Лицо его было запылено, по щекам текли струйки пота, смывая пыль и делая лицо полосатым. Большие черные глаза красивого лица метали молнии.

— Не расходишь и не кипятись, — крикнула Матрена, — а сначала поздоровайся с гостем.

Я подошел к Никифору.

— Уж больно ты грозен, Петрович: вместо того, чтобы пожалеть несчастную, сразу начинаешь с наскока. Здравствуй!

Мой спокойный голос пристыдил мужика и он начал плакаться на свою долю:

— Разве в нашем положении можно так распускать себя? И без этого света не видишь, каждый день к тюрьме готовишься, а тут еще она со своими дурацкими убийствами. Забила себе в голову погибель, а нынче вон всю семью оконфузила.

Матрена делала знаки Никифору, чтоб он не говорил об убийствах. Но сказанное мужем слово опять всколыхнуло только что успокоившуюся душу.

— Убивица не я, а ты! Ты всякий раз подзуживал меня на такое дело! Ты думаешь, сладко мне было глотать горстями хину? Попробовал бы ты эту закуску, не так бы запел.

— Перестанем об этом говорить, не будем снова собирать народ, вот придем к нам и обо всём потолкуем, — сказала Матрена.

— Если будешь озоровать еще, нянчиться с тобой не буду: оттяпаю башку и делу конец... В тюрьме сгноят — не жалко, а расстреляют — еще лучше: за одну секунду со всей теперешней маятой разделаюсь!

— Никифор Петрович, как тебе не стыдно? Я думал, ты человек с нервами, а ты, как истеричная девчонка, — строго сказал я родственнику.

— С нервами остались там, у вас, в Москве! На нашей каторге о нервах позабудь!

— Ну, хорошо, хорошо, согласен с тобою. Пойдем в сад к Матрене, половодьем полюбуемся.

— У нас половодье — не для любованья, а для того, чтобы с высокой кручи в него бултыхнуться!

— Можно, конечно, и это, — с улыбкой согласился я.

Солнце скатилось к западу. Оно еще не скрылось совсем. Через улицу протянулись длинные тени от домов. С запозданием пригнали коров из стада. Коровы были тощие, замороженные. Я удивился, что их целый день держали в степи, где еще только пробивается травка, которую трудно ухватить коровьими зубами.

Матренина Пестровка, вбежав во двор, ринулась на крылечко, порываясь зайти в кухню.

— Видишь, как осмелела? — указала Матрена на корову, — готова из рук рвать, как волк.

Пестровке вынесли какого-то пойла, в котором плавали куски размоченного хлеба. Давно я не видел такой коровьей жадности. Я провел Никифора и Наталью в горницу. Матрена вынесла из спальни старую голубую кофту.

— На, прикройся, а то как-то неловко. Я сейчас приду, только корову подою.

Наталья оделась и стала причесывать растрепанные волосы.

— Запомни, чтоб этого больше никогда не было! — стуча пальцем по краю стола, пригрозил Никифор, — мне твой уличный театр осточертел, без него много всяких других представлений!

— Сейчас ужинать будем, у Матрены такие деликатесы, что и в Москве не сыскать, — пошутил я, хлопая Никифора по плечу.

Вошел Михаил Фролович. Увидев Наталью и Никифора, он смутился. Ему еще на улице сказали, что Родион и Матрена повели их к себе. Ему это было не совсем по нутру. «Уж лучше бы посадить за стол Карасева и Лопатина, чем рехнувшуюся бабу и полоумного мужика». Но о своих мыслях он не сказал ни мне, ни Матрене.

— Михаил Фролович, — обратился я к зятю, — сегодняшний день кажется мне вечностью. Я столько на-

гляделся и наслушался за один этот день, что о нем можно написать большую книгу, которую так и назвать: «Один день в колхозе «Твердая поступь». Кстати, кто придумал такое название?

— Кто-то из райкомщиков. Нам до такого названия никогда бы не додуматься. Наши мужики предлагали: «Перемена жизни», «Заря коммунизма», но начальство сказала: «Это слишком шаблонно».

За ужином Наталья чувствовала себя хорошо и внимательно прислушивалась к разговорам. Опять собралось много народу — одни, чтоб поглазеть на москвича, другие, чтоб поудивляться на Наталью, которая сидит за столом, как ни в чем ни бывало.

* * *

Из конца села пришла тетка Анна, восьмидесятилетняя добрая сестра моего покойного отца.

— Здоров, Родивонушко, с прибытием на родимую сторонущу. Ты все хорошеешь, мой племянничек. А ведь я неспроста пришла, а в гости тебя позвать.

— Небось, не сегодня, — заметила Матрена.

— А вот как раз и не угадала: сегодня, в эту же минуту, потому как дело есть больно важное — баньку для тебя истопили, чтобы ты всю московскую «калитуру» смыл и хоть на короткое время стал, как в старину, Вилотовским мужиком. Я как услыхала, что ты приехал, сразу сказала своим бабам: «Готовьте баньку для дорогого гостечка». А наша баня, всякий знает, не баня, а березовая майская роща. Городские люди про нее говорят: «Листократская», а я скажу: «Подымай выше — царская». Дух в ней легкий, топится по белому, в передбаннике пол из сосновых досок, половиками застлан. Березовые веники кипятком ошпарены, мягкостью китайскому шелку не уступают. Как начнешься париться, кажется, будто ураган в роще бушует — и аромат, и легкость и все косточки бархатными делаются, как будто и нет их. Головку свою умную, талантливую, щелоком помоешь. Пойдем, голубчик, порадуй родную тетку Анну, которая тебя на свет Божий из чрева матери принимала.

Я не стал возражать и покорно отправился на другой конец села, чтобы доставить удовольствие ласковой родственнице и себе. Шли мы медленно. Справа и слева мне кланялись пожилые и молодежь, поздравляли с приездом, спрашивали: «На долго ли?». Извилистая улица показалась постаревшей за эти десять лет. Пока дошли до тетки Анны, я насчитал больше пятнадцати пустырей. Когда-то здесь жили зажиточные. Их раскулачили в 1929 году и сослали в Сибирь, а дома снесли, как строительный материал для колхозных надобностей.

Закат долго угасал. В широкие проулки виднелась ровная, зеденая степь. На душе было тяжело, но при людях я прятал свою грусть как можно глубже.

Баня действительно оказалась прекрасной, прямо сказочной. Для света мне дали фонарь: «Летучая мышь». Приятное тепло, полумрак, шелест березового веника, мягкий щелок и чистый полук — напомнили детство, когда я ходил в баню вместе с отцом. Тогда люди не мылись, а только потели и хлестались веником на самой верхней доске полка. Теперь я мылся не спеша и думал о деревне. Её песня спета. Деревня вымирает. Мытье в бане было первой моей радостью за длинный день: вместе с потом из тела выходила не только физическая усталость, но и всё то, что переполнило душу тяжелыми впечатлениями, начиная со встречи возле лодки и кончая историей с больной Натальей. Я мылся так долго, что хозяева даже забеспокоились и подойдя к передбаннику, тихо спросили:

— Моетесь, Михалыч? Ну, ну, в час добрый, спешить некуда, хоть и еще часика два поблаженствуйте: это ведь в теперешнее время — главная радость человеческая.

— Нет, нет, я сейчас.

После бани меня потчевали солеными арбузами. Семья родственников состояла из десяти человек: дяди, тетки, двух женатых сыновей, двух невесток и четырех мальчиков. Старшему было лет 12, младшему не больше семи. Я оделил их длинными конфетками в золотых бумажках с махрами на концах. Дети сосали их очень долго,

часто вынимали изо рта и сравнивали, чья тоньше и красивее.

— У меня, как желтая сосулечка, — подпрыгнул малыш.

— А у меня — зеленая, как травинка, — похвалился его братишка чуть постарше.

— У меня малиновая-самая красивая, — показывал всем свою конфетку рыженький мальчик, похожий на младшую невестку.

— А у меня «раньшевая», как пельсин, — хвастался самый старший со светлыми, как будто льняными волосами.

— Вот какую красоту привез вам из Москвы дядя Родя, — сказала тетка Анна, подкладывая мне ломти арбуза, истекающего темно-красным холодным соком.

— Поедете с дядей в Москву?

— Поедем! — дружным хором ответили все четверо.

— Они только по годам малыши, а по разуму старикам не уступят — теперешняя жизнь развивает каждого куда скорее, чем в старину, — говорил дядя Евстигней, степенный, широкоплечий старик с разлатой белой бородою.

— Прежде-то мы, можно сказать, до самой свадьбы без порток ходили, длинной рубахой до пяток голь прикрывали, ну и по разуму были, как полагается беспартошным: дикие, робкие, слово боялись при стариках вымолвить. А теперь четырехлетний карапуз знает тебе и про Америку, и про Москву, и про северный полюс. Взять хотя бы эту четверку: да ведь они в профессора годятся, только не знаю, к лучшему это или к гибели?

— Умственное развитие современной молодежи по моему все же отрадный факт, — сказал я старику, — население земного шара заметно умнеет.

— Умнеет — это верно, — ответил дядя Евстигней, — но вот добреет ли? А ум без доброты, как я слышал, что сабля без ножен: того и гляди — поранит.

К дому кто-то подкатил на телеге.

— А ведь это, кажется, Михаил Фролович? Мой зять?

— Специально попросил у председателя подводу,

чтобы подвезти тебя из бани, — сказал Кузнецов, входя в дом.

— Вот за это спасибо, я действительно чувствую себя немного усталым.

— Вот какие настали времена, Родион Михайлович: люди умнеют, а подвезти гостя не на чем, всё под надзором новых хозяев, — стали горевать двоюродные братья.

— Об этом нечего толковать, Родион Михалыч сам знает о нашем положении, — сказал Кузнецов.

* * *

Почти целые дни я проводил в саду, откуда открывался широкий вид на окрестности. За лугами, залитыми водою, темнели отдаленные холмы, виднелась серая башня элеватора. Когда-то в пейзажи родины были вкраплены там и сям колокольни белых церквей. Теперь не осталось ни одной. Однажды я сделал запись в дневнике: «Что будет с Россией, если коммунисты продержатся у власти еще лет тридцать? Шестидесятилетие большевизма страшнее, чем триста лет татарщины: монголы не вели антирелигиозной работы на Руси, не уничтожали храмов, не стремились переделать душу русского человека. Страшно за будущее нашей великой страны: без Бога, без Христа, она может сойти на нет, исчезнуть, распылившись на отдельные, враждующие между собою области, как было в период удельных княжеств».

* * *

Зацвели яблони. С утра до вечера в саду звенели пчелы. Половодье постепенно спадало. Кое-где появились островки с бурыми пятнами от нанесенного на них мусора. Яркое горячее солнце подгоняло рост травы. С каждым днем островки становились всё шире и зеленее.

В полдень я любил бродить по степи, за селом. На горизонте переливался сухой воздух, превращаясь в половодье, струящееся серебром. Эти струи оставили глубокий след в сердце еще в годы раннего детства.

Тогда не было сомнения, что это вода. Как часто я просил отца — поехать туда и покупаться, но отец с улыбкой отвечал:

— До этой воды никогда не доедешь, это «полдни бегут».

В степи было тихо. По зеленой траве бегали рыжие суслики. Они подолгу стояли на задних лапках возле своих норок, радуясь солнцу, весне, теплу. Жаворонки не умолкали с утра до вечера. Движение по степным дорогам было слабое: за день пробежит несколько грузовиков да протарахтят две три телеги. Жизнь замерла и здесь.

— Царство тоски, — думал я, — и как это люди выдерживают здесь год за годом, в особенности, холодными зимами, когда всё занесено снегом, а в избах темно, холодно и неудобно?

Я жалел всех, кто вынужден коротать здесь свою жизнь: простой народ, интеллигентных людей, любимую сестру. Не предложить ли ей — переселиться ко мне? Ведь я одинок. В Москве сестра наверстала бы упущенное в культурном отношении, помогала бы мне в хозяйстве. Для её мужа тоже нашлась бы работа. И как это я раньше не додумался до этого?

Хорошо бы переселить из Виловатого не только родную сестру, но и всех близких и дальних родственников: Наталью и Никифора Поярковых, тетку Анну с семьей, двоюродную сестру Настасью, всех племянников и племянниц, но отпустит ли их колхоз? Ведь все они подневольные, без разрешения никто из них не может выехать даже в больницу. Человеку, решившему переселиться, надо получить отпускную бумагу, иначе его нигде не примут на работу, не пропишут ни в одном городе. Как всё это нелепо, как страшно: взамен свободы, радости, сытости и тепла — рабство, безысходное горе, голод и холод.

Я чувствовал, что трех недель здесь не смогу выдержать. Каждый день для меня растягивался в вечность. Даже сидя в саду, я не мог забыть, что за плетневой изгородью уже другой мир, а прогулки улицей села не давали ничего, кроме отчаяния. На пятый день своего гостеванья я признался сестре, что мне хочется пораньше вернуться в Москву.

— Нагостился? Так скоро?

В сестрином вопросе слышался упрек:

— Не можешь потерпеть три недели? Как же мы терпим месяцы, годы, десятилетия?

— Не нахожу себе места от тоски, Матренушка.

— Это без привычки. Нам тоже сначала было невмоготу, а потом притерпелись.

— Разве можно привыкнуть к неволе?

— Да, оказывается, можно. Как-то осенью сын, когда еще был дома, поймал чижику. Птичка всю зиму прожила в клетке. Весною мы её выпустили и знаешь — что? Невольница не хотела свободы, она рвалась в клетку, залетала в комнату и терпеливо ждала, когда её водворят на прежнее место: когда мы закрывали дверь дома, она стучала клювом в окно, она недоумевала, почему мы переменили к ней отношение. Мы хотели ей свободы, но она привыкла к неволе. Только на третий день она поняла, что свобода все же лучше заточения и улетела в лес... Я рассказала это тебе, чтобы успокоить твое сердце: только в первое время ты будешь чувствовать себя в колхозе не в своей тарелке, а потом тебя, как чижику, трудно будет отогнать от колхозной клетки.

— Думаю все же, что мне никогда не превратиться в чижику. Я не буду оставаться здесь на Пасху, потому что этот день в моей памяти остался днем света и радости. Когда я был в последний раз в Виловатове, служили Пасхальную утреню и обедню, пели певчие. Была еще какая-то надежда. Теперь всё умерло безвозвратно. Безпасхальность в разоренном колхозе — это слишком больно для меня. Не удерживай, сестра, а лучше подумай вот о чем: почему бы тебе с Михаилом Фроловичем не перебраться ко мне?

— Хочешь выпустить на волю из клетки двух чижигов? Не плохо бы, но думаю, что мужа не отпустят: он ведь бригадир, его отъезд сочтут дезертирством.

— Как отнесется к этому Михаил Фролович?

— Кто ж не хочет лучшего? Не забывай: мы подневольные.

— Вот поэтому мне и нужно уехать в Москву пораньше, чтобы всё приготовить к вашему переезду.

— Раньше осени об этом и думать нечего. Сейчас

идет весенний сев, а там уборка — самая горячая пора в колхозе.

— До осени не так уж долго ждать: если терпели двенадцать лет, потерпеть шесть месяцев — не так уж мучительно.

— Хорошо, не буду тебя задерживать, поезжай, но дождись хоть пирога со щавелем. Это ведь любимый пирог по всем селам и городам Волги. Сейчас он еще мелкий, ведь вода только сошла, а мне бы не хотелось отпускать тебя в Москву без такого угощения. Помнишь, какой крупный и сочный щавель рвали мы в детстве на поляне в «Вязовом углу?» В твоей сумке всегда были самые отборные листья. А как часто ты спрашивал у кукушки, сколько лет проживешь? А каким сладким казался нам пшеничный хлеб, когда возвращаясь домой, мы подходили к реке и, усевшись на берегу, мокали в воду зачерстневшие куски. Позже на эту поляну мы приходили за клубникой. Какая она была душистая — с одного боку красная, с другого чуть беловатая. Какой радостной казалась тогда жизнь. Какими ароматными и сочными были пироги со щавелем: ведь сахару тогда не жалели.

— Как хорошо я помню всё это. Ты нарисовала словами яркую картину детских лет.

* * *

Утром, проснувшись, я не увидел дома сестры: чуть свет она куда-то скрылась. Выйдя в сад, я заметил на другой стороне реки знакомую лодку — белую с голубыми бортами. Значит, сестра отправилась на поиски молодого щавеля. Я стал глядеть вдаль, не замечу ли кого? Да, конечно, это она — в темной юбке, в розовой кофточке и в белом платочке. То и дело наклоняется до земли, значит, рвет щавель. Но ведь он еще совсем мелкий. Сколько времени нужно потратить, чтобы собрать щавеля хотя бы на маленький пирожок! О, на какое терпение и самопожертвование способно любящее сердце!

Она вернулась в полдень.

— А всё-таки нарвала!

Это были её первые слова, когда она переступила порог.

— Завтра утром испеку, а с вечерним поездом можешь ехать.

Вечером обсуждали втроем план переселения в Москву. Михаил Фролович был очень рад моему предложению. Теперь всё зависело от правления колхоза.

— Думаю, что в октябре мы можем распрощаться с Виловатовом. Жалко будет оставлять могилы родственников, но их души не взыщут с нас за это там на небе, они должны понять, что в наши времена трудно усидеть всю жизнь на одном месте.

* * *

Пирог удался на славу: фарша было много, корочка тонкая, нежная. Когда пирог остыл, сестра поднесла мне на тарелке большой кусок. Сочная, зеленая масса, распространяя аромат весны, лугов и солнца, слегка вытекла из разреза. Я попробовал и... закрыл глаза: прошлая жизнь со всеми её радостями приблизилась вплотную, вспомнились отец, мать, зеленые лужайки, поляны, грустное кукованье, всегда нагонявшее сладкую тоску, соловьиные трели, писк куликов, весенние лягушачьи концерты, поездки в ночное с отцом или со сверстниками, ловля рыбы, лесная уха... О, сколько радостей осталось в прошлом, о, как охотно я променял бы теперешнюю известность хотя бы на один такой день прошлой жизни, какая была тогда!

— Спасибо, дорогая Матренушка, этот пирог вознаграждает за здешние огорчения. Он отодвигает в тень всё настоящее и бросает яркий луч света на то, что ушло невозвратно.

— Я уложу в коробку восемь больших кусков. Угости в Москве своих друзей писателей и поэтов.

Перед отъездом сходил еще раз на кладбище — попрощаться с родительскими могилами. Когда молился, стоя на коленях, какой-то внутренний голос подсказывал, что я покидаю родные места навсегда. И от этого «навсегда» душа исходила слезами, как исходит соком срубленное дерево.

Родственники и знакомые, узнав о моем внезапном отъезде, пришли попрощаться. Много было пролито слез, много высказано добрых пожеланий со вздохами и стонами.

На станцию провожали сестра и Михаил Фролович. Опять плыли в лодке, но уже не по сплошному половодью, а по извилистому руслу реки навстречу течению. Правила сестра, а Михаил Фролович сидел за веслами. Я изъявил желание погрести, но мне не дали.

— Побереги силы для новых сочинений, — сказал наставительно Кузнецов.

Поезда ждали часа полтора. Все время ходили по платформе и говорили, говорили, говорили... Казалось, что только теперь в памяти всплывает то, о чем нельзя умолчать. Всем нам хотелось, чтобы поезд где-то задержался подольше. Но время летело быстро. Вот раздался певучий паровозный гудок, похожий на пароходный. В каждом сердце что-то оборвалось. Начали заранее прощаться. Плакали, никого не стесняясь. В этих слезах было всё: и боль разлуки, и свидетельство горячей, взаимной любви и опасения, что мечты о переезде в Москву могут разлететься пушинками одуванчика. Перед посадкой еще раз расцеловались.

— Пиши попрежнему! — попросила сестра.

— А ты попрежнему аккуратно отвечай, но теперь без всяких утешений, как было до сих пор. Помни: теперь я всё видел своими глазами.

Поезд тронулся мягко, без рывка, как будто поплыл — сначала совсем бесшумно и только через несколько мгновений стали чувствоваться ритмичные удары на стыках рельс.

Сестра побежала за поездом, махая рукой. Я отвечал ей из окна белым платком. На повороте пути мы потеряли друг друга.

Под стук колёс, под мелькание телеграфных столбов, думалось о том, что поездка на родину была не напрасной: я причастился страданиями народа. Доколе это будет? Когда Господь сменит заслуженную всей страной кару на неизреченную милость?

* * *

Через два месяца началась война с Германией. Я был мобилизован в «народное ополчение». Через три месяца попал в плен. Четыре года жил в лагере для беженцев. Переехал за океан. Связь с родиной поддерживается письмами. Я пишу сестре. Она отвечает мне. Но солнце её и моей жизни приблизилось к закату. Каждый день для нас, как неожиданный подарок неба.

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Лекции Юрия Матвеевича Соколова были праздниками для студентов. Его остроумные примеры, взятые из народного творчества, смешили слушателей. Он был профессором фольклора в Московском университете и в Литературном институте имени Валерия Брюсова, где я был студентом. Больше всего нравились его лекции о частушках. Вот одна из них:

— Я не согласен с мнением, что частушку породила фабрично-заводская среда. Это любимый жанр современной деревни. Кто авторы большинства частушек? Одаренные девушки, но их авторство всегда безымянно. Наши поэты тоже иногда пытаются писать частушки, но их всегда легко отличить от народных. В частушках деревенских сочинительниц — радующая естественность, неподдельная красота, правда жизни. Вот для примера четыре строки:

Меня милый провожал,
Под полой гармонь держал.
До крылечка проводил,
Заиграл, пошел один.

Это художественная миниатюра в нескольких словах. Мы представляем, что, раставшись с милым у крылечка, девушка не спешит в дом. Она слушает удаляющуюся гармонь и вероятно жалеет, что не пошла с любимым. Сложное чувство переживает она, слушая затихающую музыку. В этом переживании доля гордости, что «милые» других девушек — простые парни, а ее — гармонист и потому все подружки завидуют ей.

Вот другая частушка:

Стоит белая береза —
Всем ветрам покорная,
Не бывает мое сердце
Никогда спокойное.

Когда я прочитал эти четыре строки писателю Всеволоду Иванову, он не удержался от восторженного восклицания: «Какой оригинальный, необычный образ — «Всем ветрам покорная» — не каждому поэту по силам такая находка!». От себя укажу на художественный параллелизм, — продолжал профессор. — Как всегда качаются ветви березы, так всегда трепещет сердце, лишенное покоя.

А вот совершенно исключительные, потрясающие строки:

Из-за леса вылетала
Пуля торопилася.
В молодую грудь попала,
Там остановилася.

Пуля здесь, как что-то живое, злодейское, исполненное ярости и жажды смертоубийства, на которое она торопится без оглядки и успокаивается только тогда, когда отнимает молодую жизнь.

Вот еще строки о судьбоносности и неотвратимости:

Я от горя — в чисто поле,
Горе катится за мной.
Я от горя — в темный лес,
Оглянулась — горе здесь.

Мы знаем старинную повесть о «Горе-злосчастье». А здесь вместо пространной повести всего четыре строки о том, что нет на свете места, где бы можно было укрыться от вездесущего горя. Мы не знаем авторов этих жемчужин и потому называем их народными. Народное — это не значит сочиненное целой группой творцов. У каждой частушки — свой автор, но автор не гордый, не честолюбивый. Он рад, что его творение подхватывается всем народом и включается в общую сокровищницу народной гениальности.

А вот что-то похожее на стихи Анны Ахматовой:

Я не по полу хожу,
Я — по вострому ножу.
Не с такими расставалась
И тобой не дорожу.

Он оставил ее, потому ей кажется, что она ходит по острию ножа. В словах: «Не с такими расставалась» — обиженная гордость, попытка самоуспокоения.

Что меня всегда удивляет в частушках? В них словам тесно, а мыслям — просторно. Это, зачастую, психологические этюды в четырех строках:

Милый пишет письмецо:
— Милка, носишь ли кольцо?
Я в ответ ему пишу:
— Распаялось, не ношу.

Тут зачинщица разрыва — девушка, ее любовь выветрилась, кольцо распаялось.

А вот образец нежной, чуткой, осторожной любви:

Дай, подружка, карандаш.
Напишу — ты передашь.
Если спит, то не тревожь,
А на грудь ему положь.

Это не хуже многострочных лирических излияний многих наших поэтов. По своей художественности они равны четверостишиям Омара Хайяма. Неразделенность в любви всегда печальна. Она любит, а он равнодушен. От такого равнодушия душа засыхает, как неполитый цветок:

На окошечке цветочек
Без поливочки завял.
Рядом миленький садился —
Только место занимал.

В народных частушках очень много строк о материнской любви, о безысходных страданиях, когда мать умирает:

Матушка родимая —
Свеча неугасимая,
Горела, да растаяла,
Жалела, да оставила.

Как коротко, но как сильно, как незабываемо. Или вот еще:

Горя много накопилось,
Горе некуда девать.
Пойду, лягу на могилу,
Разбужу родную мать.

Не сяду, не встану, а лягу, припаду своим горестным сердцем к сырой земле. Только это заставит покойницу почувствовать горе осиротелой дочери и послать ей утешение.

Таланты русских девушек многогранны. Их строки изображают не только все оттенки лирики, любви, грусти, но порою искрятся юмором, непринужденной шуткой:

Полюбила писаря —
На макушке лысина.
Ему некогда писать,
Надо лысину чесать.

Кроме четырехстрочных частушек девушки много выдумывают двухстрочных. Так как почти всегда любовь сопровождается страданием, эти короткие припевки называются «страданиями».

Страданье-страданице,
Кому мил достанется?

Хорошо страдать у пруда —
Далеко ходить оттуда.

Проводил милый до леса —
Из какого интереса?

В нескольких аудиториях мною проделан такой опыт. Я спрашивал у слушателей:

— Сколько нужно стихотворных строк, чтобы описать любовь девушки к парню, ее многократные свидания с ним темными осенними ночами, когда под ногами хлюпает грязь, а потом горькое разочарование в своем любимом?

Мне отвечали:

— 24! 20! Самое меньшее — 16!

— А вот какая-то, неизвестная нам, русская девушка, уложила весь этот незадачливый роман в две строки!

Аудитория настораживалась с недоверием к лектору. Я делал паузу и только после этого произносил:

Я любила, грязь топтала.

Он дурак, а я не знала.

Все слушатели, конечно, разражались смехом, как и вы сейчас.

* * *

Летом 1924 года профессор Соколов руководил фольклорной студенческой экскурсией в район Переяславля Залесского. Я был в числе экскурсантов. Мы остановились в монастыре, который назывался «Пречистая на горице». Он был на возвышении, откуда открывался прекрасный вид на старинный город и на Плещеево озеро, славившееся «переяславльской селедкой». В монастыре в то время уже не было ни одного монаха: советское правительство поспешило закрыть эту глубокопочтимую русским народом святыню в первые годы после захвата власти. Там в то время жил с семьей писатель Михаил Михайлович Пришвин. Во время завтраков, обедов и ужинов он располагался вместе с нами, рядом с профессором, за длинным столом на широком дворе, поросшем муравой. Мы с радостью выслушивали его советы, шутки и рассказы о приключениях во время поездок по России.

Однажды один из студентов вечером, когда мы все собрались на общий ужин, пожаловался на невежливое обращение с ним одной местной женщины.

— В чем выразилась ее невежливость? — спросил профессор.

— Она гнала корову. В руках у нее была палка. Я спросил: «Гражданка, как называется это животное?». А она с дерзкой насмешкой крикнула: «Лев!».

Все рассмеялись, а профессор сказал:

— Хорошо, что она ответила вам шуткой, а не поколотила вас палкой. Она решила, что вы издеваетесь над ней, потому что даже трехлетний ребенок не спутает корову ни с лошастью, ни с верблюдом. Почему вы задали ей такой странный вопрос?

— Мне хотелось знать, как она произнесет это слово: «корова» или «карова».

Тут Юрий Матвеевич прочел нам целую лекцию на тему: «Как нужно разговаривать с народом».

* * *

Судьба профессора Соколова весьма печальна. Советская власть не пощадила этого одаренного, любимого молодежью, ученого. В разгар гонений против интеллигенции он в одном из журналов напечатал статью, в которой доказывал, что каждая былина — создание не коллектива, как ошибочно утверждают ученые, а отдельной личности, имя которой, к сожалению, не дошло до нас. Власть сочла статью контрреволюционной, направленной против коллективизма. Профессора арестовали. Это было в страшное время «ежовщины». Когда этот палач был ликвидирован, профессора после усиленных хлопот жены — Валентины Александровны Дынник, освободили.

Чтобы загладить конфуз, ему присвоили звание академика, но не всесоюзной, а почему-то украинской академии, хотя он родился на берегу Волги, а не Днепра.

Было назначено чествование нового академика. В главном зале академии наук собралась элита Киева. Приехали академики и друзья из Ленинграда и Москвы. Появление Соколова вызвало бурю восторгов. Его остроумный доклад о народном творчестве все время сопровождался аплодисментами и смехом. Его чествовали не только как нового академика, но и как пострадавшего от жестокой власти. Когда он закончил доклад, присутствовавшие

устроили ему овацию. Он раскланивался с улыбками направо и налево. Как любимого артиста, его засыпали цветами. В восторгах аудитории была искренняя радость за одаренного человека. Он садился, но аплодисменты не прекращались. Он вставал снова и снова. Но когда приветствие превратилось в сплошную бурю энтузиазма, он упал.

В зале было много врачей. Бросились к нему. Выслушали сердце. Оно не билось.

— Академик Юрий Матвеевич Соколов скончался!
— объявили публике.

Недавние восторги сменились рыданиями и стонами. Надломленное годами тюрьмы сердце не выдержало радости и счастья.

В ЗИМНЕЕ ПОЛНОЛУНИЕ

Пасека на лесной поляне с весны до осени звенела музыкой. Она ютилась в окружении берез, лип, вязов, дубов и черного клена. Вдоль плетневой изгороди росли кусты бересклета, крушины, боярышника, густо переплетенные ежевикой. В тени ветел темнел вместительный омшаник. При входе на пасеку притулился трехконный домик из саманного кирпича. Тут выкачивали мед из рамок в летнее время. Это бывало не менее трех раз за лето.

Голубые, желтые, зеленые, лиловые, красные, сиреневые улы радовали пчел, хозяев и гостей, приходивших на пасеку. Особенно много людей собиралось за неделю до Петрова дня, когда происходила главная выкачка меда.

Старые, молодые, подростки, дети — располагались вдоль плетня — на траве и луговых цветах. Каждый приносил большой ломоть хлеба и бутылку молока. Родственники хозяина и он сам, обходя гостей, черпали мед ковшиком из ведра и осторожно выливали его на хлеб. Каждый держал хлеб в соединенных ладонях. С ломтя мед стекал на пальцы. Их аккуратно облизывали, чтобы ни одна капля не упала на траву.

Хлеб с медом, запиваемый молоком, на открытом душистом воздухе казался райским лакомством. Взрослые с благодушием повторяли старинную поговорку: «На сливань мед едят». Хороший обычай передавался от прадедов дедам, от дедов внукам. Выполнялся этот святой обычай и Федором Кузьмичевым: сколько бы ни пришло народу на сливаньс, отказа не было никому.

Пчелы, почуяв запах меда, с певучим звоном кружились над людьми. Хозяин наставлял боязливых:

— Не машите руками и не кричите: пчелы не любят шума и маханья. Немножко покружатся и улетят. А если будете тормозиться, обязательно ужалят.

Перед уходом домой многие запасались медом на всю зиму: в дни сливанья он был дешевле. Идя большими толпами вдоль реки Самарки, пели старинные песни. Под-

ходя к длинному селу, слушали вечернюю музыку: петушиное кукареканье, мирный лай собак, мычанье коров и блеянье овец, возвращавшихся из стада.

У Федора Кузьмичева было три женатых сына, много внуков и внучек. Жили все вместе в просторном пятистенном доме, с широким крыльцом, с большими окнами на церковную зеленую площадь с тринадцатиглавой церковью в честь архангела Михаила. На высокой белой колокольне почти всегда тенькали галки. И тогда казалось, будто кто-то настраивает гусли.

Семья жила дружно и это удивляло односельчан:

— Подумать только, сыновья не собачатся друг с другом, а их жены не таскают за волосы одна другую из-за детей и всякой малости.

Многие объясняли это тем, что они брали пример с пчел: когда пчелы послушны одной царице, в улье порядок и достаток из меда и воска.

Семья Кузьмичевых была послушна отцу и матери. От них перенимали науку сыновья, внуки и внучки.

За большим столом в просторной кухне усаживалось человек двадцать. На каждый день была «стряпшая» невестка: она вставала чуть свет, чтобы истопить печь и наготовить стряпни на завтрак, обед и ужин. Когда все сидели на своих местах, она стояла возле стола, чтобы подать воды, квасу или второй раз наполнить глиняную миску хлебовом.

В переднем углу, под большим образом «Святой Троицы» сидел дедушка. Внучата радовались, что он и волосами и бородой похож на «главного Бога». Бабушка сидела справа от дедушки — аккуратно одетая, в голубом платочке. У нее были веселые глаза — голубые, как ее платок. Глядя на внучат, она радовалась, что они растут умными и послушными.

Дедушка учил малышей — не торопиться во время еды, не чавкать по-свиному и не разливать из ложки на стол, застеленный голубой клеенкой.

В мясоед варили щи из солонины. От жира и от кислой капусты они были желтыми, как крашеный пол в горнице. В них было накрошено мелкими кусочками мясо. Сначала в горячие щи макали хлеб и высасывали из него

душистый жир. Потом хлебали, держа в левой руке кусочек хлеба. Зачерпнув щи, хлеб подставляли под расписную деревянную ложку, чтобы не закапать стол. Так как семья была большая, хлебо́во подливали два раза. Мясо со дна миски можно было задевать только по сигналу дедушки: все ждали, когда он стукнет ложкой по краю миски.

— Одно мясо не уплетайте, — говорил старик, — откусывайте побольше хлеба.

Вторым праздничным блюдом в мясоед был курник или лапшевник. На третье подавалась густая пшенная молочная каша — крупитчатая, ярко-желтая, с углублением в середине. В эту ямку наливалось топленое коровье масло. Задев ложкой кашу с краю, ее обмакивали в масло. На заедку ставились тонкие горячие блинцы с дырочками, свернутые вдвое и разрезанные пополам.

Из-за стола выходили все вместе и молились в передний угол.

На ужин подавались холодные блинцы. Их макали в густые сливки. Это особенно нравилось детям. Чаем с медом утоляли жажду. В чай вливали ложку топленого молока с коричневыми пенками. В горячей воде от молока появлялись золотистые блески.

Кузьмичевский мед славился на всю округу. Односельчане покупали его на летних «сливаньях», а жители соседних деревень — на пятничных базарах в соседнем селе.

Хозяйством ведал старший грамотный сын Иван — степенный, красивый мужик с окладистой русой бородой. Ему казалось, что жизнь и дальше будет такой же спокойной, сытой, радостной. Но однажды он прочитал в старой Библии, напечатанной крупными буквами печальные слова:

«Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

— Какая неожиданность может запутать нас в силках? Кто расставит для нас пагубные сети? — стал раздумывать Иван.

Очень скоро на эти вопросы ответила жизнь. На войне были убиты два его сына, весной свергли царя, а осенью того же года власть захватили «люцанеры». Вскоре после этого старые отец и мать померли, оплаканные всей семьей. Два младших брата с семьями, чуя недоброе, подались в город. В селе все чаще стали слышаться слова «кулак» и «бедняк». Кулаком теперь называли и Кузьмичева Ивана. Новая власть из бедняков стала донимать его непосильными обложениями. Партийное начальство было уверено, что за долгую жизнь он скопил большое богатство. Пчел пока не забирали, но он не раз слышал угрозы:

— погоди, доберемся и до них: не одному тебе улаживать себя сладостью, охота и нам подсластить свою горемычность.

По селу поползли слухи, что в одном из ульев Иван Федорович припрятал золото.

Зима в тот год выдалась лютая — со снегами, с трескучими морозами. Сила в ногах пчеловода еще держалась. Каждый вечер он шел по снежной тропе на пчельник — истопить печь в избушке сухими березовыми дровами, посмотреть на ульи в омшанике, а ночью заснуть на теплой печи, прикрываясь одеялом из разноцветных лоскутков. Так было день за днем, неделя за неделей. Прогулки на пасеку и с пасеки были по душе: они успокаивали сердце. Он любил пухлый иней на деревьях, музыкой для него было поскрипывание снега под муромскими валенками — с розовыми крапинками на белой шерсти.

— Жить пока можно, — думал он, — а что будет завтра, ведомо только Богу.

Нежданно-негаданно занемогилось его жене Алене. Стон болящей напугал всю семью — Алену любили за доброту и ласковость. А тут повеяло приближением смерти.

— Избави Бог, — говорили вслух невестки, внучата и сам Иван Федорович.

Походы на пасеку пришлось отменить.

— Ничего с ними не случится, — подумал о пчелах Иван Федорович.

К утру на третий день Алене полегчало, она притихла и заснула.

— Доглядывайте за ней, а я наведаюсь на пчельник, — сказал Иван.

Утро было тихое, морозное, с солнечным сверканием. Иней на придорожных кустах был на удивление пушистым и сверкающим.

— Какую красоту дает Бог людям, только бы жить да радоваться, а нет, им подавай озорство, поклепы на людей, наскоки на безвинных, пустомельство и бессовестную брехню...

На душе Ивана Федоровича было тревожно. Неподалеку от пчельника потянуло запахом меда и это вызвало удивление:

— Прежде этого не было.

О его отсутствии на пчельнике проводали три человека с худой славой и решили разжиться золотом, будто бы спрятанным в одном из ульев. Выволакивая улей из омшаника, они сбивали с него крышку, а пчел вытрясали на снег. Пчелы перед смертью тихо и уныло звенели последней предсмертной музыкой. Некоторые пытались взлететь, но лютый холод замораживал тонкие крылышки. Усердные летние труженицы тут же затихали навсегда, превращаясь в черный холмик. Золото в этом бугорке не сверкало под круглым ясным месяцем. То же было со вторым ульем, с третьим, с четвертым, до самого последнего, пятидесятого. Долгой светлой ночи хватило на невиданное и неслыханное злодеяние.

Не найдя золота, громилы удалились с пчельника с грязной бранью.

Увидев картину разрушения, Иван Федорович, схватился за сердце: оно защемило небывалой болью. Пришлось ухватиться за плетень. Стал уговаривать себя:

— Погоди умирать, сначала надо навести порядок.

Он стащил разбитые ульи к омшанику, а после этого взял чилиговую метлу на длинной ручке, чтобы все черные холмики смести в одно место. Замерзшие пчелы теперь звенели, как жестяная крупа.

О чем думал Иван Федорович в эти минуты? Вероятно о том, чтобы ему хватило сил — завершить с честью

эту работу. Когда к высокому холму была присоединена пятидесятая кучка, сердце пчеловода перестало стучать. Он упал головой на темный холм и при падении раздвинул его. Лицо потонуло в темной массе. Зимнее солнце золотил сусликовую шапку. Овчинная шуба и муромские валенки с розовыми крапинками стали покрываться инеем.

ТРИ СКАЗКИ

Мурава возле завалянки всегда была свежей и кудрявой, потому что хозяин дома поливал ее все лето на утренней розовой заре, до выгона стада на пастбище. Коровы норовили полакомиться этой травкой, но их всегда отгоняли:

— Не для вас эта красота! Вам будет вдоволь корма на зеленых луговинах!

Хозяин был уже немолодым на лицо, но сохранил молодость в сердце. А сердце у него было просторное и доброжелательное. Двум цветам отдавал он предпочтение — голубому и зеленому. Голубого цвета небо, и от него все реки и озера — тоже голубые. А зелеными Бог сделал деревья и траву. Как радостно побродить по лугам или прокатиться зеленой степью! Как было бы грустно жить на свете, если б в природе вместо этих двух цветов всегда царил черный. Не лучше его и серый. Какой скучной была бы жизнь! Приятны и другие яркие цвета — малиновый, желтый, лиловый, розовый, оранжевый, красный, но они только как добавление к зеленому, как искорки среди зелени или как радуга после дождя.

Любя природу и детей, он за всю долгую жизнь никого не обидел ни словом, ни делом. С молодых лет он стал шутником, чтобы веселить людей. Еще когда он был мальчиком, один странник, ночевавший в их избе, сказал ему:

— Запомни, Миша: смех для здоровья — лучше, чем масло коровье.

А ведь на коровьем масле делают сдобные пышки, им сдабривают крутую пшеничную кашу, а по праздникам намазывают голову, чтобы не топорщились волосы. И вот, оказывается, смех — дороже пышек, масляной каши и приглаженных волос. Что нужно делать, чтобы люди смеялись? Рассказывать им веселые истории. А что может быть веселее сказок? Много их знал Михаил Тимофеич, но не одному же ему забавлять людей. Пусть и другие в этом понатореют. Потому и поливал он мураву возле своей избы, чтобы она всегда манила старых и малых

после ужина. Ставни у трехоконной избы с железной зеленой крышей тоже были зеленые.

— Пойдем на зеленую луговину к дяде Михаилу, — говорили мужики и бабы вечером, в весеннюю пору, после огородных и полевых работ, когда радуется каждая душа.

Особенно много народу собиралось по пятницам. В субботу смехотворство считалось грешным. Под воскресенье на улице не слышалось ни песен, ни плясок, ни раскатистого хохота. Каждому дню недели было свое имя. Если «суббота — забота», то «пятница — заплатница». В этот день пришивали заплатки не только к штанам и рубашам, но и к сердцу: вспыльчивый становился тихим, горячий — рассудительным, горлопан — ласковым, неговорчивый — кротким. На зеленой мураве, возле избы дяди Михаила каждому хотелось быть с открытой душой, чтоб впитать в нее как можно больше общей радости.

В последнюю пятницу народу собралось больше, чем всегда. Вдоль завалинки были навалены дубовые и березовые бревна. На них уселись старики и старухи. А для молодых людей, девушек и смышленной детворы хватало места на траве: кто сидел, кто лежал, положив голову на колени другому.

— Чья ныне черед? — спросил дядя Михаил.

— Тетки Анисьи? Начинай, тетя!

С дубового бревна привстала круглая старушка с веселыми глазами, в бордовом платочке.

— Чего встала? Сиди. Голос у тебя звонкий, а мы не глухие.

Тетка Анисья заулыбалась. Ес все любили за добрый нрав, за умение вовремя сказать подходящую шутку.

— Ну, что ж, коль моя черед — никуда не денешься. Вот все говорят, что в теперешнее время много лодырей развелось. Но, думаю, таких, как мужик Иван и баба Маланья, еще не видывал белый свет. А есть-пить, знамо, и лентяям надо. И вот сварила эта баба поутру гречневую кашу в глиняном горшке. А каша задалась на редкость, крупина от крупины отскакивает. Сдобрили кашу выжарками от бараньих кишок, уписали за обе щеки, ложки и губы облизали:

— Ну, и каша, царю не доводилось ёдывать такой!

Одна беда постигла стариков: сбоку, где ближе к огню было, пригорелость получилась, горшок помыть надо. Вот баба и говорит:

— Я сварила кашу, а горшок мыть тебе.

— И не подумаю: не мужичье это дело!

— И не бабье тоже — всякое дело справлять!

— Маланья, мой горшок, видишь — к нему мухи липнут.

Час прошел, другой — горшок стоит немытый.

— Если будешь приставать, я этот горшок об твою голову раскокаю.

Зашло солнце. В избе потемнело. Горшок стоит немытый.

— Ну, вот что, Маланья, — говорит Иван, — давай уговоримся: кто завтра утром первым встанет, да первым слово молвит, тому и горшок мыть.

— От меня не дождешься ни словечка, — хвалится Маланья.

— А от меня и подавно.

Легли спать: Маланья — на лавке, Иван — на печке. Наступило утро. Маланье надо бы пойти корову подоить и в стадо выгнать, да боится встать: тогда придется горшок мыть. Соседки на улице шумят:

— Что это с Маланьюшкой случилось? Корову в стадо не выгнала!.. Может занеможилось? Проведать надо!

Ввалились в избу. Глядят: Маланья — на лавке, Иван — на печке, глазами хлопают, а сами молчат, потому что неохота горшок мыть.

— Маланьюшка, Иванушко, что с вами? Хворь одолела в недобрый час?

А Иван и Маланья молчат, как убитые.

— Нельзя их так оставить, они, знать, умом рехнулись, — говорят бабы, — пусть Степанида посидит в избе, покараулит их!

А Степанида говорит:

— Нынче бесплатно никто не работает. Положите жалованье, так посижу, постерегу.

— Какое ж тебе жалованье, — шумят бабы, — вон Маланьяна кофта на гвозде висит, возьми и носи!

Тут Маланья как вскочит с лавки, руки в бока подперла, кричит:

— Еще куда не померла! Из своих-то теплых ручек кому хочу, тому и отдам!

Иван свесил ноги с печки и говорит:

— Ну, вот что, Маланья, ты первой вскочила, первой слово брякнула, тебе и горшок мыть!

Бабы плюнули и вон из избы разбежались.

Слушатели смеялись. Один паренек спросил:

— Неужто бывают такие на свете?

— Сколько хочешь!

— А по-моему, они больше упорные, чем ленивые: не хотели уступить друг дружке, гордость на гордость наскочила.

— Не гордость на гордость, а дурость на дурость. А ведь дураков не сеют и не жнут, они от самосева рождаются.

— Я думаю, никто не будет перенимать норова от Ивана и Маланьи, — сказал хозяин избы с зелеными ставнями.

— Избави Бог от такой неотесанности!

— Ну, а теперь нас Холомей Тихоныч потешит, — объявил дядя Михаил.

С бревна встал степенный старик с большой седой бородой и примасленными волосами, стриженными в кружок. Правильное его имя было Варфоломей, но все его звали Холомеем. Народ зашумел:

— Садись, Тихоныч, твой голос на всю церковь раздается, когда ты на крылосе читаешь.

— Правда это или неправда, — не знаю, но история для всех полезительная, — начал Варфоломей. — Деревня была небольшая, со всех сторон лесом окружена. Все мужики в деревне были глупые. Только один был умный, Догадой звать, да и тот с придурью.

Собрались мужики зимой в лес, за дровами. И Догаду с собой позвали. Пришли в чащобу. Все белым-бело. Только черные вороны на елочных вершинках каркают. Глядят мужики — откуда ни возьмись высокий-превысокий снежный бугор. В бугре дыра, а из дыры пар идет.

— Что это? — спрашивают мужики у Догады.

— Так нельзя сказать, надо в дыру залезть, засуньте меня туда головой и за ноги держите. Коль буду дрыгать — тащите.

По самые пятки засунули мужики Догаду в дыру:

— Разгляди получше, что там такое?

Вдруг Догада ногами как задрыгает. Одни говорят:

— Тащить надо, с Догадой какая-то беда.

А другие шумят:

— Пускай получше разглядит, что там такое.

— Что увидал? — спрашивают у него.

А он молчит и ногами перестал дрыгать.

— Теперь давайте тащить.

Вытащили, глядят: Догада без головы, из шеи кровь хлещет. А это медвежья берлога была. Медведь и оттащил голову Догаде. Тут мужики заспорили. Одни кричат:

— Так и было!

Другие им перечат:

— Не брешите, с головой был!

После долгого спора порешили:

— Что мы зря глотки надрываем? Пойдем к его жене, Догадихе, она 50 лет с Догадой прожила, наверно знает.

Приходят. А Догадиха за столом сидит, руку к щеке приложила, сонными глазами хлопает.

— Догадиха, скажи нам правду: твой Догада с головой был или без головы?

А Догадиха позевнула и говорит:

— Когда утром картошку в соль макали, бороденка болталась, а была ли голова — чтой-то не заметила.

Вот какие бывают люди на свете. В наших местах таких, слава Богу, нету.

При слушании этой сказки смеялись еще больше.

— Хотелось бы мне сейчас спросить свою Авдотью, — раздался мужской голос одного из сидящих на траве.

— Спрашивай, — задорно ответила разбитная женщина, сидевшая с ним рядом.

— Когда я помру, что ты скажешь соседям, коль они у тебя спросят: «С головой был твой Микифор, ай без головы?»

— Скажу: «Голова не шее торчала, только соображенья я в ней не примечала».

— Ну, это ты зря, тетка Авдотья! — закричали старые и молодые. — Кабы не было соображения у дяди Микифора, его бы не выбрали сотским!

— Напоследок нас Катерина Архиповна посмешит, — порадовал всех дядя Михаил.

Катерина была еще не старая, высокого роста, с густыми черными бровями. Сидела она тоже на бревне. Это была шутница, песенница и плясунья. Начала она так:

— А что, желанные вы мои, в вашем околотке на водицу шепчут, ай нет? Слыхали про то? Наговорной та водица называется, а какая, матушка, целебная, от всего помогает. Про других рассказывать не буду, про себя скажу, как мне эта водица помогла. Да ведь как помогла-то, лучше и не надобно. Вот послушайте, как дело было.

Я смолоду-то куда как бойка была, так ведь все и прозвали: «Бой-девка». Да и муженек мне попал под-стать: прямо атаман-мужик, такой скандальный, такой поперешный, все ему не так да не этак. Ну, я тоже за словом в карман не лезла: он мне слово — я ему пять, он мне пять, я — двадцать пять. Бывало, утро-то начнется а у нас шум, споры, ругань, хоть святых вон выноси. А разбираться начнем — виноватого нет.

— Все ты неладный, все ты поперешный, все ты!

— Да полно, я ли? Не ты ли со своим долгим языком?

Один раз вот так расшумелись, а мимо шла странница в окошко постукотала, подзывает меня: «Желанная ты моя, неужто эта война у вас каждый день?»

— Какое там каждый день? Каждый час!

— Так что ж ты не сходишь к старцу, что в слободке живет, на водицу шепчет. Людям помогает — может, и тебе поможет.

На другое утро пошла я к старцу пораньше, полдюжину яичек в подарок понесла, с собой пустую бутылку захватила для водицы.

Прихожу. Стоит келейка однооконная. На крылечке

старец — седой, борода как кудель расчесанная, глаза добрые.

— С чем раба Божия понаведалась?

— Да вот, говорю, с мужем неладно живу, спорим каждую минуту.

— Дай-ка скляницу свою.

Зачерпнул из ведра водицы ковшиком, налили в бутылку и стал шептать. Шептал-шептал и говорит:

— Вот как домой-то придешь, да муж-то на тебя наскочит, ругать начнет, а ты ему ни словечка не молви, из скляницы глотни да и держи во рту, пока не угомонится.

Отдала я старцу яички, заторопилась домой. Бегу, а мне навстречу мой атаман:

— Ох, уж эти бабы, стрекотухи проклятушие, уйдут — да и провалятся.

А я ему на это ни словечка, отвернулась, из бутылочки хлебнула и держу, а про себя молитву творю. Немного погодя гляжу — замолчал. Ну, тогда я водицу проглотила. Прихожу домой, второпях ставлю самовар. Труба железная из рук выскочила, по полу загремела. Опять осатанел мужик:

— Ох, уж эти бабы неудахи, руки-то не тем концом к тулову приставлены.

А я опять скорей за водицу, хлебнула и держу во рту. Гляжу: тише, тише — совсем угомонился. Так у нас с той поры, мои желанные, и пошло: как только он за ругань, я — за водицу. А ростом он был под потолок, в плечах — косая сажень — и такой-то махонький глоточек такую махинушку сдерживал. Вот она какая сила в водице-то наговорной. Но если не найдется таких старцев, какие на водицу шепчут, — простую, не наговорную, из колодца держите во рту, когда на вас кто-нибудь наскакивает. Поможет, да еще как поможет, за милую душу.

Эта сказка рассмешила больше, чем две первые. Но несколько женщин одна за другой с укором сказали:

— Мужикам тоже надо держать водицу во рту, чтоб не гордыбачили и «матушку» не вспоминали.

АРОМАТЫ И МУЗЫКА

На осенней ярмарке я остановился возле красивой нарядной барыни в шляпе с птичьим крылом. Райский дух от неё струился по всем торговым рядам. Я пошел за ней, вдыхая аромат. Мне подумалось:

— Вот бы такое снадобье в деревенские избы, оно бы всё заглушило: и детские пелёнки, и телячий и ягнячий запах, и кизячный угар из печки, и дым от сигарок из газетной бумаги. Ночами от такого аромата снились бы райские сады и ангелы. Кто делает такое? Где его продают? Какие деньги берут? Раз у деревенского народа нет, значит, не дешево стоит, не по карманам девкам и бабам.

Вечером на улице похвалился, какую барыню видел, а моя ровесница, бойкая, озорная Машка, засмеялась:

— Подумаешь, какое диво: на станции такие господа каждый вечер останавливаются — на почтовом поезде из Ташкента в Москву едут.

— Пойдемте в воскресенье поглядеть и понюхать!

Уговорились восемь человек: я и Машка самые старшие, Мишка и Гараська чуть помоложе, а остальные всё мелкота. Ольгутке Софроновой только пять лет.

Дорога до станции вилась лугами и лесом, через плотину на реке Самарке и через «Прохоровскую мельницу». Семиэтажный кирпичный корпус сверкал огнями и гудел днем и ночью: из пшеницы делал крупчатку. В господском саду красовались покатые клумбы, а между ними зеленела подстриженная трава. В середине сада возвышался белорозовый дом со шпильями и большими окнами. В простенках вилась какая-то зелень.

— Дикий виноград, — сказала Машка. Она всё знала, потому что её старшая сестра была горничной у богатых господ в Самаре.

День был тихий, солнечный. С деревьев падали желтые и красноватые листья. Небо было похоже на платье моей старшей сестры — голубое, сатинетовое. Кто-то курлыкал вверху. Мы остановились и подняли головы.

Птицы летели углом. Одна сторона была длиннее.

— Гуси! — крикнул горластый Мишка, по прозвищу «Ротан».

— Нет, журавли, — сказала Машка, — гусы гагачут, а журавли завсегда курлычут.

Среди желтых и красных деревьев зеленели только ветлы и ёлки. Вода на плотине бушевала и брызгалась. От старших мы слышали, что в омутах живут сомы. Они страшные, ротастые, могут живьем проглотить утку.

За мельницей, на широкой поляне взошла зеленая, яркая рожь. Ветер набросал на неё желтых листочков, которые казались цветами.

Завиднелась желтая станция. Там стоял длинный товарный поезд с красными вагонами. Паровоз посипывал: пссс... пссс. Мы прибавили шагу.

— Сейчас придет скорый из Ташкента, — обрадовалась нас Машка.

На станционной платформе было много парней и девок из соседних деревень. По воскресеньям они всегда приходят на станцию для развлечения. Все грызли семечки. Парни щипали девок. Слышался визг.

Бородатый сторож позвонил в колокол: значит, поезд вышел с соседней станции. Он пристыдил молодежь:

— Эй, вы, орда безмозглая, чего разгайкались? Это вам не деревенская улица, а пути сообщения!

Все притихли. За оградой, под тополями, торговки разложили всякую стряпню: пироги, жареных цыплят, пампушки, молоко, варенец, квас, крупных красных раков, моченые яблоки, копченую душистую воблу с золотистым отливом, ватрушки, блинчатые пирожки с творогом. Все глядели в ту сторону, откуда из леса должен был показаться поезд.

Долог ли осенний день? Вот уже солнце опускается за лиловые горы. Потянуло прохладой.

— Идет! — крикнули парни и девки. Гул нарастал, приближался. Паровоз был похож на трехглазое чудовище: два глаза внизу — справа и слева, третий сверху. Раздался гудок — певучий, долгий, за золотистым лесом откликнулся. Поезд мчался так, как будто и не думал останавливаться. Торговки засуетились. Парни и девки

шарахнулись подальше от рельс. Поезд шел по первому пути. Остановился мягко, сразу. Из зеленых, желтых и синих вагонов стали выходить люди. Почти от всех шел приятный запах. Торговки зашумели, расхваливая свой товар. Хорошо одетые больше всего покупали раков, а кто попроще, курятину, воблу и пирожки. Все знали, что на этой станции поезд стоит долго, так как отсюда крутой подъем в гору и к составу прицепляли «толкач».

— Сюда идите! — позвала Машка.

Красивая барышня стояла под руку с кавалером высокого роста. Она была в воздушном розовом платье. Русые, будто шелковые волосы, шевелились, хотя ветра не было. От барышни пахло еще лучше, чем от барыни на ярмарке: и ландыш и сирень, все ароматы весенних лугов и леса были в этих духах.

— Хоть бы подольше постоял поезд, — с громким вздохом сказала Машка, — на всю бы жизнь нанюхались от вас!

Барышня засмеялась:

— Вам нравятся мои духи?

— Подушите их, Лиля, — попросил кавалер.

Тогда барышня достала из серебристой сумочки красивый пузырек и каждого помазала по голове стеклянной пробкой. Узнав, что барышню зовут Лилей, все наперебой стали благодарить её:

— Спасибо, Лилечка!

А Машка добавила:

— Дай Бог вам красивого жениха!

— А разве он не красив? Поглядите на него попритальней, — сказала барышня.

— Как нарисованная картинка! — похвалила Машка.

Смеясь, кавалер и барышня направились к синему вагону, а нам захотелось осмотреть весь поезд. Вот совсем особенный вагон: окна широкие, внутри на столах хрустальные вазы с яблоками, виноградом, грушами и с какими-то желто-красными шарами.

— Здесь господа кормятся, — сообщила нам Машка.

— Мячики! — показала пальцем маленькая Ольгутка.

— Не мячики, а рухты, пельсинами называются — господская еда.

Бородатый сторож, какой стыдил парней и девок, ударил два раза в колокол. Все «душистые» поспешили в вагоны. Немного погодя раздались три удара. Гудок был очень долгим, как бы предупреждающим всех: «Уходите с дороги!» Вагоны тронулись с места бесшумно и побежали туда, где скрылось солнце. Мы долго смотрели на «толчак» в конце поезда. Каждому из нас хотелось тоже когда-нибудь поехать хоть не в таком поезде, хоть без «рухты», которая называется «пельсинами» и не с духовитыми, а с простыми людьми.

Закат быстро отпылал. Сумерки густели. По озими расстелилась туманная свежесть. Мы пошли гуськом по узкой тропинке — впереди Машка, я последним, чтобы не было страшно малышам. Вот и мельница. Теперь она стала еще светлее. Из господского дома доносилась музыка. Мы такой никогда не слышали: будто звенели колокольчики и булькала весенняя капель. В одном месте ограда была проломана. Первой в неё пролезла Машка, за ней все остальные. Озираючись, мы подошли к широкому окну с открытой форточкой.

— Ой, какая музыка чудная: с белыми и черными пряничками, а сама на трех ногах, с поднятым крылом, на веялку похожа!

Играл дяденька с русыми кудрями. Возле него стояла барышня в голубом платье и пела:

Я вам пишу — чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Мы замерли от удивления. Не заметили, как подкрался сторож.

— Чего вам тут надо, босая команда?

— Дяденька, мы ничего не украдем, вот провалиться на этом месте, не украдем! Только музыку послушаем! Почему она на веялку похожа?

— Эх, неотесанная деревенщина, рояль веялкой окрестили!

— Я р а л ь! — благоговейно вздохнула Машка.

— Ну, смотрите у меня, — строго сказал сторож, —

будете баловаться, Вячеслав Семеныч по головке не погладит!

Он куда-то скрылся, а через минуту мы услышали его голос:

— Там целая орава деревенских детей окно облепила. Конечно, темнота-матушка, никогда благородной музыки не слышали.

Кудрявый подошел к открытой форточке:

— Здравствуйте, молодые люди!

Мы ответили дружным хором:

— Здравствуй!

— Откуда?

— Из Виловатки.

— Какими судьбами?

— Приходили на станцию господ нюхать... От них больно хорошо пахнет!

— Что? Что?

— У нас нет такого райского духа, а все господа, словно душистые конфетки, — сказала Машка.

Музыкант позвал к окну барышню и стал рассказывать ей о чудаках.

Барышня тоже засмеялась.

— Дяденька, а нам можно к вам в середку? — спросил Мишка «Ротан».

— Милости просим.

Он вышел нам навстречу. Робко, один за другим, вошли мы в огромную залу. На полу был постелен пушистый голубой ковер. Стены тоже были нежно-голубые. В одном простенке стояло зеркало от пола до потолка. А на потолке была нарисована красавица почти с голой грудью. Свою верхнюю золотистую одежду она уронила под ноги. Возле нее летали толстенькие херувимчики со стрелами. Вдоль стен стояли стулья с высокими спинками.

— Садитесь, господа!

Всем нам стало смешно, что он назвал нас господами. Мы прилепились на краешках стульев. Замерли.

— Ну, говорите, что вам сыграть? — спросил музыкант.

— «Коробочку», — громко сказал Мишка.

— Сыграйте им «Компанеллу» Листа, — попросила певица.

И вот забулькали нежные звуки. В такт им трепетали наши сердца. Ветер бросил в форточку горсть желтых листьев и рассыпал их на наши головы и шеи. Листья холодили, но никто не пошевелился.

— Ну, а как же вы будете добираться до дому? — спросил через некоторое время музыкант.

— Не знаем, — робко ответила Машка.

— Ведь уже темно. Бойтесь наверно?

— Знамо, боимся.

— О чем же вы думали раньше?

— На станции господ нюхали... потом вашу музыку слушали.

— И про волков в лесу не подумали?

— Про всё забыли.

— Вячеслав Семенович, так как это ваши новые поклонники, придется вам отвезти их на машине.

— Да я уж и то подумываю об этом: нельзя же таких хороших слушателей оставлять на съедение волкам.

Маленькая Ольгута захныкала.

— Ну, чего ты? — набросился на неё Мишка, — ведь дяденька сказал, что отвезет нас.

Через минуту музыкант обратился к детям:

— Вы так здорово нанюхались духами на станции, что от всех вас разит, как парфюмерным магазином.

— Нас красивая барышня Лилечка каждого по голове из пузырька помазала, — призналась Машка.

— Даже «Лоригана» для вас не пожалела? Как видно, очень добрая барышня.

— Она была с женихом. Это он ей сказал, чтоб она помазала нас.

— Пойдите, — спохватилась певица, — они же вероятно голодны, как волчата.

Она куда-то выбежала, но скоро вернулась с большим блюдом, на котором была целая гора румяных круглых булок.

— Подкрепитесь! Каждому по булке!

Наши руки тянулись к блюду с дрожью, с боязнью, что в последний момент господина унесут угощение назад.

Прежде чем приняться за еду, Машка долго нюхала булку закрывая от блаженства глаза.

С неохотой мы выходили из одной сказки в другую. С трудом усадил нас Вячеслав Семеныч в машину, которая бежит без лошади. Дал гудок. От неожиданности мы вздрогнули, кое-кто вскрикнул. Два фонаря впереди бросали на дорогу по длинному лучу. Мы видели, как мелькали золотые искры листопада. Сердце замирало от быстрой езды. Только на плотине машина замедлила бег. Каждая дощечка моста со шелканьем подсакивала и опять ложилась на свое место и это напоминало нам недавнее подсакивание белых и черных пряничков «яраля». Бушевала вода под мостом. В машине было тесно, но никто этого не замечал. Хотелось ехать до самого края света. Как быстро домчались до села.

— Говорите, кто где живет?

— Тут мы сами доберемся до своих домов.

Невесомыми от счастья выходили мы из машины. С каждым из нас Вячеслав Семеныч попрощался за руку, а на прощанье сказал:

— Когда снова захочется слушать музыку, буду рад исполнить ваше желание.

Жизнь в этот день подарила каждому из нас незабываемую сказку.

Утром за завтраком мать спросила у меня:

— Откуда этот райский дух?

— От меня, — с гордостью ответил я, — вчера на станции барышня помазала нас. Духи называются «Ураган».

Я забыл правильное название «Лориган».

РЕЦЕПТ ДЛЯ ВСЕХ

Когда мне передали содержание одного рассказа, напечатанного в американском журнале, я был удивлен совпадением описанного факта с той историей, которую мне когда-то рассказал господин Шустриков, лесничий по профессии. В его семье, кроме него, было пять человек: теща, жена, два мальчика и девочка. Жили они в большом селе Костромской губернии, в окружении леса с разным зверьем, дичью, а в осеннюю пору со всевозможными грибами, отдавая предпочтение боровикам.

Иногда по делам службы лесничий наведывался в Москву, где я и познакомился с ним в один из летних дней, бродя по подмосковному лесу.

— Ищете грибов? — окликнул меня незнакомый человек, шедший позади, — сейчас грибам не сезон, они будут позже.

Поздоровавшись, мы стали разговаривать, как давно знакомые и рассказали друг другу кое-что о себе. Я жил тогда за городом. У меня уже были напечатаны две книги. Он сказал о своей работе, добавив, что очень любит ее.

— Я бы хотел рассказать вам об одном случае из моей жизни. Вы можете об этом написать рассказ, если немножко приукрасите то, что услышите от меня.

— Спасибо. Вы вероятно знаете, что писатель, как пчела: она собирает мед со множества цветов, а писатель каждый факт, встречу и каждую услышанную историю старается превратить в интересное сочинение.

— Как видите, я здоров и еще не стар. С семьей живу в большой дружбе, но однажды в моей жизни было то, что чуть не отправило меня на тот свет. На очередной рубке я надорвал здоровье: приходилось все время пилить и рубить. Крестьяне уговаривали меня — не надрываться, но мне было неудобно барствовать перед ними и мое усердие превосходило старание каждого из них. А надо вам сказать, что мой отец, учитель, умер от паралича сердца.

Сердечные болезни, как и многие другие, передаются по наследству и вот вскоре после этой рубки меня свалил сердечный припадок. Село наше волостное — с почтой, больницей, лесным складом, большой пятиглавой церковью с золотыми куполами. Прибывший доктор после осмотра прописал мне лекарство и абсолютный покой. Я спросил, долго ли будет продолжаться мое бездействие?

— Не меньше месяца.

— Месяц ничего не делать?

— Да, будете сидеть в кресле или лежать на диване. Можете читать книги и газеты, но, конечно, в меру.

Он позвал тещу, жену и детей, чтобы сказать им, как они должны себя держать:

— Не шумите, не позволяйте больному наклоняться, будьте готовы в любую минуту услужить ему.

— Это мне-то, Шустрикову не только по фамилии, но и по натуре, никогда не сидевшему минуты без дела, все выполнявшему с налету, сопровождая работу шутками, от которых вся семья заливалась звонким смехом. Но ничего не поделаешь: предписание доктора надо было выполнять.

— Для вас вероятно началось райское блаженство? — перебил я рассказчика.

— Какое там! Адские мученья! Представьте переживания человека, которому не позволяют пошевелиться, наклонить голову, поднять с пола уроненную газету, которого в первое время даже кормят с ложечки, а вечером помогают раздеться и уложить в постель, предварительно со старанием взбив квадратные пуховые подушки, а в ноги положив грелку. Возле моей кровати был поставлен столик с графином воды и стаканом.

— Если тебе захочется пить, позови меня, — сказала жена, — сам к графину и стакану не тянись, чтобы не натрудить сердца.

Помните басню Крылова «Пустынник и медведь»? Своей услужливостью медведь отправил пустынника на тот свет, сгоняя муху с лица спящего человека. С меня же торопились сдуть каждую пылинку, предупреждая малейшее движение. Дом, когда-то наполненный веселым

детским шумом, замер, как будто лишившись души: теперь дети говорили с бабушкой, матерью и друг с другом шепотом, ходили на цыпочках, за столом молчали. Даже возле дома им было запрещено играть и кричать. И так день за днем мертвая тишина, убийственная предупредительность, душеспасительная осторожность. Доктор обрек меня на месяц такого режима, но моего терпения хватило только на неделю. Однажды, когда теща ушла в церковь, дети в школу, а жена уехала в соседнее село по вызову тяжело больной подруги, я собрал кое-что из белья, обулся, оделся и написал записку: «Не ищите меня. Не беспокойтесь. Я вернусь когда будет нужно. Не заявляйте в полицию о моем исчезновении. Будьте здоровы. Любящий вас всех Георгий».

Уходя, я захватил с собой ружье с охотничьими припасами. Направился я в знакомый бор, к избушке лесного караульщика. Это был бездетный добродушный вдовец, любивший меня, как своего не строгого начальника.

— Погостить к тебе пришел, Тихон Сергеич.

— Милости прошу, Георгий Иванович, теперь только и отдохнуть в лесу: грибов тьма-тьмушая, на озере утки крикают — можно утиной разжиться. Картошки, пшеница, мука, луку и постного масла я запас на долгий срок. Хлебово можем на костре варить, а лепешки в печке жарить. Одеваться будешь моим тулупом, коль не побрезгуешь.

— У меня к тебе большая просьба, Тихон Сергеич: коль пойдешь в село, не проговорись, что я гощу у тебя.

— Насчет этого не сумлевайся, да по правде сказать, мне эти хождения сейчас без всякой надобности. Куревом я не балуюсь, а нюхательного табаку запас на полгода.

В избушке лесного сторожа с двумя окошками для меня начался настоящий курорт. Просыпались мы с Сергеичем рано и отправлялись или за грибами или на охоту. Вместе с нами всегда отправлялся наш верный песик, лохматый Дружок. Уже на второй день я подстрелил жирного селезня. Похлебка с утиной, картошкой, пшеном, грибами и луком показалась такой вкусной, что я даже не мог решить: явь это или сон? Белые грибы мы сушили

в русской печке и нанизывали на толстые нитки в виде ожерелья.

— Понесешь гостинец своей супруге, — говорил старик.

Днем я ходил по лесу в сопровождении Дружка и дышал чистым сосновым воздухом. Вечером на берегу озера мы разводили костер, собирая для этого сухой валежник. Дым поднимался к верхушкам деревьев, озеро освещалось огненным заревом. Мы приносили с собой картошку, чтобы испечь ее в горячей золе. Чувствовал я себя прекрасно: надо мной не было никакой пагубы в виде чрезмерного внимания и предупредительности. Я делал то, что мне хотелось, я отдыхал от предписаний врача.

— Вероятно иногда вы все же вспоминали о своей семье? Не угрызала ли вас совесть?

— Я же оставил им успокаивающую записку. Я, конечно, вспоминал детей, жену и тещу каждый день, но мне хотелось вернуться домой вполне здоровым и потому я не давал знать о себе. Что может быть лучше — жить на природе, охотиться, собирать грибы, самому готовить еду, а ночами спать крепким сном, отрешившись от всяких забот? Уже через неделю я почувствовал себя таким крепким, что хотел вернуться домой, но Тихон Сергеич уговорил меня:

— Твой дом никуда от тебя не уйдет, поживи еще деньков пять. Когда заскучаешь дома, приходи опять.

Я был очень благодарен Тихону Сергеичу за внимание без назойливости.

Домой я понес шесть связок сухих грибов и двух уток в перьях. К своему дому я приближался под вечер. В окно меня увидели дети и с криком «Папа!» выбежали навстречу. Вслед за ними вышли жена и теща. Я поочередно поднимал детей, чтобы расцеловаться с ними. На каждого я надел по две нитки грибов.

— Какие душистые! — радовались малыши.

Жена, поцеловавшись со мной, расплакалась:

— Что ты сделал с нами?

— А что вы хотели сделать со мною?

— Мы тебе оказывали только внимание и предупредительность.

— Упустив из вида, что когда все это преподносится в чрезмерном количестве, то может загнать человека в гроб. Видите, какой я здоровый и крепкий?

— Ты мог бы сообщить нам, куда направляешься.

— А разве вы разрешили бы мне уйти? А теперь я снова с вами — свежий, как огурчик с грядки.

Теща была очень рада грибам:

— Надолго хватит! А какие чистые — ни одного червивого.

Ну, вот и вся моя история. Как по вашему — можно ее разукрасить?

— Вы так ее нарисовали, что я не могу к ней добавить ни слова. По настоящему она должна бы быть подписана Георгием Шустровым.

— Ну, как это можно? Если каждый рассказчик будет подписывать свою фамилию, писателей расплодится видимо-невидимо. Рассказать я сумел, а записать бы все это никак не смог. А вы в таких делах понаторели, для вас это, как говорит моя теща, «однова дыхнуть».

БЕЗ ОГЛЯДКИ

Когда человеку шесть лет, всякая боль вызывает слёзы и жалобы. К кому побежать и уткнуть голову в колени? Ни к отцу, ни к сестре, ни к брату, а только к матери. Исцеление наступает скоро от её руки, поглаживающей голову, от её синего сарафана с розовыми цветочками, от её бордового фартука с карманом, в котором всегда хорошо пахнут разноцветные лампасеинки.

— Мама, меня шлепнул в бок свинчаткой Митька Рыжий. Вот в это место.

Мать подняла пунцовую рубашку.

— И правда — синяя болячка. Надо сказать тетке Катерине, она полечит святой водой.

— Она, небось, заставит снять рубашку и портки.

— А ты не стыдись. Мужикам и парням стыдно, потому что они несусветные грешники, а ты покуда ничем не согрешил, ты еще святой.

Пересиливая боль, я пошутил:

— Святой — с молока снятой.

— Нельзя так говорить: Бог может обидеться.

— Он и на маленьких обижается?

— Им он прощает, хоть обида всякому берedit сердце.

— У Бога тоже есть сердце?

— А то как же — и сердце, и глаза, и уши, и руки, и ноги, у Него все, как у человека, только безгрешное.

К ночи боль усилилась. Опухоль увеличилась. Я стоил до самого утра и весь день. Душистые материнские лампасеинки утишали боль на самую малость и то не совсем, но приятно было вместе с немочью чувствовать сладость во рту — она как будто текла по внутренностям к шишке и успокаивала нытье и колотье.

— Почему тетка Катерина не лечит меня?

— Это надо делать после заката солнышка, когда угомонятся куры.

Под нашим сараем насест был очень высоко и я всегда удивлялся, как туда забирались куры.

Тетка Катерина была младшей сестрой отца. Она всегда всех жалела и лечила от недугов настоями из трав, святой крещенской водой и заговорами.

— Польза от всякого лечения бывает только после заката солнца, — говорила она.

Когда солнечные прогалины между избами потускнели, мать достала из подполья две бутылки со святой водой и понесла под куриный насест. Там ждала тетка с березовым веником, которым парились в последнюю субботу. Листья с него еще не облетели и от него пахло распаренными телами отца и брата. Люди им хлещутся со всем усердием и от удовольствия вздыхают: «О-ё-ёй... о-ё-ёй»...

В бане, на верхней полке так бывает жарко, что приходится надевать на голову зимнюю шапку, а на руки — кожаные рукавицы, которые называются «голицами». Когда парятся, удивляются: «Почему это ногам хоть бы что, от всякой жары им только сладость, а голове и рукам — невоготу?».

Веник после бани берегут для сметания пыли летом и снега зимой. Держат его в сенцах возле двери.

Тетка Катерина попросила мать принести черепушку от разбитого горшка в которую наливают молоко для кошек. Она приказала мне снять рубаху и портки и раздвинуть ноги. Принесенную черепушку она поставила между раздвинутых ног, а святую воду из бутылок вылила в деревянное корытце. Обмакивая веник в воду, лекарка стала брызгать на меня, приговаривая:

«Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй нас.
По мосту-мосту, по калиновому,
Тут идет стар-матёр человек.
Шашкой вострой подпоясан,
Топор за поясом.

Навстречу ему три девки бегут:
Антонида, Маремьяна, Олена.

— Ты куда держишь путь, стар-матер человек?

— Иду я в мир недуг исцелять —

Головной и ножной, спинной и грудной,
Наружный и нутряной,

Дневной и полуденный, ночной и полуночный,
Часовой и полчасовой,
Минутный и полминутный,
Секундный и полсекундный,
Исцели, Боже, отрока Родиона
От его злого недуга,
Спаси его и помилуй,
Чтоб возрастал он в добром здравии,
И славил Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь, аминь, аминь,
Всем аминям аминь».

Я дрожал всем телом от стыда и от холодных брызг. Зубы стучали, но я терпел. От моих вздохов проснулись куры на высоком насесте. Мать стояла в стороне, пригорюнившись. Самое страшное было впереди. Черепушку, в которой собралась святая вода, надо было отнести на речку за две версты по недавно скошенному, колючему лугу и бросить с крутого берега, чтобы плеск отозвался в лесу на другом берегу.

— Туда пойдешь — не оглядывайся, назад побежишь — не оборачивайся. Лошадь заржет — не бойся, собака залает, три раза прочитай вслух:

«На церкви крест, на мне крест, на собаке нету».

В последнюю минуту тетка сказала:

— Коль не оглянешься туда и назад, будешь здоровым. Смотри не разлей святую воду из черепушки.

И я побежал — босоногий, без картуза, в красной рубашке и в синих самотканых портках. Уже темнело. Давно пригнали овец и коров. Надо мною летали грачи и пугающим карканьем как будто уговаривали оглянуться. Но я тесней прижимал к груди черепушку со святой водой от банного веника и с моего голого тела. Где-то звонко заржал жеребенок. Три раза до меня доносился собачий лай. Я повторял громко заклятье: «На церкви крест, на мне крест, на собаке нету». Сердце трепетало, но желание быть здоровым пересиливало все страхи. По плеску в воде я догадался, что подошел к речке. Бултыхнулась какая-то большая рыба. Я размахнулся и забросил черепушку в воду. Плеск от нее был похож на рыбий, но я не услышал отклика в лесу, только деревья

с того берега вытянулись длинными черными мостами и мне показалось, что по ним кто-то шагает в мою сторону — высокий, страшный, молчаливый. Я перекрестился и помчался рысью домой без оглядки по колючей скошенной траве. Из села донеслись песни девушек. Это отогнало все страхи. Когда я вбежал в проулок и поднялся на гору, меня подхватила мать:

— Сыночек, ты весь огненный!

— Мама, я ни разу не оглянулся. По воде ко мне шел леший, но я убежал от него.

— Значит, будешь здоровым. Пойдем, я покормлю тебя молочной лапшей.

— Мама, я всё сделал, как сказала тетка Катерина. Было очень страшно. Сердце прямо разрывалось.

— Ты редкостный на всё село. Нынче ты всё сделал, как сказала тетка. А когда вырастешь большим, делай, что тебе будет приказывать сердце. Тогда Бог пошлет тебе счастье, здоровье и удачу.

— Я так и буду делать, мама.

* * *

Матери давно нет на свете. Но я никогда не забываю её наставления — слушать приказы сердца.

МУЗЫКА СОЛДАТА ВАСИ

За длинной улицей села, на холме в зеленой мураве, неподалеку от пшеничного поля, стоял деревянный крест. Его верх был похож на избяную кровлю: две дощечки, сбитые под углом, укрывали небольшую икону под стеклом «Вознесения Господня».

В праздник Вознесения сюда текли людские потоки под певучий, многоголосый колокольный трезвон. Этой музыкой на высокой белой колокольне ведал безродный мужик по имени «Вася-солдат». Светловолосый и голу-боглазый — он излучал всегда доброту и кротость. Ни у старых, ни у малых не поворачивался язык — крикнуть ему «Васька». В слово «Вася» каждый вкладывал почтение, уважение и любовь к этому незлобивому человеку.

В армейском оркестре он играл на ударных инструментах, а когда отслужился, его потянуло на колокольню: трезвон напоминал ему молодость, марши на городских улицах и торжественные парады на широких площадях в присутствии высшего генералитета.

Трезвоня на стройной колокольне с четырьмя широкими просветами, он видел всех людей, заполнивших широкую улицу: впереди духовенство в сверкающих парчевых ризах, за ними «Богоносцев» с тяжелыми медными хоругвями, которые нужно было нести трем силачам. Матерчатые хоругви с изображением Христа и Богородицы были под силу одному человеку.

Степенные старики и старухи, подростки и дети несли небольшие деревянные иконы, прижимая их к груди.

Тут же шли певчие. Они начинали, а весь народ дружно подхватывал — девушки и молодки в ярких платьях — шелковых, кашмировых, батистовых, парни в цветных косоворотках, подпоясанных витыми поясами с рассыпающимися кистями. Радуга позавидовала бы красоте нарядов в этом благоговейном шествии под упоительный колокольный трезвон.

Позади шли матери и отцы — тоже нарядные, но не в ярких, а скромных одеждах, как полагается преклонному возрасту.

Вася — солдат различал с колокольни всех идущих — батюшку и дьякона, хоругвеносцев, певчих, девушек, парней и стариков, замыкавших шествие.

И как на городских армейских парадах, он старался трезвонить в ногу всем этим людским волнам, согретым солнцем и незримым теплом сердец.

Все эти волны текли туда, за село, к зеленому холму с крестом в виде домика. Мысли всех устремлялись к тому месту, откуда вознесся Спаситель.

Хор вместе с народом пел: «Вознесся еси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира».

Казалось, что вместе с народом и сердцами пели кудрявые облака на лазурном небе, пело само небо от края и до края.

Людские потоки направлялись к кресту возле пшеничного поля. Легкий ветерок лаская стебли, готовые выколоситься, превращая всё бескрайнее пространство в муаровое море, убегаящее к далекому горизонту.

Неподалеку от креста был колодец с высокой вереей и с длинной жердью журавля, косо взметнувшегося к небу. На нижнем его конце держалось старое тележное колесо. На верхний конец журавля садились пролетавшие птицы.

У креста служился молебен с водосвятием. Колодезную холодную воду из железной бадьи наливали в широкую серебряную чашу. По окончании всех возгласов и песнопений священник и дьякон подходили к полю. Дьякон держал чашу. Священник обмакивал в нее продолговатую кисть из конского волоса и брызгал на шелестящую пшеницу, а хор дружно пел: «Даждь дождь земле жаждущей, Спасе».

Я был в голубой сатиновой рубашке, подпоясанной белым витым поясом с кистями.

Когда седой священник и чернобородый дьякон вернулись от пшеничного поля к кресту, все стали подходить под благословение. Подходивших священник слегка обрызгивал водой, а после этого давал целовать крест.

Капель с лица никто не вытирал, ожидая, когда они высохнут.

Когда я подошел к бабушке, под голубым небом рассыпались трели жаворонка. Я поднял голову, чтобы увидеть звенящую, трепетавшую птичку.

— На жаворонка загляделся? — ласково спросил бабушка, — поцелуй крест и опять гляди вверх.

— Туда вознесся Спаситель, — указал я пальцем на небо.

— Выше жаворонка и белых облаков, — добавил бабушка.

Народ позади меня недоумевал:

— О чем это разговаривает бабушка с хлопцем в голубой рубашке?

Поцеловав золотой крест, обрызганный святой водой я побежал к колодцу с глубоким срубом. Между верхних брусьев сруба росла трава и даже два голубеньких цветочка. Я взглянул вниз и в глубоком зеркале воды увидел черноголового мальчика. Но его глаза трудно было разглядеть.

Трезвон на колокольне не прекращался. Здесь, на просторе зеленого выгона, возле моря шелестящей пшеницы, он звучал тише. Звуки сливались в полевую песню. Я думал о Васе — солдате. Мне он казался святым, потому что никого не обижал ни словом, ни делом, всем услуживал, каждому улыбался голубыми глазами, похожими на цветочки льна.

От креста народ вернулся в церковь под колокольный трезвон. В церкви бабушка сказал проповедь о Христе, переселившемся на небо.

— Но Он опять вернется на землю! — порадовал всех священник. От этой уверенности радостной вести кое-кто из старушек утирал слезы кончиками головных платков.

Я уговорил отца — позвать на обед Васю-солдата. Звонарь с радостью согласился. В этот день еда у нас была праздничная: молочная лапша, пшеник, курник и блинцы в коровьем масле.

После обеда я спрашивал у Васи-Солдата:

— Не скучно тебе, дядя, жить на свете? У тебя нет ни жены, ни детей.

— Я даже не знаю такого слова: «скука». Мне всё интересно: люди, зайцы, скворцы, леса и озера, по ночам — звезды, днем — облака, а по праздникам — трезвон.

— Ты не устаешь трезвонить?

— Трезвон — это музыка, а от неё не устают. От песен — тоже. Не устают жаворонки, соловьи, скворцы, кукушки. Почему не устают? Потому что радуются. А я — такой же, как они.

СВЕЧА ГОРЕЛА

Перед окном во всю стену — снежная, сверкающая панорама. Из закругленных, белых, холмов, плотно спрессованных морозом, выглядывают верхушки черных веточек. Лиственные деревья раздеты. Им холодно, но они удивительно терпеливы в своем длительном молчании. За много лет они привыкли к смене времен года. Этой верой они укоряют меня — нетерпеливого и сомневающегося.

Всегда одетые сосны серьезно-молчаливы. На них не дрожит ни одна зеленая иголочка. Они смущены перед обнаженными подругами. Но Творец извечно распределяет земные блага по Своему усмотрению.

Небо напоминает чуть полинялый голубой батист сестриногo платья, когда она целый день красовалась в нем на Троицу.

Вдали, за прозрачными деревьями, пробегают в оба конца машины. Какое множество людей на свете и у каждого свое дело, свои планы и мечты, своя нервозность и торопливость — скорее достигнуть цели, хотя это часто приводит к роковому концу.

Я смотрю на этот зимний пейзаж через широкое окно теплой комнаты и тоже мечтаю. О чем? Прежде всего мне хочется пожить еще хотя бы три года, чтобы за этот срок выполнить все свои творческие планы.

Я мечтаю — побывать на Родине — на Волге. Днепре, в Крыму и на Кавказе, где когда-то доставлял наслаждение публике веселыми рассказами. Но от сознания, что эта мечта неосуществима, душу охватывает боль. Надо смириться с этой неизбежностью, но это смирение, как операция без наркоза: больно, но терпи и молчи, чтобы не выказывать малодушия перед медицинским персоналом в белых халатах и в белых полумасках. Они священнодействуют, а я борюсь с собой, чтобы не застонать. От боли невольные крупные слезы текут по щекам. Доктор и сестры видят их, и, утешая меня, говорят: «Еще несколько мгновений».

Предвечерие сменяется вечером. Наступает ночь с крупными звездами. Некоторые из них трепещут острыми лучиками. Деревья окутываются мраком. Белизна снега становится дымчатой. Теперь видны только движущиеся огоньки пробегающих машин.

Я задерживаю широкий занавес из двух половинок. Свет настольной лампы с белым абажуром слева падает на мою тетрадь с синими линиями, на которые ложатся мои обдуманые слова. Проходит несколько творческих, радостных минут и вдруг электричество гаснет. В коридоре начинается взволнованная беготня. Кто-то звонит по телефону. Ему отвечают, что произошло серьезное повреждение на центральной станции.

Во всех комнатах зажигаются разнообразные свечи и огарки. Я тоже вспоминаю о наследственной толстой свече с золотыми полосками наискосок вдоль её ствола. Её зажигали в изголовьи гроба деда Тимофея, прожившего 90 лет. Свет свечи падал на его широкий лоб и седые кудри. Казалось, что его закрытые глаза улыбаются. При жизни он веселил людей шутками и балагурством и теперь, собравшись возле него, люди жалели не о кончине старика, а о том, что с его смертью отзвучал смех, такой желанный в человеческой жизни.

Мне было тогда 7 лет. Я смотрел на закрытые глаза, на плотно сомкнутые губы под седыми желтоватыми усами, на бороду, застилавшую голубую рубашку до пояса и мне казалось, что вместе с отпеванием, под кадильный дымок священника в серебряной ризе, слышится залистый голос покойника и как будто явственно выговаривает:

— Не думайте, что я умер! Уснуло только мое тело, а душа переселилась в моего сына Михаила и смех мой не затихнет!

Сын деда был моим отцом — весельчаком и сказочником. К какому бы двору он ни подходил, туда бежал народ — слушать побывальщины дяди Михаила. Цель жизни отца была возвышенной и благородной: радовать людей, а радовать — значит веселить, потому что смех для человека лучше всякого лекарства.

Отец умер сразу: вбежал с улицы и упал. Ему было 70 лет. И возле его изголовья зажгли ту самую свечу — с золотыми косыми полосками. Казалось, что и этот покойник смеется. Народ собравшийся возле гроба говорил:

— В этой семье все умирающие не унывают. Жалко что дядя Михаил рано перестал веселить нас. Теперь эта доля перешла к тебе, тетка Аграфсна, — говорил народ моей матери — первой песеннице большого села.

Десять лет прожила мать после смерти отца. Наследственная свеча освещала её прямой пробор седых волос в черном платочке. Её уста были скорбны. И все скорбели, глядя на нее:

— Умерли весенние, и летние песни. Может быть ты их продолжишь, Родион? Больше всех детей она любила тебя. От её вразумления ты стал сочинителем. У каждого свой талант: дед и отец забавляли народ сказками, мать звонкими песнями, а ты своими книжками которые переворачивают душу. Возьми себе на память эту свечу. Сколько раз зажигали её, но она осталась такой же — с голубым фитильком, с луночкой в середине, с золотыми полосками наискосок.

После похорон и поминок я взял эту свечу и увез её в Москву. Во время войны я положил её в сумку, сохранил её в бою, в плену, в беженском лагере и привез с собой в Америку. Она всегда со мной — памятная, негораемая, драгоценная.

Милая, родная, наследственная свеча, как ты пригодилась мне, когда весь поселок погрузился в мрак! Я засветил тебя и поставил на подсвечник возле тетради с синими линиями. И сразу вспомнилась другая свеча, которая светила гениальному поэту, когда он создавал стихи:

Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Гори и ты сейчас, моя единственная связь с навсегда потерянной родиной. Ты была свидетельницей ухода из

жизни деда Тимофея, отца Михаила и матери Аграфены. Но ты еще светишь мне. На долго ли? Кому ты останешься после моего ухода? Оценят ли тебя чужие люди? Чтобы ты не была забытой, я завещаю тебя молодому литератору другу. Ты будешь для него родной, какой была для меня, а перед своим концом он передаст тебя своему сыну, который будет поэтом.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Это было совсем недавно. Завывала метель. Свистел ветер. Электрические провода были порваны. Дом погрузился в мрак. Я зажег тебя, моя подруга, и смотрел на снежные хлопья в переплетах оконной рамы, сочувствуя всем застигнутым в пути и горячо молясь о них.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Горела и казалась несгораемой, вечной, когда-то слышавшей заунывные напевы последней панихиды о вечной памяти, о покое, где нет ни печали, ни воздыхания, но всегда неумирающая жизнь. Надгробные рыдания сливались с завываниями метели, с дрожанием оконных стекол и колебанием твоего пламени, которое вытягивалось от оконных струй узкими, длинными языками, трепеща, но не угасая.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещение рук, скрещение ног,
Судьбы скрещение.

Да, под завывание под окном, под перебегающий свет на потолке, вспоминалось неоднократное, судьбоносное скрещение житейских дорог, когда душу беспокоил вопрос, по какой дороге продолжать намеченный путь?

И падали два башмачка
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И это было в моей жизни, потому что я тоже когда то был молодым, любящим и любимым. И каким уютным тогда было это пламя свечи, а капли воска казались слезами радости цветущей юности, когда хотелось крикнуть:

— Мгновение, остановись!

И всё терялось в снежной мгле —
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Дорогой поэт, автор этих строк, если бы ты ничего не написал, кроме них, ты остался бы в памяти многих поколений. Но ты подарил человечеству много страниц, продиктованных твоим удивительно человеколюбивым сердцем.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна,
Вздыхал, как ангел два крыла
Крестообразно.

Струи из окна, касаясь пламени, рисовали ангела на стене со скрещенными крыльями. Я видел его, я просил его быть хранителем моей взыскующей, мечтающей, скорбящей души. Я зывал к нему:

— Сбереги меня и Господь вознаградит тебя за эту защиту!

Мело весь месяц в феврале
И то и дело —
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Горела и не сгорала, как неопалимая купина, как символ моей пылающей души, благодарной Богу за все радости и скорби.

МЕДВЕЖИЙ РЕВ

Семья у Васиных была большая. За стол садилось пятнадцать человек. К Пасхе всем справлялись обновки: пиджаки, брюки, платья. Женские наряды и рубашки для детей шили дома, приглашая недели на три или на целый месяц швею.

Шелест разноцветных материй, освещаемых весенним великопостным солнцем, создавал какую-то особенную приподнятость.

За окнами на скворешниках заливались скворцы. Застывшие за ночь длинные сосульки, похожие на пики, с восходом солнца начинали ронять крупные капли. Они падали в круглые ямки во льду возле фундамента. При падении капель во все стороны летели тонкие искрящиеся брызги. Иногда сюда прилетали воробьи. Они суетливо, все время с оглядкой, купались, встряхивая крылышками. Взрослые, увидев это, говорили:

— К теплу, к дружной весне. На Пасху нанаверное зацветет черемуха. Детям нравилось примерять новые рубашки, пахнущие магазином.

— Не вертись, — говорила мать. Но в новом наряде как раз хотелось вертеться от радости, которую несла с собою весна.

Верхнюю одежду отдавали шить портному. Он несколько раз приходил на примерку. В первый раз материя только кое-где была скреплена на «живую» нитку. Портной чертил на неймелом линии, ставил точки. Костюм совершенно не имел вида и было жалко материи, искромсанной на куски и запачканной мелом.

При 2-ой примерке на одну руку натягивался рукав, полы были подшиты, прикреплен воротник. При третьей костюм был почти готов и если кое-где сидел мешком или резал под мышкой, приходилось подпарывать для последних исправлений.

К тому времени, когда заканчивалось шитье одежды, на тротуарах уже подсыхало. Распускались ветла и душистый тополь. Мусор во дворах заматался большими

метлами из красной, жесткой таволги.

Одновременно с шитьем одежды знакомому сапожнику заказывалась обувь для всей семьи. Васиным всегда шил Онуфрий Базанов — толстый, плешивый, но очень веселый. Новой обувью к Пасхе радовали не только членов семьи, но так же и прислугу.

Однажды, сняв мерки с хозяев, Базанов отправился в кухню. Дети любили смотреть, как кухарка, прежде чем ей снимали мерку, надевала на себя две пары толстых шерстянных чулок, связанных в деревне. Чулки были яркие — красные или зеленые, с крапинками, с кругами, с темными искорками. Назывались они «кобеднишными». Дети долго не понимали этого слова, пока им не растолковали, что в этих чулках ходят к обедне.

— Уж не поскупись Онуфрий Степаныч, попросторней сшей, а то еще «музлы» заведутся.

Так кухарка Матрена называла мозоли. Она была честной, доброй, чистоплотной и не меру доверчивой. За эту доверчивость о ней говорили:

— Матрена с бусорью.

— Что значит «с бусорью» — спросили как-то дети у кучера.

— Что тут долго объяснять? С придурью и все тут.

Детям было обидно за Матрену: если бы действительно была с придурью, не готовила бы так вкусно, особенно пирожков с требухой.

Базанов должен был сшить ей какие-то особенные, «выхофные ботинки» с черными резинками по бокам. Когда мерка была снята. Матрена отозвала сапожника в сторону и таинственно спросила:

— А можно, Степаныч, со скрипом?

Базанов немного призадумался, потом подмигнув в сторону детей, сказал:

— Почему нельзя? Все можно, только за особую приплату.

— Да уж не постою за деньгами, только бы скрипели.

— А лучше всего вот что: когда пойдешь в бакалейку, купи на пятак «Медвежьего реву» и занеси нам в мастерскую.

Через день Матрена была в знакомой лавке, где забирали товар «на книжку», как было заведено в русском быту. Набрав всего по наказу хозяйки, Матрена обратилась к приказчику:

— А теперь, почтенный, отпусти мне за деньги на пятак «медвежьего реву».

— Остался у нас «медвежий рев» или весь вышел? Сметливый хозяин, видимо, догадался, в чем дело но, не желая обидеть Матрену, сказал:

— Только вчера продали последние остатки. Теперь придется подождать, когда придет из-за границы. Товар этот редкостный, изготавливается в Америке.

— За тридевять земель, значит? — с тоскою вздохнула Матрена.

— Да.

— Ах, жалость какая.

Ботинки были сшиты без «медвежьего реву», но через неделю, как раз на «Красную горку» заскрипели и сердце Матрены затрепыхалось от радости. По этому случаю она отпросилась к обедне, нарядившись в зеленое полушелковое платье. Юбку для шику подоткнула, хотя было сухо. Нижняя юбка была из домотканной шерстянки — красная, широкая, с густой оборкой, которая топорщилась и делала Матрену полной. «Кобеднишные» чулки голубого цвета были с черными шашечками. Голову она покрыла розовой полушалкой с желтыми цветами на затылке, а на плечи набросила шерстяную лиловую шаль с длинными кистями.

Природные румяна круглого лица Матрена усилила краской с цветов кухонных обоев. Из-под полушалки выпустила на виски черные, смоченные сахарной водой «песики».

Это была яркая, движущаяся клумба. Но самым главным шиком были ботинки. Во дворе у Васиных говорили, что Степаныч устроил для Матрены «суприз», чтобы век за него молилась Богу. Вот она от избытка чувств и пришла помолиться, показать себя и всех удивить небывалым скрипом.

У свечного старосты она купила две «пяташных» свечки, а не двухкопеечных, какие ставят скупые люди.

Шаги посреди храма она замедляла, чтобы скрип был как можно явственнее. «Рррр... рррр», — раздавалось в главной части собора и в приделах. Весь народ оглядывался, кое-кто сдержанно, беззлобно улыбался, а она, поставив свечки перед иконами справа и слева, так же медленно и степенно прошла назад и стала неподалеку от входных дверей с левой, женской стороны. Она ничего в этот день не просила у Бога. Она только благодарила Его за милость, радость и красоту.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ГРОБОМ

(Речь на районном совещании колхозных шоферов)

— Для вас, товарищи, конечно, не секрет, а самокритика без контрреволюции, что лесного материала в наших колхозах ни за какие трудодни не раздобудешь. А иной раз две-три доски до зарезу нужны — кто ж этого не испытал на собственной шкуре? И вот умер у нас член правления колхоза, товарищ Чуркин — царство ему межпланетное, где стратонавты порхают. Надо делать гроб, а досок и гвоздей нет. Все фермы обшарили — и свиноводческую, и молочную, и куриную — ну, нигде единой дощечкой нельзя разжиться. Что делать? И вот призывает меня председатель колхоза, товарищ Заковыкин и говорит: «Товарищ Сережа, ты парень шустрый и мозговитый — так вот: чтоб одна нога тут, а другая в городе! Поезжай срочно за гробом для торжественных похорон товарища Чуркина, как он этого заслужил своей ударностью и смертью по недоразумению в жаркой бане от усердного хлестания березовым веником при субтропических градусах. Купи гроб понаряднее, покрасивее, с кружевами, какие не рвутся. За ценой не постоим, пусть счет пришлют, не обманем. Колхоз: «Ответ капиталистам» по всей области гремит, а что гвоздей и досок для гроба не нашлось, не велика важность: мы в мелочах не зарываемся, у нас на первом плане — продукция. Вот тебе бумажка от правления, чтоб гроб отпустили без всякой подозрительной сомнительности».

— Есть, товарищ председатель, — отвечаю я с привычным энтузиазмом.

Поехал, можно сказать, полетел: 65 километров в час отмахал. Въехал прямо в центр города, а где гробовой магазин, неизвестно, потому как до этого раза с гробами цацкаться не доводилось. Увидал своим беспокойным зрением надпись: «Улица Ленина» и пру по ней. Вижу — на перекрестке милиционер туда-сюда поворачивается, руками всякие фортели выкидывает, как наш колхозный

культурник на сыгровках струнно-трубного оркестра. Подрулил я к нему, бумажку показываю: «Товарищ милиционер, где мне в вашем городе смертное заведение разыскать?» Милиционер долго вертел в руках бумажку, даже махание приостановил. «Для какой надобности тебе с гробом приспичило?» — спрашивает. — «Ну, известно для какой: человеческий прах члена правления пристроить». — «А разве в вашем колхозе двух досок и горсти гвоздей не нашлось? Что ж это за колхоз? Смехота одна». А я ему на это контрвозражение: «Колхоз не кое-какой, а на красной доске почета и красное переходящее знамя третий год никому не уступает. Нам на гробы плана из центра не спускают. Сразу видно, что ты ничего не смыслишь в нашей колхозной промышленности. Живешь, как в темном лесу, хоть и стоишь на перекрестке, как движущий статуй».

Милиционер обиделся, надулся, как индюк, отдает бумажку, бурчит в сердцах: «За первым углом поворот налево, через три пересечения вывеска с красным гробом».

На мое счастье, магазин был открыт. Облюбовал я гроб чуть не с корабль, чтоб вся объемистая комплектация товарища Чуркина уместилась в нем без насильственного впихивания. Задерживаться не стал, даже в ресторан «Друг желудка» не заглянул, а хлебушком с зеленым огурцом подкрепился. Назад по профелировке поехал. Сначала было пыльно, как в Сахаре, но откуда ни возмись, туча надвинулась и такая черная, страшная, прямо старинная — молнии так и полосуют, так друг за дружкой и гоняются и все в землю норовят, того и гляди мою трехтонку, как вилок жареную котлету проткнут. Громовые залпы зачастили, как во время штурма Берлина. А тут шандарахнул дождь — крупный, секущий, нахальный. Вся профелировка пузырями вздулась. Гоню исподволь, чтоб колеса не забуксовали. Грязь по обе стороны раздваивается, как вода от парохода на Волге. Туча своей чернотой сперва четверть неба завесила, потом половину. Моя трехтонка с гробовым грузом плевалась грязью и вихляла направо и налево.

На спуске в лощинку сквозь дождевую погибель человека разглядел — по наружности полуживого, потому что его качало из стороны в сторону не то от ветра, не то — от другой причины. Шагал он все время зигзагами, голову мешком прикрыл, словно его мозговой состав был из рафинада спрессован и он боялся, чтобы эта сладость от дождя не растаяла. Загудел я ему, чтоб посторонился, а он вместо того поднимает правую руку. Пришлось затормозить.

— Будь другом, товарищ, подвези... промок до нитки...обувка, сам знаешь, какая у нашего брата колхозника — си... ци... листическая.

— А ты кто и куда?

— Аким я, по фамилии Передряга, колхоза этого самого «Парижской коммуны» ночной сторож.

— А что это от тебя самогоном разит, как от индивидуального заведения?

— Да видишь ли какое дело: поминку у кума по его жене справляли: от колхозной натуги преставилась.

— Полезай и устраивайся, как хочешь. Денег с тебя не требую, но и удовольствия от езды не обещаю. Гроб везу. Не всякому приятна эта близость.

— Да я, голубчик, приятности не ищу, а гроб — вещь обыкновенная — чего его бояться? Это ж наш последний приют, хоть в этом ящике и мало удовольствия.

Гроб был брезентом прикрыт. Брезент, правда, с начатия колхозной линии нам служит, дырами, как пулями, изрешечен. Забрался мой Аким в кузов, поехали. Пассажир мой от тряски совсем разомлел. Но мужик был, как видно, дошлый: сорвал с гроба брезент, приподнял крышку, улегся в гробу поудобнее, взлохмаченную голову на подушку склонил, набитую стружками. Чтобы дождь не докучал, прикрылся крышкой, а вместе с ней натянул и брезент, между гробом и крышкой его просунул — для воздуха. Лежит себе, полеживает, под дождевую симфонию в дремоту стало клонить, самогонная одеколонность тоже убаюкивала. А дождик никак не хотел уgomониться. Дорога превратилась в длинное преддлинное болото. Моя трехтонка сопела, чихала, вот-вот,

думаю, растянется боком, как свинья в дорожной грязи. На развилке двух дорог еще два человека грязь местили — один мужского пола — с головы до ног блондин, товарка его по обличью на мордовку смахивала. В руках у мужчины было ведро, по всей видимости с яйцами, а у женщины через плечо, в двух заплатанных штанинах — две четвертные бутылки с молоком. На базар в Самодуровку шли. Опять поднятые руки, вопли, слезы и опять жалость, как червяк, мое сердце засосала. Вы там в задних рядах не болобоньте, что это мой «приработок». Для меня сознательность — дороже рублевки и трешки, потому что от рождения сочувственность в каждой моей кровеносной жиле вместе с белыми и красными шариками. Посадил. Едем.

Разглядели они под брезентом гроб, стали креститься, запричитали:

— Помяни, Господи, во царствие Твое... идеже несть печаль и вздыхание, но жизнь бесконечная...

На гроб сесть сочли грехом, только брезент с него стянули, дескать, ничего ему от дождя не сделается, потому что он не из тающего материала сбит. Для теплоты укрылись брезентом, привскакивают от тряски, но терпят и даже радуются. Много ли человеку надо для хорошего настроения? Но вот почудилось им какое-то шевеление в гробу. Думают про себя: «Может быть померещилось?» А тут вдруг крышка приподнимается и показываются из-под нее пальцы — синие, скрюченные, какие у человека с похмелья бывают. А после того — осторожно, исподволь, высовывается рука до локтя, как змея подколотая... Вдруг позади меня что-то загремело, зазвенело, брязнуло стекло, раздался истошный бабий крик, в котором я разобрал: «Караул, спасите люди добрые!»... Я, конечно, со всего хода затормозил, скосил глаза, вижу: баба и мужик пробками вылетели из кузова. Она шлепнулась в грязь в одном месте, мужик перелетел через нее и растянулся в другом. Картина, доложу вам, прямо комический фильм с Чарли Чаплиным. Яйца из ведерка выкатились и раскокались. Четверти с молоком вдребезги разлетелись, так что грязь на дороге

стала, как забеленая похлебка. Скомканый брезент надулся пузырем и шевелился на ветру.

— Какой леший вас из кузова выпихнул?

— Не леший, а мертвец, — плакала женщина.

Человек из гроба тоже заинтересовался приключением и спустился на дорогу.

— Объясни ты эту катастрофию, — закричал я на него, — видишь, сколько из-за тебя беды?

— Что ж тут объяснить? Улегся я в гробу и задремал, даже сон приснился, будто я совсем махонький и в люльке качаюсь. Но вот чувствую, что воздуху стало нехватать, как будто кто-то задуть меня хочет. А это потому, что они брезент с гроба стянули и крышка плотно ко гробу прилипла. Ну, тогда я приподнял ее, чтоб вздохнуть и узнать, перестал ли дождь или все еще не угомонился? А вот рука-то моя правая из гроба и пронзила их страхом и ужасом: подумали они, что мертвец ожил и сейчас в их глотки вцепится. Вместо того, чтобы как следует узнать, что это за рука, почему она в гробу очутилась, они на полном ходу из машины сиганули и себе костяную проломность сотворили.

— Дурак! — закричал я на виновника несчастья, — ведь по твоей дуболобости люди могут остаться на всю жизнь калеками!

— На это наплевать, что калеками, — заплакала женщина, — молоко жалко: два целковых пропали.

— А у меня от полсотни яиц только три уцелели, а все остальные в яичницу обратились.

Пришлось этих бедолаг вместо базара в самодуровскую больницу отвезти. Гроб и начальству нашему и всем колхозникам очень понравился. Женщины вздыхали:

— Такую красоту жалко в землю закапывать!

Похоронить товарища Чуркина успели до химического обоняния. За гробом шел струнно-трубный оркестр.

О своей поездке за гробом я молчал до поры до времени и только на торжественных поминках, после политических речей, когда всех обнесли по два раза самодельным паплетом в чайных чашках, язык развязался. Сколько было смеху, прямо, как в цирке, когда клоун дурака ва-

ляет. Там и тут кричат: «Перестань, замолчи, а то второй раз придется в город ехать не за одним гробом, а за целой дюжиной!»

На другой день правление колхоза с активом постановило: «В случае перевозки гробов разных шатающих пешеходов оставлять без вредного сочувствия. Подбирать только тех, которым грозит смерть от экстренного паралича или скоропостижного рака».

Я кончаю товарищи. Думаю, что никто не скажет: «Зря убил время». Я еще младенцем слышал: «Век живи — век учись». А разве приключение с гробом — не житейская школа? Рассказ мой — стопроцентный факт, а такие факты мы не должны утаивать. Пусть все шоферы о них знают и себе на усы наматывают, у кого они не сбриты.

ЧУДО

Кругом леса и озера. В долине — село Тайнинка. Когда-то здесь промышляли разбойники. В полуверсте отсюда пролегал большак. От лиходеев не было ни проходу, ни проезду богатым людям: ограбят, убьют, трупы в лесу закопают, чтобы других не пугать, не отбить охоту — ездить по тракту. Губернатор присылал войска для усмирения грабителей, но мало было пользы от этого, потому что никто не мог найти вожака разбойничьей шайки: знал он потайные места, медвежьи берлоги, завалы бурелома.

Давно это было, но до сих пор вся округа полна рассказов и легенд о стародавнем.

В селе дворов двести. Богатых мало. Да и как разбогатеешь, коль нет степных раздолий для хлебопашества? Лес, глушь, болота, комары. Большак давно заглох. Крестьяне заняты звероловством, рыбной ловлей, плетением корзин. На выкорчеванных вырубках засевают рожь, но самую малость: еле-еле до нового урожая дотягивают.

Славится Тайнинка белыми грибами: много их в окрестных лесах. Это большое подспорье для местных жителей: сушат, на нитки нанизывают в виде ожерелья — в середине покрупнее, по краям — малюсенькие. В каше, в похлебке, в любом кушанье у тайнинцев грибы. За полверсты от села грибным ароматом веет. Улица в один порядок извилистой лентой вытянулась. Летом перед домами — зеленая мурава, зимою — синеватые сугробы.

Когда-то посреди села белая, деревянная церковка красовалась.

Священник был многосемейный, с прихожанами не ладил. Когда ходил с требами, давали ему не от чистого сердца. Чувствовал это батюшка и еще больше ожесточался против нерадивых.

Пришел как-то в Тайнинку человек средних лет с кротким лицом, с русой бородкой клинышком, созвал перед вечером народ у околицы, возле ржаного поля и

стал говорить о Боге, о Христе, о вечном спасении. Говорил хорошо, внятно, каждое слово в душу западало. Призывал покаяться в грехах, Спасителю довериться, читал Евангелие. Слушал народ пришельца и дивился: «Почему наш батюшка никогда не поговорит с нами вот так, по душам, от чистого сердца?» Ведь как всё понятно и просто. Господь Сына Своего Единородного не пожалел, на землю послал, чтобы спасти всех людей. Бог всё дает людям, а чем люди отплачивают Ему? Помнят ли о Нем каждую минуту жизни, благодарят ли Его за неисчислимые дары?

Многие из слушателей плакали, говорили: «Всё правильно», спрашивали, что им делать?

— Покаяться и жить не так, как хочется, а так, как Бог велит, — отвечал гость. А когда запел, преобразились лица у всех, каждому казалось, будто крылья у него выросли, чтобы к небу взлететь.

Господь нас грешных возлюбил,
Себя не пощадил.
Он на кресте в предсмертный час
Отца молил о нас.
О, сердце, не смущайся, верь,
Прими Христа теперь.

— Научи нас, добрый человек, таким молитвам.

— А вот вам книжечки. Грамотные есть?

— Найдутся.

— Давайте петь вместе. Только сначала я один пропою, на голос наведу.

Почти всё село сбегалось к околице. Много трогательных духовных песен было спето в тот теплый весенний вечер. Из лесу доносилось кукованье кукушки. Прогретые за день сосны разливали аромат хвои. Хорошо было на душе у каждого. Как желанный дождь на сухую землю падали слова захожего человека.

— Приходи к нам почаще, друг.

— В воскресенье утром приду, опять на этом месте помолимся, погода стоит теплая, кругом Божье благолепие. Скажите всем, кого увидите.

Мало людей было в воскресенье в церкви. Весь народ у околицы собрался. О блудном сыне прочел Евангелие милый гость, снова к покаянию призывал. Многие склонили колени на зеленую траву. Женщины плакали, вздохи вылетали почти из каждой груди. А после собрания все стали уговаривать гостя: «Оставайся у нас, будешь родным братом для каждого».

Понял священник, что нельзя ему здесь оставаться, в соседнее село переехал. Другого священника церковная власть не назначила. Церковь на слом была продана в небольшую деревню. А на этой площади молитвенный дом построили — светлый, просторный, теплый. И стали приходить в Тайнинку из разных мест старые и молодые.

Но недолго так было. Наступили тяжкие времена. Сначала одного проповедника арестовали, немного погодя — другого. Молитвенный дом пока не закрыли. Стали люди без духовного руководителя проводить собрания. Молились за арестованных. Плакали, ждали перемены к лучшему.

Но вместо просвета заухали пушки неподалеку, загудели под небесами стальные птицы. К Тайнинке приближался фронт с запада. Куда побежишь с детьми? Остались на своих местах, с покорностью встретили завоевателей.

Вскоре слухи дошли до тайнинцев, что народ из окрестных сел и деревень в лес бежит — от непосильных поборов, от угона молодежи в чужую страну на изнурительные работы.

Верующие в лес не побежали. Будь, что будет, на всё Божья воля. Чаще стали молиться, просили Бога — сжалиться над нашей несчастной родиной. Фронт к востоку откатился. В село завоеватели заглядывали редко. Только старосту назначили из тех, кто посмышленнее. Приедут к нему, отдадут распоряжение: «Сдать столько масла, яиц, молока, мяса, фуража».

И опять ни одного чужака.

Узнали об этом лесные жители и стали наведываться в Тайнинку, первым делом — к верующим:

— Вы добрые, по заветам Христа живете. Трудно нам в лесных дебрях от неприятеля укрываться, помо-

гите нам, дайте хлебушка, мясца, соли. Кончится война — отблагодарим.

Не отказывали братья и сестры, последним делились. Понимали: в лесу — не то, что дома: каждую минуту трясись, как бы каратели не нагрянули.

Но не дремлет враг добрых душ: кто-то донёс партизанам на верующих:

— Не верьте вы им, они хоть и молятся каждый день, а сами с немцами сговариваются, как бы переловить вас всех.

Озлобился партизанский вожак:

— Ах, так? Сегодня же всех на небо отправлю!

Ничего не знали об этом верующие, когда вечером шли в молитвенный дом. Меньше их стало: молодежь на работу в Германию угнали. Старые да малые остались. Есть о чем молиться оставшимся. Много страдания кругом. От детей, угнанных на чужбину, уже много месяцев ни слуху, ни духу. Из лесу невеселые вести: мрут там люди от холода, голода и цинги. Поборы для немцев с каждым днем всё тяжелее. Хватит ли сил перенести всё это?

Человек тридцать собралось в молитвенный дом. Спели гимн:

Когда огорченье
Ты встретишь в пути,
В других утешенья
Тебе не найти.
В слезах умиленья
И в тайне души
Христу сокрушенье
Излей ты в тиши.

Руководящий старичок прочел из Екклесиаста: «Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Хотел сказать поучение на эти слова, но за окнами послышался топот, кто-то ругался, кричал, щелкал затворами винтовок. Затаили дыхание собравшиеся: что это? С шумом открылась дверь и в молитвенный дом

вбежали четверо — обвешенные оружием, небритые, с недобрыми косыми взглядами. Не сняв шапок, протопали к кафедре. Вожак отпихнул руководящего, презрительно перелистал Библию и бросил её на пол, а на том месте, где она лежала, водрузил пулемет — дулом в сторону собравшихся. Всех охватил ужас. Опустились на колени. Каждый шептал: «Господи, спаси». А партизанский вожак с издевательской, злобной ухмылкой крикнул:

— Слушали Библию? Теперь послушайте пулемет! Прощайтесь с жизнью, святые товарищи: через минуту всем крышка! Не спасут вас никакие молитвы, слабы они тягаться с меткими пулями: насквозь, без промаху пронзят каждое сердце!

Прижимая детей к груди, застонали, зарыдали женщины. В середине молитвенного дома сидел больной человек с деревянной ногою. Он обратился к вожаку с просьбой:

— Дорогой наш грозный товарищ! Знаем: нет нам пощады от тебя. Понимаем, зачем ты поставил пулемет на кафедру. Об одном тебя просим от чистого сердца: дай нам три минуты для последней молитвы перед смертью... Только три минуты, а тогда стреляй, убивай старых и малых.

— Ну, что ж, помолись напоследок, только не очень долго: ждать некогда, через три минуты всем вам — капут!

Под слезы, стоны и вопли, заглушая великую скорбь, громко начал молиться больной человек:

— Господи, великий и многомилостивый, прости нам лютые согрешения наши. Только теперь, за минуту до смерти, поняли мы, сколько наделали непоправимых ошибок: мы отдавали партизанам последние крохи, мы оголодали своих малых детей. Два года мы поили, кормили, одевали и обували тех, которые сейчас нацелили на нас пулемет. Прими, Господи в Свое вечное царство наши души, прости нас за щедрость для партизан. Ты видел, Господи, как мы любили их, как жалели, но за нашу любовь и жалость они дали нам только три минуты. Эти

минуты уже на исходе, через несколько мгновений мы все будем мертвыми...

Никто из стонущих и плачущих не видел, как покраснело небритое лицо партизанского вожака, как он сердито стащил с кафедры пулемет, как виновато подошел к молящемуся и застенчиво взял его за плечо:

— Слышишь? Эй, ты! Не молись так... Ну? К чему это? Не нужны вы нам! Ребята, тащите пулемет на улицу. Чует сердце: наклеветали на них. Они же никогда, ни в чем нам не отказывали! Извините, товарищи, что малость побеспокоили вас. Молитесь, как прежде молились. Может и за нас, головорезов, словечко своему Богу замолвите? Прощайте покуда! Не сердайтесь за ошибку!

Ушли. Сняли охрану вокруг молитвенного дома.

В сторону леса направились.

Поднял с полу Библию руководящий, на кафедру положил.

— Братья и сестры, они ушли. Бог распутал силки, поломал капканы, сделал ягнятами злых волков. Дошли до Господа наши кровавые вопли. Братья и сестры, это день нашего воскресения из мертвых. Это самый счастливый наш день. Утрите слезы, дорогие братья и сестры. Вознесем благодарность из души нашему Спасителю.

Какими радостными были молитвы после этого. Молились со слезами радости. Только благодарность возносила каждая душа Источнику Света, Любви, Радости и Жизни.

ВЕРЕВКА

Красивый дом бросается в глаза всем проезжим: он двухэтажный, со шпильями по углам и в середине, с широкими окнами, за которыми видны кружевные шторы. Наружные стены канареечного цвета кажутся золотыми. В палисаднике с зеленой оградкой множество ярких цветов.

Проезжие даже приостанавливаются, чтобы получше разглядеть этого красавца. Какими жалкими кажутся соседние домики — одноэтажные, с подслеповатыми окошками, с сорной травой перед фасадом.

Кое-кто думает, что в доме с канареечными стенами живет какой-то заезжий из большого города аристократ или богатый купец. А в действительности дом принадлежит пресвитеру евангельской церкви Харитону Ивановичу Желудеву. Церковь в том же селе, на окраине. Она не так просторна и нарядна, как пресвитерский дом. Но ведь дворец царя Соломона был богаче и вместительнее Иерусалимского храма. Чем нажил богатство Харитон Желудев? Своими неусыпными трудами. У него много земли, большой сад, много скота. Для всего этого нужна наемная рабочая сила. Но хозяин никогда не барствует сложа руки. Он — пример для всех работников своей торопливостью, смекалкой, неутомимостью. Потая, он вгоняет в пот всех остальных. Скрепя сердце, работники называют его ненасытным. Для кого он старается?

В городе у него сын профессор. Ученому не нужно отцовское богатство: он обеспечен хорошим жалованьем, он получает гонорары за свои литературные труды. Но все же отец втайне думает: все мое пойдет сыну и внучатам.

Вечерами Харитон читает Библию. Он пристрастился к ней еще в молодости. Он прочитал ее раз тридцать. Многие страницы знает наизусть. Потому его и выбрали пресвитером церкви. Язык у него привешен не плохо, его проповеди богаты жизненными примерами. Больше всего

он любит говорить о полезности труда и о Господних благословениях на всех тружеников.

Он не скуп. Молитвенный дом построен почти исключительно на его деньги. От церкви он не получает никакой материальной поддержки. Кое-кто питает к нему зависть. Многие осуждают его. За что? Разве он заслуживает порицания, осуждения, критики?

Да. Наряду с его положительными качествами у него есть минус и можно даже сказать большой грех: он не уважает свою мать старушку. А ей уже около 80 лет. С каких пор он проникся к ней неприязнью? С того дня, когда она внезапно ослепла. Когда после этого ее сажали за стол, она совала ложку мимо миски, а неся ее ко рту разливала суп на скатерть.

Первой прониклась ненавистью к свекрови жена Харитона — толстая женщина с избытком румянца на полных круглых щеках. Любя чистоту в доме, она кричала на свекровь за каждую каплю, пролитую на скатерть.

— Теперь на нее не намоешься, — злобно говорила она мужу. Как ее посадить за стол при гостях? От стыда можно провалиться сквозь пол... Надо придумать что-нибудь... Мне противно на нее смотреть!..

И Харитон придумал: на границе двора и сада построил для матери сарай с деревянным полом. Летом там совсем хорошо. А зимой тепло дает железная печка. Возле плотной двери поставили односпальную кровать, к кровати привязали длинную веревку. Другой конец веревки был протянут в кухню. К веревке был прикреплен колокольчик, снятый с дуги.

— Еду тебе будем приносить сюда. Когда что понадобится — звони. Если захочешь пройтись, можешь выйти из сарая, только не отпускай из рук веревки — она тебе будет заменять поводыря

— А если мне захочется поговорить? — робко спросила мать.

— Дерни за веревку. Кто из нас будет свободным, тот к тебе и придет.

В первое время такие звонки раздавались часто.

— Житья нет от этого звона, — сердилась невестка, — что там ей приспичило?

— Ты больно часто докучаешь, — сделал замечание сын, — звони только, когда будет какая-нибудь экстренность, неминуемость... Мы не можем быть у тебя на побегушках, сама знаешь, как заняты.

— Да уж больно скучно сидеть и лежать одной в сарае... Лучше бы в тюрьме, где много народу.

— Скажи зрячим старушкам — соседкам, которым нечего делать — пусть от скуки наведываются к тебе.

Соседки оказались отзывчивее сына и невестки — и приходили и приносили чего-нибудь вкусенького — пирожок, блинчик, кусок лапшевника, печеное яблоко.

— За что они прогневались на тебя и от себя отделили? — спрашивали посетительницы.

— За мою слепоту — кому охота сидеть с такой за одним столом?

— Мы помним, как ты надрывала свои силы по чужим людям, когда Харитон был маленьким, за пятерых батрачила у богачей...

— Рано овдовела я, потому и не знала покоя... Но Харитона всегда был со мной... Я работаю, а он возле увивается... Я ему говорю бывало:

«Гляди, как мать работает и перенимай ее сноровку — пригодится, когда подрастешь».

— Да уж что и говорить, воспитала ты его, как никто в целом селе: всякое дело у него горит в руках и уверовал он у тебя рано.

— На четырнадцатом году. А грамоте у разных людей учился: на лету все схватывал и запоминал — в покойного отцамышленным уродился...

— Да ведь и не гордый будто бы, а гляди — что придумал — мать в сарае запер.

— Не его это догадка, а невесткина, Маланьина — из-за пятнышек на скатерти ерепенится... Самое главное мое горе — в собрания меня не берут... «Тут молись, — говорят, — Бог воздесущий, Он не только в молитвенном доме, но и в каждом сарае, возле каждой веревки для слепых... Тут тебе будет больше радости от общения с Богом: Он к каждому твоему слову прислушается»... Даже на причастие меня не берут, сюда и чашу с вином приносят и хлеб... Спасибо, что вы меня не забываете

— Бог не оставит вас своей милостью за такую доброту.

Харитон иногда после богослужений в молитвенном доме приглашал к себе гостей. Они садились за большой стол в светлой горнице, пели гимны, молились. О слепой старухе, чтобы не омрачать радости, не вспоминали, с радостью думая о том, что вот у них Господь не отнял зрения и благословляет встречами, удачами, материальным изобилием. Маланья славилась своей стряпней — пирогами, плюшками, ватрушками, курниками, блинчиками с фруктовой начинкой.

— Тебя к царю поварихой взяли бы, — говорили ей гости, — твоя стряпня и вкусна и на вид — одно загляденье — сама в рот просится.

После обеда хозяйка старательно сортировала объедки. Соседки догадывались: «Что помягче из остатков, для слепой отделяет, а что пожестче и всякие косточки для пса Лохмача»...

Этот пес Лохмач часто навещал слепую в ее одиночестве, а иногда оставался в сарае даже на ночь. Старуха звала его ласково «Лохматик». Чувствуя нежность в ее словах, он лизал ей в благодарность руки.

Наступила осень с холодными ночами.

— Растапливай с вечера печку, не вмоготу для меня такие ранние морозы, — попросила мать сына.

— Что ж, это можно, дров на зиму запасено много и дрова одна любота — дубовые и березовые — горят долго и угара не делают.

— Железный лист под печку подсунул?

— Два аршина в длину и полтора в ширину.

— То-то, а то, не ровен час, беда может стрястись: сгорю, как развязанный сноп — в одночасье.

— Насчет этого не сумлевайся: дверка закрывается плотно, а если б и раскрылась нечаянно, угли от таких дров не прыгучие, далеко не отскочут: выпадут на железо и на нем дотлеют.

* * *

После вечернего собрания в молитвенном доме у Харитона снова собрались гости. И хоть сарай находился далеко от горницы, до слепой доносились шумные раз-

говоры, а иногда и раскатистый смех. Заводили граммофон. Духовные пластинки были выписаны из столичных городов. Бывало мать могла часами слушать концерты Бортнянского и Архангельского на псалмы Давида, а теперь слушает только краем уха, издали, подставляя ладони к ушам. В летнюю пору слышимость лучше, потому что раскрыты двери и окна. А теперь из-за холодов все на запоре. Пение доносится как будто из подземелья. На православной колокольне, вдали, зазвонили часы. Слепая насчитала одиннадцать.

— Неужто все еще забавляются?

Вскоре послышались голоса гостей и хозяев.

— Спасибо за угощение, за гостеприимство... У вас посидишь, как будто в столичном городе повеселишься.

— Заглядывайте почаще в эту столицу, — притворно отвечала Маланья.

— Живут в радости, во свете, в удовольствиях... Только я на запоре... Хорошо, что Лохмач со мною, — думала слепая

В железной печке трещали дрова: Харитон несколько раз прибежал в сарай подкладывать новых. В последний раз сказал:

— Гости проводили, теперь надо спать укладываться. Наложу дров побольше. Одеяла на постели теплые: их ведь три — байковое, ватное, и на верблюжьей шерсти.

— Кое-когда для тепла я кладу с собой Лохматика.

— Блох разведешь в постели.

— Он не блошливый... Я с ним, как с человеком разговариваю... До чего ласков, все понимает, только сказать не может... Постарел он наверно.

— Да ничего, еще не поседел --- все такой же черный и кудлатый

— Мне его Бог послал на мою слепоту... Когда плачу от горя, слезы мои облизывает...

— А зачем тебе зря горевать? Чего тебе не хватает?

— Мне-то? Эх, сынок, как у тебя язык поворачивается на такие слова? Мне воли, жизни не хватает... Я ведь в одиночестве остроге...

— Ты в сытости, в тепле, ты не заброшена...

— Я от семьи отпихнута... Но ничего: со мною незримый Христос.

— Ну ладно, спи без всякой печальной думушки и я пойду спать... Маланья уже наверно бухнулась в постель.

Сын ушел. Мать осталась в сарае одна: Харитон для какой-то надобности позвал собаку с собой.

Ночной сторож отбил колоколом двенадцать. Старуха долго молилась перед сном. На душе почему-то было беспокойно, жалела, что с нею нет Лохмача.

Подул ветер. Загудело в железной трубе, протянутой от печки в крышу. Слепая заснула в горестных раздумьях. Приснилось, будто кто-то навалился ей на грудь и душит. Со страхом проснулась. В сарае было много дыма — от него задышалась во сне. Как видно, дверка раскрылась и выскочивший уголь прыгнул на деревянный пол. Доски начали дымиться. Каждую минуту может появиться пламя. Был бы тут Лохмач, он бы всем дал знать о беде, а его, на грех, нет... Надо выходить, пока не поздно...

Слепая была в шерстяных чулках и в дневном платье: на ночь ее не переодевали. Хорошо, что к кровати привязана веревка. Стала ее дергать. Никто не появился, а от дыма уже трудно было дышать... Спустила ноги с кровати, по веревке приблизилась к двери, с бьющимся сердцем толкнула ее. Дверь распахнулась. Повеяло свежим воздухом. Подбежал Лохмач.

— Лай громче, Лохматик: беда!..

Идя по веревке к дому, она не переставала дергать ее... Ей даже был слышен звон колокольчика... А что же с Харитоном и Маланьей? Неужели спят так крепко?.. Ветер сорвал платок с головы старухи, трепал ее ветхое платье...

— Проснитесь!.. Пожар!.. Сгорите!.. Господи, успокой ветер, пожалей село!..

Вошла на крылечко, стала стучать в дверь.

— Что там такое? — завизжала в досаде Маланья.

— Выйди... взгляни... беда..

Высунув голову за дверь, Маланья закричала что есть мочи:

— Харитон, горим!

Выскочил и он, стал стучать в рельсу, подвешенную к столбу во дворе. Проснулись соседи. Прискакала пожарная команда. Дом и соседей отстояли. Сгорел только сарай, где обитала слепая. Все горевали, но и радовались, а больше всех старуха:

— Как это хорошо, что мне приснился сон, будто меня душат... А сгори я, сгорело бы все село... Господи, Ты любишь всех нас, не довел до такой напасти.

Пожарище заливали до утра. Слепую увели к себе соседки.

— Твоими молитвами уцелел Харитон со своим домом и со скотом: ты всех спасла, бабушка Степанида, своей веревкой... Неужели Харитон и после этого не образумится?

А пресвитер сидел во дворе на чурбане и обхватив голову, о чем то думал. Его раздумья прерывались восклицаниями:

— Не допустил, Господи... не меня пожалел, а слепую... мать мою, которую больше жалел Лохмач, чем я с Маланьей... Твой это перст... Твое вразумление. Дальше нельзя так жить... Нельзя проповедывать с кафедры о любви, а мать держать в сарае, как преступницу... Будь милостив ко мне грешному!..

* * *

В ближайшее воскресенье слепая была в собрании. Ее посадили на первой скамье, нарядили во все новое, причесали. Слепое лицо ликовало, слушая пение гимнов. Прежде, чем раскрыть Библию, Харитон обратился к собранию со слезной речью:

— Братья, сестры, простите меня... Я недостойн быть вашим пресвитером... Что я сделал со слепой матерью? Она поставила меня на ноги, а я запер ее в холодном сарае...

— Не ты, а я! — крикнула невестка Маланья, — простите меня дуру неразумную... Из-за пятнышек на скатерти спихнула я свекровь!..

— Оба мы виноваты, — перебил жену Харитон, — в богатом доме принимали гостей, слушали пластинки, угощались, а мать отводила душу со псом Лохмачем... Не пресвитерствовать мне в нашей церкви!..

Харитон затрясся в рыданиях, слезы текли ручейками по его щекам. Тогда поднялась со скамейки слепая Степанида. Обратясь незрячими глазами и радостным лицом к собравшимся, с дрожью в голосе попросила:

— Братья, сестры, сегодня для меня день великой радости... Я как будто воскресла из мертвых... Увеличьте мою радость: простите Харитона и Маланью... В ту ночь, когда сгорел сарай, распустились цветами два сердца — Харитоново и Маланьино... Другие они теперь, новые, светлые...

— Угадала, мама, — крикнула Маланья и, подбежав к свекрови, стала ее обнимать и целовать... То же сделал и сын.

— Прощаете, братья и сестры? — спросила еще раз слепая.

— Прощаем! — единодушно загудело собрание, — как не простить по такому случаю?

* * *

Давно не было таких радостных собраний в молитвенном доме. В довершение счастья неожиданно явился из города ученый сын Харитона с женой и двумя мальчиками.

После собрания он сказал:

— Бабушка, мы уже давно решили с женой — взять тебя к себе в город. У нас в доме есть хорошая комната для тебя. Специальная прислуга будет ухаживать за тобою. Теперь у нас появилось светило: глазной врач, который уже многим возвратил зрение. Я верю, что и ты прозреешь.

— Пусть живет с нами, — стала уговаривать Маланья сына.

— Спросите у сестры Степаниды — с кем она хочет доживать жизнь?

— Говори, бабушка, — зашумели многие женщины.

Прежде чем ответить старушка долго плакала. Это были слезы счастья.

— Внучек говорит, в городе слепых делают зрячими... Кому ж этого не хочется?..

— Тогда без всякого сомненья поезжай в город.

— Жалко только будет оставить Лохматика, — горестно вздохнула слепая.

— Возьмешь его с собою: он ведь без тебя изведется от тоски .

* * *

Вот какие случаи преподносит людям жизнь, вот как она учит их.

ПЕТУХ КРИЧАЛ ТРИ РАЗА

Большой красивый петух был огненно-красного цвета с зеленым, полукруглым хвостом, золотистым переливающимся ошейником и малиновым гребешком. Его звали Петькой, как и хозяйского сына.

— Мы с тобой тезки, — говорил мальчик, отщипывая маленькие кусочки от толстого ломтя и бросая их куриной семье, собиравшейся возле крылечка, выходящего на широкий двор.

Петух изловчался поймать каждый кусочек, но никогда не проглатывал его, а каким-то особенным, воркующим клекотом подзывал кур, чтобы угостить самую шуструю и ловкую. Наблюдательный и справедливый, он никогда не угощал по два раза одну и ту же, чтобы не было обиженных.

Мальчика удивляла петушина вежливость и за это он хотел угостить его отдельно. Накрошив в подол рубашки мелких кусочков, он подзывал его: — Цып-цып, цып, Петенька!

На это приглашение шарахались всей оравой куры, а петух останавливался поодаль и, склонив голову набок, ждал, что будет дальше.

— Не для вас, дуры, — сердился мальчик, — Петя, подойди сюда! Петух на зов не бежал, а подходил степенно, переступая с ноги на ногу, как воспитанный, интеллигентный господин.

— Подкрепись, Петенька, а твои сударки пусть рожьются в навозе.

Петух не боялся своего тезки. Склеывая с подола рубашки кусочки, он часто поднимал голову и, глядя на своего друга, как бы спрашивал: — Можно еще?

Мальчик успевал в это время несколько раз погладить красавца.

— Петя, наверно твоего отца звали так же? Так что ты Петр Петрович, а я Петр Иванович.

Насытившись и отойдя в сторону, Петр Петрович в знак благодарности кукарекал совсем не так, как ночью,

на курином насесте, а особенно звонко, заливисто и долго. Это была его искренняя признательность Петру Ивановичу.

У отца было большое хозяйство — лошади, коровы, овцы, свиньи, пчельник, сад и десять десятин земли. Петя был единственным сыном в семье — смышленным, шустрым пареньком. Мать Наталья любила сына и баловала его конфетками «лампасеями», а отец Иван держал своего наследника в строгости, часто кричал на него и даже не скупился на затрещины.

С раннего возраста он внушал ему старательность в хозяйстве: мальчик пас коров и овец, ездил с лошадьми в почное, выносил пойло телятам, ошипывал зарезанных кур. Ему хотелось в школу, а отец твердил одно слово: — Успеешь!

Когда сыну исполнилось десять лет, мать настояла — записать его в первый класс, чтобы он не остался темным, как они сами.

К Рождеству азбука была закончена. Первый рассказ после нее назывался «Война грибов» — о том, как царь-боровик, под березой сидючи, на все грибы глядючи, повелел всем грибам собираться на войну. Грибы начали отнекиваться, по разному оправдывая свои отказы: опенки — потому что у них ноги тонки, волнушки — потому что старушки, сморчки — потому что старички, мухоморы — потому что разбойники и воры. Собрались только грузди: «Мы, ребята, очень дружны, мы в поход пойдем и врага разобьем».

Учительница заставила Петю прочитать весь рассказ. Он догадался прочесть его накануне дома. В классе он читал рассказ с таким мастерством и разнообразием голосовых оттенков, что весь класс покатывался от смеха. Учительница похвалила Петю и сказала: — Ты — заправский артист. Товарищи подхватили это слово и с того дня к мальчику прилипла кличка: «Петька-артист».

На Петров день в селе была веселая, шумная ярмарка — с двумя каруселями и с театром, который назывался «Балаганом». Иван, Наталья и Петя пошли в этот балаган, где выступали нарядные певцы и певицы, плясуны и плясуньи, фокусник, жонглер, борцы и рассказчик веселых

сказок, от которых весь театр гремел раскатистым смехом.

Сидевший рядом с Петей отец несколько раз повторил:

— Как и ты, прокурат!

Мальчик вспомнил, как он в школе читал «Войну грибов». Голова и сердце загорелись желанием:

— Я тоже буду забавлять людей!

Артистическое чувство всецело завладело душой мальчика:

— После пятого класса поеду в город и поступлю в такую школу, где учатся на артистов. Рассказывать я буду разные смешные истории, чтобы люди животики надрывали.

Он часто слышал от мужиков и баб присловье: «Смех для здоровья — лучше, чем масло коровье».

— Вот пусть и будут здоровыми от моих рассказов!

Эта мысль так крепко засела в голове, что он стал делиться своими желаниями с дядьями, тетками и с родителями. Родные поднимали его на смех и советовали выкинуть из головы дурь. А отец даже закричал на сына:

— Что? Скоморошничать? Дурака валять? Чтобы я один надрывался с хозяйством? Будет не по-твоему, а по-моему, безмозглая твоя башка!

Но чем недоброжелательнее и глумливее становились родные и отец, тем приманчивее рисовалась мальчику артистическая жизнь в будущем.

Мать сочувствовала сыну, но признавалась с душевной болью:

— Разве его нрав переломишь? Коль упрется на своем, никакими слезами на разжалобишь.

В каждом классе Петя старался запомнить как можно больше басен, сказок и стихов. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь выслушивал его, кроме школьных учителей и учительниц. Однажды весенним вечером он попробовал кое-что рассказать соседям, собравшимся на улице, но его подняли на смех:

— Артист из погорелого театра!

И тогда он решил читать стихи и басни курам, когда

они усаживались на насест. Петр Петрович после этого всегда одобрительно кукарекал.

— Вот ты, мой тезка, понимаешь меня, а люди только измываются надо мною.

По окончании 5-го класса Петру выдали «Похвальный лист» и толстую книгу басен Крылова с картинками. В два дня он прочитал их все. Больше всех ему понравилась басня «Троеженец». Он решил, что будет ее читать публике, когда окончит театральную школу. Он удивлялся, что этой басни никто не знает. Однажды он решил прочесть ее курам и петуху.

— Уважаемая публика, прошу минутку внимания!

Он представил, что это не куры и петух, а многочисленная публика, собравшаяся в театре. Куры вытянули головы в его сторону. Петух насторожился. Басня была прослушана со вниманием. Петух вместо аплодисментов звонко кукарекнул. Чтец был доволен и благодарен аудитории за внимание.

На следующий день, перед вечером, когда отец смазывал тележные колеса дегтем, сын осмелился сказать ему:

— Тятя, я хочу поехать в театральную школу.

— Поедешь с печки на полати!

— Пойми, тятя, это самое главное мое хотенье! Коль не отпустишь, я умру!

— На всякое хотенье есть терпенье. Не срами отца, не вводи меня в грех!

— Твое слово твердо и неизменно?

— Тверже камня и железа!

Словесная ярость подтверждалась злыми глазами, которые испепеляли сына.

Розовый вечер превратился для него в эту минуту в темную ночь. Жизнь потеряла для него всякую ценность. В памяти мелькнул «троеженец», который удавился. Необдуманное решение созрело скоропалительно. Пока отец возился возле телеги, освещаемый закатными лучами солнца, сын побежал в сарай, где как будто все было специально приготовлено: перекладина, чурбан для колки дров, длинная веревка. Куры вместе с петухом уже усе-

лись на насест. Все произошло с удивительной, бездумной быстротой.

Когда петух увидел висящего друга, он шумно слетел вниз и побежал во двор. Там он подскочил к отцу и надрывно кукарекнул. Отец крикнул:

— Что тебе надо, паршивец? Сгинь с моих глаз, чумовой!

Он замахнулся на него кнутом, лежавшем в телеге. Петух отскочил, но через мгновение приблизился снова и кукарекал еще тревожнее.

— Совсем рехнулся, горлопан! Прочь, безмозглая тварь, если хочешь себе жизни!

Но петух не унимался. Он запел в третий раз и прыгнул на хозяина, чтобы сделать ему больно. Тогда вконец рассерженный человек погнался за петухом, чтобы пришибить его насмерть. Петух побежал в сарай. Преследователь ворвался за ним и увидел висящего сына.

— Что ты наделал, подлец? — крикнул он, освобождая самоубийцу из петли. Тот был еще совсем теплым.

— Недаром петух сходил с ума... Мне надо бы прибежать сюда после первого кукареканья!

На крик мужа прибежала жена. Увидев труп сына, она упала ему на грудь с воплем:

— Убивец, родного сына не пожалел... Дитяtko мое роженое, что ты наделал?

Сбежались соседи. Кто-то пытался телесной гимнастикой вернуть угасшую жизнь. Но отстучавшее сердце не ожило.

Петух в ту ночь кукарекал много раз, оплакивая своего друга.

Юношу хотели похоронить со священником, но он отказался на том основании, что церковь запрещает хоронить самоубийц. Тогда директор школы сказал:

— Обойдемся без духовенства. Петь будет вся школа, а старших школьников сторож пропустит на колокольню, и они будут следить за перезвоном от выноса гроба из дома до кладбища.

На похороны собрались тысячи людей. Тело покойника утопало в живых цветах.

Жалобное «Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас» переворачивало все души. Не было ни одних сухих глаз. Мать вели под руки женщины, отца — мужчины. Оба они спотыкались, ничего не видя.

Гроб провожали все пять классов школы. Тот мальчик, который сидел с ним на одной парте, обняв двух товарищей и прислушиваясь к заунывному перезвону, вспомнил строки:

Слышишь — в селе, за рекою зеркальной,
Грустно разносится звон погребальный —
В сонном затишье полей.
Гулко и мерно, удар за ударом,
Тонет вдали, озаренной пожаром
Алых вечерних лучей...

Директор школы перед опусканием гроба в могилу сказал:

— Мы прощаемся с жемчужиной русской речи, брошенной свиньям на поправление,
Закончил он свое краткое слово строками:

Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней.
Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей...

Общий вопль потряс при этих словах всех присутствующих. Многие со стоном падали на колени. Когда гроб опустили в могилу, отец рванулся с криком:

— Заройте меня вместе с ним!
Его с трудом удержали.

Поминки справляли в просторном соседнем доме. Продукты для этого были даны в избытке родителями покойного, но сами они не в состоянии были ведать всем этим. Во время поминок многие укоряли отца:

— Ты загнал сына в петлю своим упорством и безрассудством!

— Ну, что ж, судите меня, казните, четвертуйте... Зачем вы удержали меня, когда я хотел броситься в могилу? Разве я думал, что он решится на такое? О театре были все его думы, а я считал это глупостью... Ан вон что получилось...

Тоскующий Петр Петрович через неделю после похорон друга попал в лапы хорька. Зверь перегрыз ему горло и выпил его кровь. Перья, ошейник, хвост, гребень — остались нетронутыми.

— За одним ушел другой, за артистом ночной певун, — с запоздалой горечью повторял теперь отец. — Кому достанется все мое добро? Зачем оно мне? Для сына я копил все это... Не поняли мы друг друга...

Все теперь валилось из его рук. Прежде цепкие и пружинистые, они висели плетями из гнилых ниток вдоль отощалого тела.

Захватив острый заступ, он понес петуха ночью на кладбище. — Оба вы — Петры... Оба умерли одинаковой смертью... Пусть же один будет возле другого...

Он выкопал глубокую яму в могильном холме, устлал ее зеленой травой и положил в нее Петра Петровича. В это время всходил месяц, окрасив небо кровавым разливом.

Проснувшаяся Наталья, не докликавшись мужа, решила, что он пошел на кладбище. Туда же отправилась и она. Они встретились за селом в молчаливой, пустынной степи.

— Куда ты?

— Тебя ищу.

— Я хоронил петуха... Положил его поближе к сыну.

Они направились домой. Шли медленно. Покачивались. Месяц поднялся на середину неба и казался золотым. От двух молчаливых путников протянулись длинные, колеблющиеся тени.

О чем они думали? Вероятно о том, что в их жизни уже никогда не будет радости и покоя. Какое это испепеляющее слово — никогда! В нем стоны, жалобы, отчаяние, жгучее желание — забыться, заснуть, превратиться в прах, в дым, в ничто.

ЗВЕЗДА

Июльский закат угасает медленно. В ровной зеленой степи за селом пахнет пылью и не остывшим зноем. Там, где только что померк нижний край солнца, как меркнет в кузнице раскаленная полоса железа, опущенная в воду, железнодорожная станция. Оттуда доносятся протяжные певучие гудки, навеявая грусть и несбыточные желания.

За степным привольем тянутся необозримые поля, откуда веет ароматом созревшего хлеба и сладостью повилики. Вот уже несколько дней там убирают колхозную рожь: вяжут снопы и складывают их в кресты.

Почти все остаются ночевать в поле, но желающих вечером отпускают домой на неотложные работы по хозяйству. С утра до вечера они трудятся, почти не разгибаясь. На завтрак и обед там же, в поле, варится пшенная кашница с постным маслом и картошкой. После еды разрешается короткий отдых.

Можно было бы вздремнуть, положив голову на сноп, но тревоги о семье отгоняют сон. Как дома бедуют старики и дети? Не утонул ли кто из малышей в соседней речке? Не растаскал ли коршун цыплят? Не случилась ли какая беда со скотиной? Думы жалят, как змеи, в самое сердце. До сна ли от этой напасти? Не успеешь обо всем передумать, как раздается неумолимый голос бригадира:

— Подымайсь!

В плечах ломота, ноги словно налиты свинцом, а разлеживаться нельзя: за такое барство будет урезка в трудоднях.

Дни стоят жаркие. Прохлада освежает только ранним утром, когда солнышко еще не успевает накалиться. От пыли и жары пересыхает в горле. Хочется пить, но лучше этого не делать, потому что после первого глотка будет всё время тянуть к питью. Когда трескаются губы, хорошо бы их смочить слюной, но при таком изнурении рот высыхает.

По широкой разбитой дороге медленно идут в сторону села четыре женщины — три пожилых и одна совсем молодая. Лица у всех запылены. Умыться после работы некогда да и нечем. Воду на станах держат в бочках, прикрытых соломенными матами. Её берегут на варёво, на питье, а мыть лицо и руки — господская затея. Запыленных людей ценят больше: сразу видно, что человек старается, а не отлынивает от работы.

В поле женщины работали в лаптях. В колхозе целая бригада стариков — плетолопов. Работой своей они довольны: сиди на одном месте и ковырай кочедыком. Колодки заготовлены на всякую ногу. Хорошо, что за рекой, в лесу много липы, а липовые лыки, как атласные ленточки. Труднее с веревками: в прежнее время их вили из конопли и конского волоса, а теперь приходится делать из мочалы, а в мочале какая прочность? То и дело перетираются.

Перед уходом домой женщины разулись: развязали веревки, сняли чулки, вытряхнули пропыленную соломенную подстилку и, связав лапти попарно, повесили их на плечи. Босым ногам приятно ступать по мягкой дорожной пыли. Было бы еще лучше, если бы она сразу после заката солнца пропиталась прохладой, но пыль еще долго хранит внутреннее дневное тепло. Воздух пропитан ароматом белорозовых цветочков повилики справа и слева от дороги.

На ходу женщины разговаривают о колхозной маяте.

— И когда эта каторга кончится? — спрашивает самая старшая, которой на вид лет шестьдесят.

— Всегда ты, Варвара, заводишь речь о каторге, — отвечает идущая с ней рядом, — пойми, что ни ты, ни я, ни Анна не дождемся этого дня. Может посчастливится только Марусе: ей всего девятнадцатый пошел. Так что если это счастье вернется на русскую землю лет через тридцать, то и тогда она будет моложе, чем мы теперь. А кабы мы дожили до той поры, каждой бы перевалило за девяносто. Как же можно об этом думать? Годы при такой жизни перетираются, как мочальные веревки на наших лаптях.

— Тебе бы, Маруся, можно было не ходить каждый вечер домой — говорит Варвара, — всё твоё семейство — один старик отец. Неужто он заскучал бы без твоего догляда? А корову соседки подоили бы.

— Ой, что вы? Он совсем ослабел от хвори, может только сидеть да лежать, а когда я поздно вечером подхожу к калитке, у него от радости сила прибавляется и он даже может встать с приступочки и тихонько подойти ко мне. Мы в эту минуту как будто воскресаем оба. Сначала-то я на речку бегу, чтоб смыть всю дневную пыль и пот. К нему подхожу чистая, свежая. «Как от тебя хорошо пахнет», — говорит он мне. А я веду его в избу, пою, кормлю, протираю его тело теплой водой, меняю штаны и рубашку, а снятое тут же стираю. Он у меня чистюля. Сидим с ним за столом, он спрашивает, как работалось, не устала ли?

— А с чего там устать? — говорю ему, — работа легкая, как будто и совсем не работа, а забава.

РадуетсЯ он от моих слов, как ребенок и говорит:

— Ну, значит, в теперешнее время людей не неволят.

— Зачем же ты выдумываешь для него всякие небылицы? — удивляются все три женщины.

— Ну, а как же иначе? Расскажи я ему всю правду, он бы давно отдал Богу душу от горя, от жалости ко мне. За ночь я многое успеваю сделать: и корову подоить и молоко процедить, и с двухдневных и трехдневных горшков сливки снять и масло спяхтать. Снятое молоко у меня на творог идет — любит его отец, потому что разжевывать не надо. Ведь я у него — первая и последняя, родилась под старость. Мать вскоре померла. Так вот мы и кукуем с ним.

— Тебе надо человека в дом принять — молодого, хорошего, хозяйственного. Такое золото не должно оставаться без пользы.

— Без пользы? — удивляется Маруся, — от меня польза отцу и колхозу. Утром я успеваю корову подоить и в стадо выгнать, кур покормить, с отцом поговорить и завтрак ему приготовить. А насчет того, чтобы человека в дом принять, я как-то не думала. Пока отец жив, мне это и в голову не приходило. Ему хорошо со мной

мне с ним. А человека прими в дом, он будет коситься на старика. Я так и порешила в своей душе: когда схо-рюню отца, тогда и о себе подумаю.

— Золотое у тебя сердце, Марусенька, никакая к тебе теперешняя грязь не прилипает. Другие девушки и не в такой маяте, как ты, а такими словами шибает, что от стыдобушки за них глаза зажмуряются.

— Так меня отец воспитал он ведь много лет у господ служил, нагляделся на хорошее.

До степи доносится шум вечернего поезда. Из села слышится лай собак. Завиднелось большое кладбище.

— Бабыньки, а я опять про своё, — вздыхает Варвара и даже приостанавливается, — а вдруг бы в Москве все наши властители раздобрились и объявили: «Колхозной каторге конец... советская власть отменяется... живите и работайте каждый по своему плану и желанию» Что бы вы сделали с радости?

— Я бы взяла на воспитание двух сирот Кострикиных, — отзывается идущая рядом.

— Да ведь у тебя своих семеро.

— А не все ли равно — семеро или девятéro? Где сыты свои, не будут обижены и сироты. Ну, а ты, Анна? Что бы ты придумала в своем вдовьем сиротстве со старенькой свекровью?

— Вышла бы замуж за Николая однорукого: чем он бедняжка виноват, что пострадал на войне? Он уж не раз намекал мне насчет своей кручины, да при теперешних-то порядках как-то боязно об этом подумать, а тогда бы ничего не утратилась, потому что всё бы радость покрыла. Ну, а ты сама-то, Варвара, что бы сделала с такой радости?

— В базарные дни стала бы делать пирожки с картошкой, с морковью, с капустой и оделять нищих, инвалидов, обездоленных.

— А ты, Маруся? — спрашивают все три женщины.

— Давно я думаю об одном деле, но теперь его нельзя выполнить, а когда бы наступила свобода, никто бы мне не помешал.

— Что же это такое?

— Пошла бы по России, по городам, столицам, ху-

торам, районным центрам и везде бы собирала пожертвования на Божий храм. И был бы он построен на прежнем месте, где теперь только кирпичи от сломанной церкви валяются... И было бы в храме три престола: боковые в честь Рождения и Вознесения Христа, а средний, главный, в честь Воскресения Спасителя. Колокольня была бы высокая, белая, с позолоченным крестом, с певучими колоколами. Как ударили бы в главный колокол, так на двадцать бы километров было слышно... И все бы говорили: «Это в Воскресенской церкви звонят»... Когда мне отец рассказывает, какие колокола гудели в старину, я всегда слезами заливаюсь.

Дневная духота сменяется свежестью. Дышится легче. Варвара глядит на запад и вскрикивает от удивления:

— Глядите — живая звезда, двигается впереди нас, словно нам дорогу указывает!

— На снежинку похожа, только крупнее, — говорит Маруся.

— А ведь была когда-то звезда, которая трех мудрецов к рожденному Спасителю привела, — продолжает Варвара, — вот бы и теперь появилась такая звезда и привела бы к пророку, а он бы сказал: «Вот вам в чем спасенье от теперешней каторги»... Ой, уже дворами запахло, подходим. Кончим свои невеселые разговоры, а то не ровен час, кто-нибудь подслушает нашу невзгоду и начальству наябедничает... Теперь в беду попасть — скорее, чем одна дыхнуть. Давайте песню затянем, будто радостно нам. Запевай, Маруся, ты ведь словно пташка канарейка.

С минуту молчат. Вздыхают. Маруся еще раз глядит на зовущую, яркую звезду и запекает:

«Сохнет, вянет во поленьке травка»...

Три голоса подхватывают:

«Посыхает трава без дождя»

Песня протяжная, грустная, от неё хочется плакать, хотя поют её для того, чтобы показать свое «веселье» и оградить себя от всякой беды из-за оговоров и доносов.

«Спать пора, спать пора» — щелкают перепела.

«Когда дождик травушку помочит,

Ковыль-травка сразу вздохнет»...

Показались другие звезды, не такие яркие, как та, которая зажглась первой и куда-то вела, словно указывая дорогу к счастью.

«Рос во поле аленький цветочек,

И тот начал цветок сохнуть.

Был у Маши миленький дружок,

И тот начал Машу забывать».

Слышится грустное мычание коровы.

— Моя «Зорька», — говорит ласково Маруся, — просит, чтоб ее поскорее подоили. Давайте утром пойдем в поле опять вместе.

— Об этом и толковать нечего, — отвечает Варвара, — всякое горе в компании — в полгоря и даже в четверть горя.

Все соглашаются с нею. В тишине звездной ночи кузнечики поют неутраченную, колыбельную песню. Множество голосов сливаются в согласованный хор. Марусе кажется, будто звенит теплый воздух, пропитанный запахом отдаленного поля. Звякнула щеколда калитки.

— Это ты, Марусенька? — спрашивает отец.

— Я, тятенька.

— Слава Богу, дочушка.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Драматический актер Александр Востоков нежно любил сослуживицу артистку Марию Кострову. Часто они принимали участие в одной и той же пьесе. Иногда, по ходу действия Востоков объяснялся в любви Костровой. Сценическая любовь тогда соединялась с душевной, дающей смысл жизни. Признания влюбленного потрясали зрителей своей неподкупной искренностью. Многие думали:

— Вероятно он любит её не только по пьесе, но и в жизни.

Мария Кострова была замужем за инженером. Он не пропускал ни одного спектакля с её участием. Слушая объяснения в любви на сцене, он страдал от ревности и после спектакля говорил жене:

— Востоков неравнодушен к тебе. Это бросается в глаза всем зрителям.

— Я не могу запретить ему его душевных излияний, но верь моей совести: она чиста, как слеза ребенка.

Неугасающая любовь Востокова к Костровой была неразделенной.

— Мне не нужны её объятия, клятвы, разрыв с мужем, — думал Востоков, — я хотел бы только её нежного сочувствия и понимания моих страданий.

Во дни этих тягостных переживаний в одном из ежемесячных журналов появилось стихотворение Константина Бальмонта: «Умиравший лебедь». Оно потрясло Востокова лиризмом, красотой и правдой жизни. Он упротребил знакомого драматурга написать пьесу на эту тему.

Кроме драматического дара у артиста был вокальный талант. Он всегда выбирал для себя такие пьесы, в которых мог бы блеснуть своим задушевым лирическим тенором.

Друзья советовали ему перейти в оперу, но он считал, что в драме больше возможностей и решил до конца своих дней оставаться артистом слова, а не вокала.

Драматургу он дал идею — закончить пьесу стихотво-

рением Бальмонта. Драматург исполнил желание артиста. Премьера пьесы прошла с огромным успехом. Его вызывали много раз, ему кричали: «Браво! Гениально! Бесподобно!» У аплодирующих были слезы на глазах. Всем было видно, что артист тоже плакал. С тех пор роль певца в этой пьесе стала его коронной. О ней были написаны десятки восторженных статей. К сожалению, не в каждом театре находился артист, который бы вместе с драматическим талантом обладал и даром вокального совершенства.

У Александра Востокова был друг писатель — Роман Былинкин. Оба они были одинокими и при встречах изливали друг другу свои мысли, мечты, горести и радости.

Пьеса «Лебединая песня» продержалась на сцене много лет. Впервые она была поставлена, когда артисту исполнилось 30 лет. С тех пор он вспоминал о ней в дни своих юбилеев — тридцатипятилетия и сорокалетия своей жизни. И вот приблизилось пятидесятилетие творческой работы Востокова. Артисту было уже 70 лет. Но его голос звучал попрежнему молодо, лирично, захватывающе.

Любовь к Марии Костровой не меркла и не отцветала. Он был по-рыцарски верен своей любимой.

К этому времени его друг писатель Роман Былинкин решил выпустить свою последнюю книгу: «Улетающие журавли».

По городу были расклеены афиши, что любимец публики, артист Александр Востоков выступит в своей коронной роли певца в пьесе: «Лебединая песня». Его пение будет сопровождать музыкальное трио: флейта, скрипка и виолончель.

Билеты были распроданы менее, чем в полдня. Перекупщики заработали в этот раз, как никогда: за билет стоимостью в 10 рублей они требовали 50.

В этот же день вышла в свет книга Романа Былинкина: «Улетающие журавли». Как литератор, он не сделал себе большого имени в критических кругах. Некоторые язвительно называли его не могучим дубом словесности, а только тонкой былинкой, колеблемой даже слабым ветром. Но его любили читатели за искренность, душев-

ность, простоту, лиричность. Если бы он издал все читательские письма, их набралось бы на несколько солидных томов и это были бы сплошные излияния восторгов и благодарностей за прославление красоты, мечты и человечности. Артист прислал своему другу писателю билет в первый ряд партера. Мария Кострова в пьесе не участвовала. До начала спектакля в фойе слышались такие разговоры:

— В последний раз я слышал его десять лет назад — как-то будет звучать его голос сегодня?

— Говорят, он обладает секретом неувыдаемой молодости.

— Да, но все же сегодня отмечается его семидесятилетие. Такой возраст, к сожалению, называется старостью.

После третьего звонка все устремились в зрительный зал. Открылся занавес. Декорация изображала осенний парк с падающими желтыми листьями. Падая они трепетали, как живые. Раздались шумные аплодисменты. Они относились и к юбиляру и к художнику-декоратору, сумевшему изобразить натуральный листопад.

Еще большая буря восторгов разразилась, когда появился артист Востоков, удачно загримированный под тридцатилетнего.

В пьесе было три действия. Она изображала влюбленную пару. Участвовало в пьесе шесть человек. Любовь, вначале пылкая, с клятвами верности со стороны девушки — постепенно угасает: она влюбляется в другого, карьера которого обещает быть блестящей. Зритель глубоко сочувствует герою, все страдают вместе с ним, возмущенные неверностью возлюбленной.

В антракте, перед последним действием, за кулисы Востокову передали небольшой конверт. Вскрыв его, он прочитал:

«Сегодня, в 5 часов вечера, умерла Мария Кострова». Георгий Костров.

В глазах Востокова потемнело. Мелькнула мысль: «Умерла Лебедушка. Может ли после этого лебедь продолжать свою жизнь?»

Сердце сжималось от тоски и боли.

— Зачем её муж прислал мне эту роковую записку в решающие часы юбилейного спектакля? Неужели он не подумал о том, как это потрясет меня? Неужели этими несколькими словами он захотел отомстить мне за платоническую любовь к его жене и сорвать мое последнее выступление? Господи, дай мне моральных сил, сделай мой голос еще более сильным, чем прежде, поддержи меня в эти страшные минуты.

Декорация последнего действия изображала завод, густые заросли камышей, вечернюю зарю. Герой ждет любимую для последнего объяснения. Он прохаживается вдоль заводи, прислушивается. Ему кажется, что кто-то идет к нему, но это галлюцинация слуха. Она не спешит на свидание и тогда он запекает:

Заводь спит, молчит вода зеркальная,
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний вздох души.

— Звучит!

— Не хуже, чем прежде!

— Даже чище!

Это шептали обрадованные зрители. Они сочувствовали герою и страдали вместе с ним.

— Как журчит флейта!

— Как рыдает скрипка!

— Как проникновенно поет виолончель!

Певец радовался, что его голос в этот раз звучал вдохновеннее, чем на прежних спектаклях.

Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит...

Певец снова прислушивается. Но это шелестят падающие с деревьев листья. Она, как видно, не придет. Зрители страдают от тоски: какое надругательство над нежной любовью!

Отчего так грустны эти жалобы?
Отчего так бьется эта грудь?
В этот миг душа его желала бы
Невозвратное вернуть...

Да, вернуть дивные мгновения, доверие, счастливые минуты обнадеживающих встреч возле этой заводи и густых камышей.

Всё, чем жил с надеждой, с наслаждением,
Все, на что надеялась любовь,
Промелькуло быстрым сновидением,
Никогда не вспыхнет вновь.

Никогда! Какое это убийственное слово! «В этом слове — жалобы подрубленных деревьев, протягивающих к солнцу свои ветви и последний взгляд умирающего».

Всё, на чем печать непоправимого
В этой песне белый лебедь слил,
Точно он у озера родимого
О прощении молил...

В эти минуты певец тоже молил о прощении свою любимую, покинувшую жизнь сегодня, в 5 часов вечера.

И когда блеснули звезды дальние,
И когда туман вставал в глуши,
Лебедь пел все тише, всё печальнее
И шептались камыши...

Певец действительно пел все печальнее, музыка и слова разрывали сердца присутствующих.

Не живой он пел, а умирающий,
Оттого он пел в предсмертный час,
Что пред смертью вечной, примиряющей
Видел правду в первый раз.

— Не пришла... не придет... все кончено — с болью в сердце произносит он и падает. В прежние разы в этот момент театр гудел от аплодисментов. Зазвучали они и теперь. Но артист не поднялся. Сердце его перестало биться. Это была не сценическая, а действительная смерть артиста. На сцену поспешно вышел директор театра и печально объявил:

— Наш дорогой Александр Александрович, наш любимый лебедь скончался на своем посту. Его славная жизнь закатилась в день пятидесятилетия его сценической деятельности!

Общий вопль прокатился по театру. Трио заиграло мелодию похоронного песнопения: «Вечная память». Все

встали и с рыданиями и стонами запели: «Вечная память, вечная память, вечная память»...

На его похороны собрался почти весь город. Был на похоронах и писатель Роман Былинкин. Перед открытой могилой, окруженной венками из живых цветов, он сказал:

— Закатилось наше солнце, отпел наш любимый лебедь. Но память о нем будет вечна, как вечно это яркое солнце, как беспредельна эта небесная лазурь. Любовь сильнее смерти. И все мы благодарны Богу за то, что Он наградил человеческие сердца этим великим, ничем не заменимым, радующим и окрыляющим даром любви. Да здравствует неумирающая любовь! Вечная память тому, кто целомудренно лелеял свою любовь до последнего вздоха!

«Вечная память» — запели все присутствующие под плавное опускание гроба в могилу. Молчаливые слезы струились по печальным лицам.

Вернувшись домой, писатель почувствовал беспощадное одиночество.

— Мой друг переселился в вечность. Смогу ли я жить и творить без его моральной поддержки?.. Журавли улетели... Что будет с ними в воздушном пути? Уцелеют ли они от бурь и гроз? Или им уже никогда не вернуться на любимую родину?

Он развернул свою книгу: «Улетающие журавли» и стал перечитывать страницу за страницей. Читая, часто спрашивал: «Неужели это написано мною?»

Сердце его пело «Лебединую песню».

— Трогательно... целомудренно... лирично, — думал он. — На титульном листе мое имя... на каждой странице присутствует моя душа... значит, это действительно написано мною!

Дочитав последнюю страницу, он склонил голову на письменный стол и заснул вечным сном.

На улице в это время молодые девушки пели:

Умерла моя муза — недолго она

Озаряла мои одинокие дни.

Облетели цветы... догорели огни...

Непроглядная ночь, как могила, темна.

ЮБИЛЕЙ ДРУЖБЫ

В апреле, когда на деревьях набухают почки, друзья из шумной столицы спешили ко мне за город.

В мае, когда распускаются листочки берез и тополей, когда в воздухе мелькают красные и желтые бабочки, а под небом заливаются жаворонки, друзья снова спешили ко мне.

Летом их манили цветы, травы, медовый запах липы, осенью — разноцветность деревьев, зимой — сказочность сада, опушенного инеем...

Все они любили природу, искусство, дорожили бескорыстной дружбой.

Мы говорили о Боге, о красоте жизни, открывали друг другу тайники души.

Однажды мы устроили юбилей дружбы. На нем присутствовали люди трех поколений: одни значительно моложе меня, другие — на много старше.

Интерессы, симпатии и стремления самого молодого в нашем кружке не были чужды самому пожилому. Старшие среди нас передавали свой опыт младшим. Общей нашей целью было украшение жизни правдой, добрыми делами и красотой.

Высшей ценностью для нас было время и мы берегли его, как зеницу ока. Мы считали преступниками тех, кто убивает хотя бы одну минуту пустословием и азартной игрой.

Среди нас не было курящих и пьющих.

На юбилейном вечере мы произносили речи о чистоте отношений, о нерушимости дружбы, об островке благодетства в каждой душе, ни при каких обстоятельствах не затопляемом мутными волнами корысти и мелочных расчетов.

Это было зимою. За окнами падал снег — медленный, густой, пушистый.

Нам неудержимо захотелось выбежать из ярко освещенной комнаты в сказку ночи.

— Боже, как хорошо! — невольно восклицали мы, прыгая со ступенек крыльца.

Ветви деревьев и кустов, телефонные провода вдоль изгороди сада повисли под тяжестью белого одеяния.

Голубоватый свет из окон падал большими четырехугольниками на снежные сугробы.

В нас проснулось детство и мы стали бросаться снежками.

А потом разрумяненные движениями и снегом мы сидели за столом и пили ароматный чай, закусывая сладким пирогом.

Со стен нас глядели портреты Пушкина, Лермонтова, Толстого и Чехова.

Корешки переплетов за стеклом книжного шкафа говорили нам о сокровищах, которыми мы обладаем.

Война оторвала нас друг от друга, от книг, от поэтического уюта загородного жилья.

Где вы мои братья и сестры по духу?

Много раз за это время лето сменялось осенью, бушевали зимние вьюги, весной цвели вишни у веранды с разноцветными стеклами.

Но ни на веранде, ни в комнате, ни в саду не раздавались наши голоса.

Что стало с вами, мои дорогие друзья?

Если вас пощадили застенки правителей, время и война, вы вспоминаете обо мне, так же, как и я о вас. Вы часто спрашиваете так же, как и я:

— Кто остался?

Суждено ли нам снова собраться вместе и молитвенно отпраздновать наше воскресение из мертвых, или немногие уцелевшие будут справлять тризну об ушедших навеки?

А вишни весной будут цвести попрежнему, аромат липы затопит сад в июне, золотая осень разукрасит деревья и одеяло пушистого снега согреет землю, на которой мы когда-то жили, по которой ходили и бегали, не ведая, какие бедствия обрушит на наши головы жизнь, которую мы, не смотря ни на что, продолжали любить как драгоценный дар Всевышнего.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вступление к словесным излияниям	7
2. Встреча с судьбой	10
3. Как я стал знаменитым	26
4. Последний день моей жизни	35
5. Цветок неповторимый (О Сергее Есенине)	50
6. Страна Муравия (Об Александре Твардовском)	91
7. Придворное кощичество (О Демьяне Бедном)	106
8. Конец пути (О Блюменталь-Тамарине)	122
9. Я другой такой страны не знаю	154
10. Песня спета	192
11. Неожиданный финал	224
12. Три сказки	237
13. Ароматы и музыка	244
14. Рецепт для всех	251
15. Без оглядки	256
16. Музыка солдата Васи	260
17. Свеча горела	264
18. Медвежий рев	269
19. Приключение с гробом	273
20. Чудо	279
21. Веревка	285
22. Петух кричал три раза	294
23. Звезда	301
24. Лебединая песня	307
25. Юбилей дружбы	313

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сердечно благодарю всех, приславших подписку на «ЛЕБЕДИНУЮ ПЕСНЮ». Многие кроме подписной платы пожертвовали солидные суммы. Всем, кто помог издать эту книгу, желаю здоровья, радости, благоденствия.

Преданный всем Вам, Ваш искренний друг

Родион Михайлович Березов

Мой адрес:

Rodion Beresov

R. R. 1, Box 131

Ashford, Ct. 06278 USA

